Новый Журнал

Нью-Йорк

Новый Журнал

THE NEW REVIEW

Основатель М. ЦЕТЛИН

Тринадцатый год издания

Кн. XXXVI

1954

Редактор М. М. КАРПОВИЧ

Секретарь редакции РОМАН ГУЛЬ

Обложка работы М. В. ДОБУЖИНСКОГО

Printed in U. S. A.
RAUSEN BROS.
417 Lafayette Street
New York 3, N. Y.

317

ОГЛАВЛЕНИЕ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА:

Г. Газданов — Пилигримы 5
Б. Зайцев — Чехов 55
Г. Кузнецова — Поцелуй свиданья 82
Т. Петровская — Интеллигенция 95

СТИХИ:

В. Злобина (54, 188), *В. Корвин-Пиотровского, С. Маковского, Н. Моршена, Ю. Одарченко, И. Одоевцевой, М. Толстой* (156) 121

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:

Н. Ульянов — После Бунина 134
А. и Т. Фесенко — Язык войны и послевоенного периода.. 157
В. Седуро — Истоки белорусского искусства 177

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:

Н. Бердяев — Выдержки из писем к г-же Х. 189
Ф. Степун — Россия накануне войны 1914 года 205

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:

Н. Валентинов — Ранние годы Ленина 220
Е. Двойченко-Маркова — Американское Философское Общество и Россия 238
Д. Анин — Перспективы и внутренние противоречия большевизма. 250
Н. Бурназельский — Хартия вольностей 267
Д. Далин — Американская политика и Россия 273

ПАМЯТИ УШЕДШИХ:

М. Вишняк — Памяти друга, *С. Васильев* — В. М. Зензинов, *Н. Калашников* — Из воспоминаний о В. М. Зензинове 290

БИБЛИОГРАФИЯ: 304

Н. Андреев — G. Vernadsky. The Mongol and Russia. *М. Карпович* — L. C. Stevens. Russian Assignment. *М. Вишняк* — I. Steinberg. In the Workshop of the Revolution. *Ю. Денике* — Н. Валентинов. «Встречи с Лениным». *Прот. А. Шмеман* — «Православная Мысль». *Роман Гуль* — И. Елагин. «По дороге оттуда».

ПИЛИГРИМЫ*

Когда потом Фред вспоминал тюрьму и все, что ей предшествовало, ему неизменно казалось, что это было бесконечно давно. Он помнил однако отчетливо каждую подробность. И когда он теперь думал об этом, ему было ясно то, о чем он до сих пор не догадывался. Самое главное произошло до второй встречи с Робертом, это было значительно раньше. Это случилось тогда, когда он впервые понял, что мир, даже для него, Фреда, не ограничивается тем, в чем до этого времени проходила его жизнь. Он видел опять перед собой две темные линии домов, между которыми открывалось небо, тротуары, мостовую, фонари, гостиницу и огромные красные цветы на обоях комнат: Rue St Denis. О том, что существовало нечто другое знал Лазарис, который был первым человеком, давшим ему понять это. Да, потом эти двое незнакомых людей на террасе кафе, говорившие об истории европейской культуры, потом Жерар и Валентина Симон. Но тогда он еще не понимал как следует, что значило преупреждение Лазариса и почему он, Фред, должен был всегда и неизменно ограничивать свое существование только тем, что происходило в каменном прямоугольнике rue St Denis. Он дорого заплатил за попытку ворваться силой туда, где законы его среды были неприменимы. Долгими днями в тюрьме он все возвращался к мысли о своем безвозвратном поражении и о том, что за ним последовало. Именно тогда он вдруг понял, что его больше не существует, Фреда — такого, каким он был до сих пор. В тюремной больнице ему вправили плечи и через короткое время он был совершенно здоров. Но это был уже не он. До последнего времени он всегда знал, как следует поступать и что следует делать. Теперь перед ним была пустота. Одно было ясно: rue St Denis больше не будет. Он пере-

---

* См. кн. 33, 34 и 35 «Нов. Журн.».

Copyright 1954, by «New Review Inc.» All rights reserved.

стал понимать, зачем нужно было жить так, как он жил всегда и что это ему давало. Раньше он никогда не ставил себе этого вопроса и оттого, что он себе его не ставил, все было просто и ясно. Но даже тогда по временам он смутно чувствовал, что в этом не хватает чего-то, чего он не знал, и что знали некоторые другие, чуждые ему люди. Затем на него обрушилась эта последовательность неудач — Жанина, Роберт, потом Шарпантье, потом эта мгновенная смерть Симона и то, что он, Фред, стоял тогда, глядя на его грудь и вдруг понял что сенатору Симону больше не страшны ни шантаж, ни револьвер, ни угроза, ни вообще что бы то ни было; и то, что Фред продолжал еще некоторое время стоять над ним, только подчеркивало, казалось, с неумолимой насмешливостью всю трагическую беспредметность его поведения. Это он понимал уже тогда. Но все другое осталось бы для него, может быть, таким же смутным и неясным, каким было раньше, если бы не тюрьма и появление в его жизни этого удивительного человека, которого звали Рожэ. О Рожэ ему восторженно говорил в тюрьме юноша с розовым лицом, который попал туда по недоразумению, вскоре выяснившемуся и который успел сказать Фреду, что Рожэ больше всего занимается малолетними преступниками, но вообще все знает и все может сделать. Он дал Фреду адрес Рожэ и сказал, когда его можно застать.

Фред вспомнил о нем, когда его выпустили из тюрьмы и за ним затворились тяжелые ворота. Было холодное зимнее утро, мостовые блестели от мерзлой влажности, длинная, узкая улица, на которую выходила тюрьма, была пустынна. Фред мог отправиться к себе и опять найти Дуду, Жинетту и Ренэ. Но он даже не подумал об этом. Он пошел по тому адресу, который ему дал молодой человек с розовым лицом. С улицы был вход на широкий двор; во дворе слева была прачешная, справа двухэтажный дом с большими окнами, через которые были видны столы, пишущие машинки и многочисленные девушки, которые на них что то печатали. Несколько дальше он наконец увидел дверь с надписью: «консьерж».

Он постучал туда и спросил полную, сорокалетнюю женщину с красными руками, где он может найти Mr Рожэ.

— Направо, в глубине двора, второй этаж, первая дверь налево — сказала она.

Он дошел до этой двери и постучал. — Войдите — сказал низкий голос. Он вошел и увидел человека небольшого роста, лет тридцати пяти, с растрепанной головой и живыми синими глазами. Он не сказал, как Фред этого ожидал, — «кто вы такой?» или «что вам нужно?» или «в чем дело?» Он посмотрел на Фреда и произнес с вопросительной интонацией:

— Ну?

И первый раз в жизни Фред осекся. В человеке, который сидел перед ним, было что то странное, чего он не мог определить и что делало его непохожим на других. Может быть, это была интонация его голоса, может быть выражение его глаз. Во всяком случае Фред твердо знал, что он никогда до тех пор не видал никого, с кем он мог бы его сравнить.

— Ну? — повторил он, взглянув на Фреда с выражением веселого удивления.

— Меня зовут Франсис — сказал Фред, — но все называют меня Фред. Я только что вышел из тюрьмы. Я пришел к вам потому, что мне говорил о вас Андрэ Дюбар.

— А, — сказал Рожэ. — Андрэ? Да, да. Ну хорошо. За что ты попал в тюрьму? недоразумение?

— Нет, — ответил Фред, — за дело. Я принадлежу к уголовному миру.

Синие глаза Рожэ пристально смотрели в его лицо.

— Откуда ты это знаешь?

— Это ясно.

Рожэ отрицательно покачал головой.

—— Это редко бывает ясно — сказал он. — Тебе может так казаться, ты можешь в этом быть уверен, но это еще не значит, что это именно так. А потом я лично думаю, что принадлежность к уголовному миру не есть нечто абсолютно неизменное и постоянное. Сегодня это так, завтра может стать иначе — и наоборот. Ты со мной не согласен?

— Не знаю — медленно сказал Фред.

— Хорошо, мы еще об этом поговорим. Почему ты пришел ко мне?

— Не знаю — опять сказал Фред. — Андрэ мне говорил о вас. Он мне говорил, что вам все можно сказать, что вы все знаете и все можете объяснить.

Рожэ улыбнулся, обнажив белые, плотные зубы.

— Что же тебе хотелось бы знать? Андрэ ошибся; я знаю очень немного. Но я всегда стараюсь понять, хотя это мне не каждый раз удается. Сказать ты можешь все.

— Это я вижу — ответил Фред. — Я не вчера родился.

У Рожэ была очень широкая и откровенная улыбка.

— Ты и в этом уверен? Ну, рассказывай.

До сих пор Фреду не приходилось никому ничего рассказывать — кроме того дня, когда у него было свидание с Валентиной, в кафе на Елисейских полях. То, что ему нужно было говорить, сводилось всегда к нескольким коротким фразам: «Дедэ сволочь». «Ренэ стерва». «Жерар опасный тип». «Лазарис вор». «Дуду дурак». «Я иду завтракать». «Скажи ему, что если он придет, я ему набью морду». Кроме того, он к своему удивлению терялся перед Рожэ, хотя в то же время чувствовал к нему полное доверие. Видя, что он испытывает затруднение, Рожэ сказал:

— Ну хорошо, я постараюсь тебе помочь. Ты говоришь, что тебя зовут Франсис, но все называют тебя Фредом. Почему?

— Это меня так назвала одна женщина, когда я пришел в Париж после исправительного дома. Она потом умерла.

— От чего?

— Ее задушили.

Лицо Рожэ стало мрачным.

— Кто?

— Клиент.

— Да, я понимаю.

В комнате, где сидел Рожэ, было тепло и светло. За окном было влажное и холодное утро. Через высокое стекло

окна был виден двор и растущее посередине двора дерево с обнаженными ветвями.

— Что было дальше?

Фред начал рассказывать. Он искал слова и часто останавливался. Рожэ не прерывал его. Фреду казалось, что он сам впервые видит, как проходила его жизнь и как постепенно опять встают эти ненавистные воспоминания: далекая и мрачная нищета его детства и вялая вонь мусорных ящиков, в которых он рылся, отыскивая себе пропитание, тупое и свирепое лицо калеки, высокий и всегда пьяный голос его матери, потом все остальное, вплоть до прихода в Париж и встречи на набережной, первая в его жизни комната гостиницы, влажно-теплая двухспальная кровать, веера фотографий на стене. Он рассказал об этом, опустив голову. Потом он поднял ее и посмотрел на Рожэ: у Рожэ было сосредоточенное и печальное лицо.

— Вам не надоело слушать? — спросил Фред.

— Нет, нет — ответил Рожэ. — Но это действительно грустно. Не повезло тебе. Продолжай.

Когда Фред дошел до того места, где речь должна была идти о визите к Лазарису, он остановился, подумал и потом сказал:

— Это мне особенно трудно рассказывать, я не знаю, как это сделать.

— Делай как умеешь, говори как до сих пор. Главное это искренность, все остальное менее важно.

Фред хотел, чтобы Рожэ понял самое главное — что с того дня, когда у него был разговор с Лазарисом, в его жизни начались изменения, которые в конце концов привели его сюда. Он подробно описал Лазариса и его улыбку, от которой всем становилось не по себе, хотя в ней не было ничего страшного.

Стенные часы показывали четверть первого. Рожэ сказал:

— Мне начинает хотеться есть, пора идти завтракать. Идем со мной, тут рядом есть небольшой ресторан.

— У меня нет денег.

Рожэ пожал плечами и сказал, что это неважно.

— Гораздо хуже, что у тебя, я вижу, нет пальто.

— У меня есть и пальто и деньги — сказал Фред. — Мне только надо сходить за ними на rue St Denis.

Рожэ сделал гримасу.

— Не стоит — сказал он. — Знаешь, говорят деньги не пахнут. По моему это не верно: есть деньги, к которым неприятно прикоснуться. Деньги, это вообще неинтересная, по моему, вещь. Твои деньги с rue St Denis...

— Мне теперь все равно — сказал Фред, — я просто так сказал.

— Не стоит — повторил Рожэ. — Идем завтракать.

Сидя в ресторане, за маленьким столом, Фред задумался на минуту, и все вдруг показалось ему неправдоподобным — этот столик, лицо Рожэ против него и он сам, неузнаваемый Фред. Ощущение тревожной пустоты, которое он так часто испытывал в последнее время, вернулось к нему с новой силой.

— Тут, между прочим, прекрасный boeuf bourgignon — сказал Рожэ. — Я бы на твоем месте попробовал.

Фред все больше убеждался в том, что Рожэ был действительно ни на кого не похож. Теперь Фреду стала казаться удивительной та свобода, с которой Рожэ себя держал. Он тоже ничего повидимому не боялся и у него было то же отсутствие страха, которое Фред заметил у Валентины. Но оно вероятно имело другие основания. Наверное этому человеку было нечего скрывать и наверное он ни к кому не питал враждебных намерений. И Фред, который провел всю свою жизнь, в сущности, настороже, сейчас внезапно понял, что есть обстоятельства, когда это совершенно ненужно.

После завтрака они вернулись в кабинет Рожэ и Фред продолжал говорить. Он рассказал о Жанине, Роберте, Дуду, Шарпантье, Валентине и сенаторе Симоне. Лицо Рожэ было внимательно и серьезно. Когда он кончил свой рассказ, Рожэ молчал несколько минут. Потом он сказал:

— Одним словом, тебя больше не существует. Человек,

который жил на rue St. Denis и которого звали Фредом, умер. Que Dieu ait pitié de son âme.

Потом он опять замолчал и когда он снова поднял голову, Фреда поразило восторженное выражение его синих глаз. Не глядя на него, Рожэ сказал:

— Это похоже на то, как если бы ты возникал из небытия. Но теперь надо жить.

Андрэ Бертье не говорил с сыном о самых недавних событиях и не сказал ему в частности, что не мог себе простить своей непредусмотрительности. Предотвратить вторичное появление Фреда на rue Poussin было бы так же несложно, как проследить за Жаниной. Он не подумал об этом и в течение некоторого времени эта мысль не давала ему покоя. Но одновременно с этим он испытывал удовлетворение оттого, что Роберт оказался оба раза на высоте положения. Говоря об этом со своей женой, он сказал, не сдерживая довольной улыбки:

— Ты бы могла подумать, Соланж, что наш сын, который провел всю жизнь над книгами, вдруг оказался бы способен на такие вещи?

Как все вопросы, не связанные с тем, что ее непосредственно интересовало, вопрос о поведении Роберта, особенно теперь, после того, как опасность миновала, — казался ей второстепенным. Но кроме этого, то, что сделал Роберт, ей вообще не представлялось с его стороны удивительным или неожиданным.

— Ничего странного в этом нет — сказала она. — Он всегда занимался этим своим глупейшим спортом. Это впрочем рано или поздно скажется на нем, дай Бог, чтобы у него не было сердечной болезни. А то, что он так себя вел, это естественно. Он твой сын, Андрэ, ты всегда отличался внутренней грубостью. У него она тоже есть, как видишь, это наследственность.

— Соланж! — сказал он и впервые за много лет она услышала в его голосе интонацию упрека. — Ты меня обвиняешь во внутренней грубости? Ты хочешь сказать, что тебе пришлось страдать из за этого?

— Нет, Андрэ, ты не так меня понял. Я не упрекаю тебя в проявлении этой грубости. Тебе всегда удавалось ее побеждать и ты ни разу в жизни не был груб по отношению ко мне. Но это было результатом твоей борьбы с самим собой. Вся твоя жизнь прошла в ежедневной борьбе, поэтому ты так сохранился, ты видишь. Ты старше меня, но у тебя железное здоровье и ты не знаешь никаких недомоганий, в то время, как я...

Он смотрел на нее с сумрачной нежностью, не отвечая ей и думая о том, что вся его жизнь связана с этой женщиной. Он помнил, что в самые тяжелые дни, во времена их молодости, она неизменно делила с ним все и не боялась никаких испытаний. Она всегда была рядом с ним и он знал, что во всех обстоятельствах он может расчитывать на нее до конца. Это все давно прошло и теперь ему была ненужна ее поддержка. Но ему иногда хотелось, чтобы воспоминание об этом заставило ее задуматься над тем, что значило для него ее участие в его жизни. Потом он вздохнул и подумал, что она слишком поглощена своим собственным вздорным существованием, которое она себе придумала и которое не оставляло места ни для чего другого.

Потом разговор коснулся смерти Симона. Соланж сказала:

— Для меня в этом не было ничего неожиданного. Я это знала давно; как только я его увидела, я поняла, в чем дело. Когда он обедал с нами, ты конечно не заметил выражения его глаз?

— Нет.

— Конечно, здоровые люди ничего не замечают. А для меня это было очевидно. Это было написано на его лице.

— Ты хочешь сказать, это было внешне очевидно?

— Боже мой, конечно — сказала она. — Ты помнишь напряженное выражение его глаз? Что это значит?

— Не знаю. По моему выражение как выражение.

— Нет, милый мой, оно было напряженное. Но это не вызывалось умственным усилием.

Да, тут я с тобой согласен.

Это был результат повышенного давления. А повышенное давление в этом возрасте значит, мой дорогой Андрэ, что этого человека ждет смерть от апоплексического удара.

Он кивнул головой — полупочтительно, полунасмешливо — и вышел из комнаты.

Его интересовала судьба Фреда. Он не предполагал, что выйдя из тюрьмы, Фред опять попытается силой вернуть Жанину и стало быть Роберту снова будет угрожать опасность. Такая настойчивость была маловероятна. Но он всё-таки хотел знать, что происходит. Он вызвал по телефону человека, стоявшего во главе того частного сыскного агентства, которое прислало ему мужчину в плаще, следившего за Жаниной. Это был плотный пожилой человек, говоривший короткими фразами. Бертье объяснил ему в чем дело и сказал, что хотел бы знать, где Фред и что он делает.

Понимаю — сказал директор агентства.

— Если вы в ближайшее время дадите мне знать...

— Я буду держать вас в курсе дела.

На следующий день он позвонил Бертье.

— Он вышел из тюрьмы неделю тому назад. Завтра или послезавтра я пришлю вам человека, который вам подробно расскажет обо всем.

Но человек явился только через три дня. Это был все тот же мужчина; вместо плаща на нем было теперь пальто, но шляпа и галстук остались те же.

— Здравствуйте, — сказал Бертье — что вам удалось узнать?

— Очень странную вещь, Мг Бертье — ответил он. — Я имею ввиду тот факт, что Фред исчез.

Исчез?

— Именно.

— Что же с ним могло случиться?

— Мы теряемся в догадках, Мг Бертье.

Он сказал это своим обычным невыразительным тоном и эта фраза прозвучала так, как если бы она значила нечто дру-

гое — «мы обычно завтракаем в ресторане» или «мы часто ходим пешком».

— Как же вы это выяснили?

Он подробно рассказал Бертье о результате своих поисков. Установив, что Фред был выпущен из тюрьмы неделю тому назад, он отправился в дансинг «Золотая звезда» и обратился к Жерару. Жерар сказал, что не видал Фреда очень давно и вызвал Жинетту. Жинетта, явно растерянная, объяснила ему, что и она и Ренэ и Дуду с нетерпением ждали возвращения Фреда, но что он до сих пор не появился.

— Может быть он переменил район?

Но Жинетта полагала, что этого не могло быть; кроме того, если бы это произошло, об этом стало бы известно.

— Ну куда же он делся?

Она пожала плечами.

Тогда агент частного агенства пошел к Лазарису. Но и Лазарис не мог ему дать никаких сведений. В противоположность всем остальным, он однако не был удивлен бесследным исчезновением Фреда.

— Я должен вам сказать, что Фред был не совсем похож на своих коллег. Вы понимаете?

— Непохож в каком смысле?

— Это трудно объяснить в двух словах. Я считаю этого человека способным на все — бегство, убийство или даже самоубийство. В нем было что то странное, я его всегда остерегался. Не в том смысле, что он представлял какую либо опасность, а в том, что он был способен совершить неожиданный поступок. А кроме того, вы знаете, человеческая жизнь такая хрупкая вещь...

Но философские соображения были чужды частному агенту и выслушивать их не входило в его профессиональные обязанности. Он навел справки еще в нескольких барах, где хорошо знали Фреда, но результат был тот же самый: Фред пропал и никто не знал, что с ним случилось.

В этом было нечто действительно странное, чего никто из знавших его не мог понять. У Фреда не было денег, не было

даже зимнего пальто, которое продолжало висеть в его комнате, не было друзей, и он не мог, казалось, не вернуться туда, где жил до сих пор, — потому что вне этого ограниченного мира для него не оставалось ничего, кроме пустоты и неизвестности.

Фред шел из лесу домой, по знакомой дороге, в темноте, неся на спине дрова, туго стянутые веревкой. Дул холодный ветер; плотный снег лежал уже несколько дней, термометр все время не поднимался выше нуля. В темном зимнем небе блестели звезды. Он дошел наконец до незапертых ворот и оглянулся. Вокруг густо стояли деревья, чуть поскрипывающие от ветра. Была особенная тишина, к которой он долго не мог привыкнуть и которая так существенно отличалась от тишины городской. Городская была временным и случайным прекращением шума; в лесной каждый звук приобретал особенное значение. Но звуков почти не бывало — только холод, деревья и снег. Ближайшее село было в двух километрах, ближайший городок — в восьми. Он толкнул плечом ворота и вошел во двор; в глубине стоял маленький деревянный дом, в котором он жил, направо другой, побольше, налево крытый сарай, где была столярная мастерская и на стене были аккуратно развешены самые разные инструменты. В левом углу сарая находился огромный дубовый стол с прорезью, в которой вращался зубчатый диск пилы, приводимой в движение небольшим мотором. За постройками, окружая двор, шла низкая кирпичная стена, над которой склонялись ветви деревьев. Фред свалил дрова в сарае и пошел к себе. Был восьмой час вечера и Рожэ должен был приехать с минуты на минуту. Фред накрыл небольшой стол, поставил два прибора и стал ждать. В домике было тепло от огромной печи. Через квадратный кусок слюды на ее дверце был виден темно красный отблеск пламени.

Он жил здесь совершенно один уже третий месяц. После того, как он вышел из тюрьмы и провел несколько дней в Па-

риже, в маленькой комнате гостиницы, которую ему снял Рожэ, он приехал вместе с ним сюда. До этого Рожэ все звонил по телефону, уходил, вел какие то переговоры и наконец сказал Фреду, что все устроено.

— Я тебе нашел место — сказал он. — Это не здесь, а в девяноста километрах от Парижа, в лесу, брат, замечательная вещь! Ты увидишь.

— Что я там буду делать? — спросил Фред. — Я почти ничего не умею, вы знаете.

— Ты будешь сторожить дом — сказал Рожэ. — Это маленькое имение одного моего старого приятеля, который там очень редко бывает. До сих пор за домом присматривала местная крестьянка, но она уходит. Я ему предложил взять тебя. Ты будешь сторожить, значит, дом, топить печи, рубить дрова и больше ничего. Он тебе будет платить небольшое жалованье. Пищу ты будешь покупать в деревне, в двух километрах оттуда, и в конце каждого месяца он будет платить в лавочку. Понимаешь?

— Понимаю — ответил Фред. — И там никого не будет кроме меня?

— Никого. Но там, в доме очень хорошая библиотека. Ты знаешь, откровенно говоря, я тебе завидую. Я бы хотел быть на твоем месте. Завтра с утра мы туда поедем и я тебе все покажу. А я буду приезжать к тебе каждую суботту и оставаться до понедельника.

Фреду казалось совершенно естественным, что он действительно должен поехать туда и жить теперь там, так как Рожэ находил это необходимым. Он питал к Рожэ необыкновенное доверие. Он смутно понимал, что в жизни, которая ему предстояла и о которой он не имел никакого представления, потому что в ней не было ни одного из элементов, составлявших его существование до сих пор, — что в этой новой области Рожэ конечно знал все гораздо лучше, чем он. Ему казалось, что с недавнего времени началось какое то движение, в котором ему, Фреду, предстояла важная роль, — движение, возникшее потому, что существовал Рожэ и потому

что Рожэ участвовал в нем наравне с Фредом. И он впервые за свою жизнь подумал, что обмануть этого человека нельзя и что он этого не сделает ни при каких условиях.

Он сидел перед печкой, вытянув ноги и наслаждаясь теплом. Он вспоминал сейчас первый день своих разговоров с Рожэ, когда они вернулись из маленького ресторана и Рожэ предложил Фреду кресло, а в другое сел сам. Одно было бархатное, другое кожаное и оба были порваны. Рожэ сказал:

— Видишь ли, Франсис, — он сразу же начал называть его настоящим его именем, — видишь ли, старик, дело представляется так: если ты ни о чем не думаешь, все просто. Когда ты начинаешь размышлять, ты убеждаешься, что очень простых вещей мало. Другими словами, что нибудь тебе кажется ясным, как день. Но если ты как следует подумаешь почему это так, ты видишь, что этому предшествовало множество всякой всячины. И чтобы понять эту простую вещь, надо знать и понимать эту всякую всячину. Понимаешь?

Фред кивнул головой.

— Тебя поразило в кафе то, что говорили эти люди об истории культуры, настолько поразило, что ты даже запомнил слова, которые они произносили и имена, которые они приводили. Тебе показалось удивительным, что они говорят о вещах, о которых ты не имеешь представления. Так?

— Да.

— Никакого чуда тут нет однако — сказал Рожэ. — Эти люди такие же, как мы с тобой, — может быть, скажем, другого роста или другого вида, но это неважно.

— Мы с вами разные — сказал Фред. — Вы это одно, я другое.

— Конечно, — ответил Рожэ, — двух одинаковых людей в мире не бывает. Но некоторые вещи, которые понимает один, может понять и другой. Не всегда и не непременно, но часто может. А самое главное, это знать, для чего ты живешь, понимаешь?

— Я никогда об этом не думал — сказал Фред. — Я

только думал — почему одни могут, а другие не могут. Я не умею говорить, мне трудно объяснить это.

— Почему одни могут говорить о культуре, а другие нет?

— И это тоже.

— Это сравнительно просто — сказал Рожэ. — Если бы ты получил такое же образование, как эти люди, ты мог бы говорить как они. Но ты недоумевал, почему такие вещи могут их интересовать?

— Да.

— Для этого есть много причин, мы позже поговорим с тобой об этом обстоятельнее. Одна из них, которая сейчас тебе будет наиболее понятной, это та, что у них меньше материальных забот, чем у других и больше свободного времени.

— И эти люди знают, зачем они живут?

— Вероятно знают или думают, что знают.

— А зачем вообще люди живут?

Рожэ улыбнулся.

— Это не так просто. Все, однако, живут для чего-то. Если ты отнимешь у человека какую то цель, которую он преследует, его существование делается ненужным. Но есть цели, которые стоят того, чтобы их добиваться и есть цели, которым грош цена. Понимаешь?

— А как узнать, какая цель важная и какая неважная?

— На это, милый мой, Бог тебе дал две вещи: совесть и разум.

— Я однажды слышал проповедника из Армии Спасения — сказал Фред. — Он тоже говорил о совести.

— И тебе было смешно?

— Нет, мне никогда не бывает смешно. Мне было скучно.

Рожэ покачал головой и спросил:

— Вот эти самые люди из Армии Спасения — ты думаешь, они глупее нас с тобой?

Он редко говорил «я», чаще всего «мы» или «мы с тобой». Но это получалось у него естественно и просто и казалось очевидно, что он действительно не делал разницы между собой и Фредом.

— Не знаю — сказал Фред.

— А ты об этом подумай. Тебе вообще о многом надо подумать. Я понимаю, что это трудно, но я постараюсь тебе помочь. Мы с тобой будем работать вдвоем. И я считаю, что мы не хуже других и то, что другие могут понять, мы тоже можем. Не так ли?

— Я постараюсь — сказал Фред. — Мне это очень нужно.

Но в течение нескольких дней Рожэ был занят. Затем когда он приехал сюда, в это маленькое именье, которое так плотно обступил со всех сторон лес, он показывал Фреду, как действует пила, где нужно рубить дрова, где лежат инструменты и как ими пользоваться, как и на чем точить топор и много другого, о чем Фред до сих пор не имел никакого представления. Потом, в воскресение вечером он уехал в Париж на том же маленьком, старом автомобильчике, на котором привез Фреда. Фред вышел его провожать и доехал с ним до большой дороги. Там они расстались и Рожэ сказал, что приедет в следующую субботу. Фред один пошел обратно. Он шел в холодной тьме, смутно различая стволы деревьев и стараясь не уклониться в сторону от узкой дороги с замерзшими кочками твердой глиняной земли. Он шагал, глубоко задумавшись, и ему казалось, что за этим ледяным мраком, который отделял его сейчас от всего, что предшествовало его приезду сюда, есть что то новое, чего он не знал, и что вероятно было лучшим, чем его прежняя жизнь. Но он ни разу не подумал что он совершенно свободен и ничто не мешает ему вернуться на Rue St Denis. Он не подумал об этом потому, что это не соответствовало бы действительности и потому, что он потерял свою свободу окончательно в тот день, когда он пришел к Рожэ.

С этого дня прошло около трех месяцев. И когда он вспоминал это, ему начинало казаться удивительным, что он тогда мог не понимать некоторых очевиднейших вещей, которые понимал теперь. Рожэ подолгу с ним разговаривал, приезжая каждую субботу и оставаясь до понедельника. У Фреда было

впечатление, что этот человек знает все и может ответить на любой вопрос, чего бы он ни касался. Он однажды спросил его:

Откуда вы всё это знаете?

— Что? — удивился Рожэ.

— Все, что вы мне объясняете.

Рожэ махнул рукой и ответил, что это пустяки, это неважно и то, что знает он, знает каждый средний человек. Он никогда не учил Фреда, он быстро объяснял ему в разговоре, что это так, а это иначе, не задерживаясь подолгу ни на чем и не стараясь как будто бы заставить Фреда непременно думать так же, как он сам. Во время первого же своего приезда он повел его в тот дом, где жил хозяин именья, — когда он там бывал, — и показал ему библиотеку, которая занимала всю стену. Он сказал:

— У тебя много свободного времени, я бы на твоем месте занялся чтением. Тут есть интересные вещи.

Фред до тех пор никогда не читал книг, — не потому что он полагал бы, что это потеря времени, а оттого, что это не приходило ему в голову и никто из тех, среди кого проходила его жизнь, тоже никогда не читал, кроме этой несчастной Одетт. Ни его мать, ни калека, ни его товарищи, ни Дуду, никто не читал книг и этот вопрос совершенно естественно даже не возникал. Он знал грамоту, его научили этому в школе, где он пробыл очень недолго и куда его посылала мать, чтобы он не надоедал ей дома. Но его скоро взяли оттуда.

И когда он захватил из библиотеки несколько томов, которые ему указал Рожэ и начал читать вечером, сидя перед печкой, у него появилось необыкновенное ощущение, которого он до сих пор не мог бы себе представить. Ему было трудно изложить это своими словами. Но когда через неделю приехал Рожэ, Фред ему сказал:

— Я не мог даже подумать, что есть такие вещи. Mr. Рожэ, я все понимаю. И я понимаю, как живут другие люди, о которых это написано. Но это все правда? Это так и было?

— Было — или могло быть — сказал Рожэ.

— И вы все это читали?

— Да-да — сказал Рожэ. — Вот ты увидишь, что будет дальше. Ты поймешь много вещей, о которых ты до сих пор не думал. Я очень доволен. Ты сдвинулся с места и теперь я надеюсь, что ты не остановишься.

Свое свободное время Фред посвящал исключительно чтению и с каждым днем он все явственнее ощущал то, о чем ему было бы трудно рассказать, но в чем была одна очевидная истина: как бы ни сложилась в дальнейшем его жизнь, она никогда и ничем не будет похожа на ту, какую он вел до встречи с Рожэ. В том, прежнем существовании для него не оставалось места.

Он ждал теперь Рожэ с особенным нетерпением. Уезжая в прошлый понедельник, он сказал ему:

— В следующий раз, когда я приеду, мы может быть поговорим с тобой об очень важных вещах. Некоторое время тому назад это было бы трудно. Теперь я думаю, это возможно.

В вечерней морозной тишине Фред услышал наконец треск шин по мерзлой земле и шум автомобильного мотора. Он вышел из дома и распахнул ворота. Рожэ въехал во двор и поставил машину возле сарая.

— Вы немного опоздали сегодня — сказал Фред.

— То, что я опоздал, это неудивительно — ответил Рожэ со своей широкой улыбкой. — Гораздо удивительней то, что я всё-таки доехал. Эта проклятая машина, которая портится каждые десять километров... Я надеюсь, ты позаботился об ужине? Я умираю с голода.

После ужина он сел в кресло и глядя своими живыми глазами на Фреда, спросил:

— Ну, как тебе живется? Не скучаешь?

— Вы обещали, что сегодня вы будете говорить о важных вещах.

— Да-да, я не забыл. Пойдем в библиотеку, там как то удобней.

В библиотеке он сел, но тотчас же встал со своего

места и начал ходить взад и вперед, вдоль стены, заставленной книжными полками. В слабом освещении комнаты — горела только небольшая лампа на столе — Фреду показалось, что у Рожэ было особенное выражение, которого он у него еще не замечал никогда. Он решил, что вероятно Рожэ действительно думает об очень важных вещах. Рожэ долго ходил из одного конца комнаты в другой и молчал. Потом он остановился и спросил:

— Ты заметил, что ты изменился за последнее время?

— Да.

— Что именно с тобой произошло?

— Мне это трудно сказать. Я думаю, что понимаю некоторые вещи, которых раньше не понимал.

Рожэ пристально смотрел на него. В полутьме его лицо казалось белее, чем обычно.

— Я постараюсь тебе сказать, в чем дело, хотя это мне не легче, чем тебе. Если бы тебя спросили, вачем ты живешь на свете, что бы ты ответил?

— Я бы сказал, что я не знаю.

— Хорошо. Если бы об этом тебя спросили полгода тому назад — или теперь: какая была бы разница?

— Очень большая — сказал Фред. — Я бы не знал, что ответить и тогда и сейчас. Но это совершенно разные вещи.

В комнате стояла тишина. Звучный голос Рожэ сказал:

— Ты этого не знал бы ни тогда, ни теперь. Но это верно — ты не знал бы по разному. Когда мне было столько лет, сколько тебе, я тоже задавал себе этот вопрос и тоже не умел на него ответить. Но теперь я знаю.

Фред смотрел на него с напряженным вниманием.

— Вот я родился столько то лет тому назад, и проживу какое то время, сколько — никто не знает и потом я умру — сказал Рожэ. — И то же самое произойдет с тобой. Мой труп будет лежать в земле и от всего, что я знал и любил в этой жизни, не останется ничего. Так я думал тогда и мне казалось, что в этом есть что то неправильное и несправедливое.

Он стоял в противоположном углу комнаты и у Фреда было впечатление, что голос его звучал почти что издалека.

— Моя мать умирала от тяжелой болезни — сказал он — и я знал, что ее нельзя было спасти. Но если бы меня спросили тогда, согласен ли я умереть, чтобы она осталась жива, я бы не колебался ни минуты. Так мне казалось.

Фред смотрел неподвижными глазами на белое пятно его лица и сжимал зубы от непонятного волнения.

— Ты понимаешь?

Фреду было трудно говорить, он кивнул головой.

— Потом, когда все было кончено, я опять начал думать об этом. Я думал, — вот, я хотел бы умереть вместо нее. Значит существуют какие то вещи, за которые ты готов отдать свою жизнь, то есть единственное, что у тебя есть. Что это такое? Ты бы не мог об этом подумать, если бы твоя мысль останавливалась там, где останавливается твоя жизнь. Ты понимаешь? Потому что когда ты готов отдать свою жизнь, то это решаешь ты, а не кто то другой. Значит, ты продолжаешь существовать после того, как ты дошел до конца своей жизни. И я подумал тогда, что вероятно смерти нет. Есть страшный переход из одного состояния в другое. Я думаю, что почти для всякого человека это самое ужасное, что он может себе представить. Но это только переход.

Он наконец сдвинулся с места и подошел к Фреду. Потом он повернулся и пошел обратно. Фред видел в течение нескольких секунд только его затылок и слышал измененный звук его голоса.

— И если это так, ты понимаешь? то вся наша жизнь принимает другой смысл. Мы должны жить иначе, чем мы жили бы, если бы за смертью не было ничего. Я вижу например людей, которые выбиваются из сил, чтобы достигнуть совершенно незначительной цели. И когда им это наконец удается, у них не остается сил, чтобы воспользоваться тем, что они сделали. Но помимо всего, то, чего они добиваются, не стоит труда.

Он вдруг улыбнулся.

— Ты знаешь, Франсис, мне однажды было нужно достать

крупную сумму денег. Я отправился к одному человеку, у которого много миллионов. Он мне отказал. Он сказал мне, что согласился бы дать деньги только в том случае, если бы был абсолютно уверен, что они будут разумно использованы. Он прибавил еще, что с деньгами нужно уметь обращаться и что они не должны попадать в недостойные руки. Он так и сказал — недостойные руки.

Рожэ засмеялся.

— Я ушел и на прощанье сказал, что выражаю ему свое сочувствие. Он удивился. Тогда я сказал ему, что хотя он и миллионер, но ведет себя как нищий и в конечном итоге, фактически он не богаче последнего оборванного бродяги, который ночует под мостом. Потому что если бы я обратился к такому бродяге с той же просьбой, что к нему, результат был бы одинаковый.

Затем его голос изменился и он сказал серьезно:

— Кто из нас мог бы утверждать, — в конце своей жизни — что он прожил недаром и если бы его судили за все, что он делал, у него было бы какое то оправдание? Я долго думал над этим и пришел к одному выводу. Он не новый, он известен тысячи лет. И он очень простой. Если у тебя есть силы, если у тебя есть стойкость, если ты способен сопротивляться несчастью и беде, если ты не теряешь надежды на то, что все может стать лучше, вспомни, что у других нет ни этих сил, ни этой способности сопротивления. И ты можешь им помочь. Ты понимаешь? Для меня лично в этом смысл человеческой деятельности.

Фред слушал его, не пропуская ни слова.

— Меня спрашивали: зачем это делать? или почему надо так поступать? Мне как то сказали: вы говорите так потому что вы христианин и потому что вы верите в Бога. Но я знал людей неверующих, знал других, которые едва слышали о христианстве и которые поступали именно так. Самое замечательное в этом то, что такая деятельность не нуждается ни в оправдании, ни в доказательстве своей пользы. Я верю в Бога, но вероятно я плохой христианин, потому что есть люди, которых я

презираю. Если бы я сказал, что это не так, я бы солгал. Правда, я замечал, что презираю не тех, кого обычно презирают другие, и не за то, за что людей чаще всего презирают. Но огромное большинство людей надо жалеть. На этом должен строиться мир.

Он говорил просто, не повышая голоса.

— Нас, то есть таких, кто думает как я, нередко называли сумасшедшими. Но многих из тех, которые так говорили, давно уже нет, давно забыты их имена и то, что они считали правильным и нужным, а мы еще существуем. И я думаю, что пока будет стоять мир, это будет так. И в конце концов не так важно быть может, как это будет называться: гуманизм, христианство или что нибудь другое. Сущность остается одна и та же и сущность эта заключается в том, что такая жизнь, о которой я тебе говорю, не нуждается в оправдании. И я тебе скажу больше — то, что я лично думаю: только такая жизнь стоит того, чтобы ее прожить.

Он замолчал. Фред тоже не произносил ни слова.

— Я часто думал о тебе — сказал Рожэ. — Какая то случайность предшествовала твоему рождению. Ты был брошен в этот мир и ты погрузился в небытие. В тех условиях, в которых ты жил, это не могло быть иначе. Но начиная с известного момента всякий человек становится ответственным за то, что он делает. Уклониться от этой ответственности, это значит вести себя как последний трус. Есть еще другие категории людей, которые от нее уклоняются. Есть люди слабые. Есть люди, ум которых недостаточно развит, чтобы в этом разбираться. И есть мерзавцы. Я всегда спрашивал себя, зачем нужно их существование? Вероятно затем, чтобы мы, глядя на них, лучше понимали, как не надо жить и их роль в этом постоянном напоминании. Я думаю, что ты не принадлежишь ни к одной из этих категорий и я уверен, что ты не трус. Если бы это было иначе, мы бы с тобой сейчас здесь не разговаривали. Это то, что я хотел тебе сказать сегодня.

Роберт ничего не сказал Жанине о втором приходе Фреда непосредственно после того, как это произошло. Он заговорил об этом впервые через две недели после ее возвращения из клиники. Это было ночью, она лежала рядом с ним. Он поцеловал розоватый шрам на ее животе и сказал:

— Да, Жанина, я совсем забыл. Когда тебя только что оперировали...

Она поднялась на локте.

— Что тогда случилось?

— Ничего страшного — ответил он. — Фред приходил опять.

— И ты мне до сих пор ничего не говорил? Боже мой, что же было?

Он рассказал ей, как все произошло. Она покачала головой и сказала:

— Ты знаешь, я начинаю думать, что из тебя вышел бы неплохой гангстер.

— Это очень сомнительно — сказал он, улыбаясь. — Во первых, я слишком ленив. Во вторых... не знаю, меня как то не тянет к этому.

Она помолчала.

— Что же теперь будет? Неужели опять сидеть и ждать, что он снова явится? Я тебя предупреждаю. Роберт, что второй раз я не уйду, я больше не могу.

— Да, да — сказал он. — Нет, мне почему то кажется, что вряд ли он придет в третий раз. У него был какой то странный вид тогда, ты знаешь... и странные глаза... Нет, я думаю, он не вернется.

Она лежала рядом с ним, закинув руки за голову и глядя в потолок.

— О чем ты думаешь?

Она улыбнулась.

— Когда мне был одиннадцать лет и я уже жила в деревне, и мама приехала потом на две недели, недалеко от нас, на огромном пустыре, расположился цыганский табор. Я помню, что я была очень удивлена: я никогда не видела таких людей. Первая же вещь меня поразила. Старая цыганка готовила пи-

щу для своей семьи и знаешь, что она делала? Она обдирала ежа. Ты себе представляешь?

— Действительно странное блюдо — сказал он.

— Ты видал когда нибудь цыган, Роберт?

— Да — сказал он. Он вспомнил, как несколько раз он проезжал на автомобиле мимо тех мест возле дороги, где почти каждое лето останавливались цыганские возки; там паслись маленькие, пегие лошади, было множество детей, очень смуглых и грязных, были небритые мужчины дикого, как ему казалось, вида, и женщины в длинных, почти до пят, юбках и в цветных кофтах, надетых на голое тело. И один раз, когда он остановил машину, потому что ему послышался какой то подозрительный звук в шуме мотора, к нему подошла молодая цыганка, держа маленькую афишку и спросила его, не может ли он ей сказать что тут написано. Он взял из ее темной руки листок и прочел, что здесь, на площади этого местечка, завтра вечером будет выступление знаменитого китайского фокусника Ли-Фур и будут показаны научные опыты первый раз в Европе и в их числе магический сундук и летающая женщина. Он хорошо помнил ее смуглое лицо, темные глаза, порваную ее кофту, очень открытую впереди, так что было видно начало ее узких грудей, неподвижный воздух знойного августовского дня в Провансе.

— Спасибо, Mr — сказала она ему — что ты прочел мне афишу. А сколько стоит вход?

— Три франка.

— Ну, дай мне руку, я тебе погадаю. Я скажу тебе о женщине, которая тебя будет любить и я тебе скажу, что надо делать, чтобы быть богатым.

Он засмеялся.

— Ты все это знаешь?

— Я цыганка — сказала она. — Я знаю все.

Он хотел ее спросить — «а буквы?». Но он не сказал этого. Он только отрицательно покачал головой, продолжая улыбаться и дал ей пять франков.

— Спасибо — сказала она. — Я тебе всё-таки скажу самое главное: у тебя будет счастливая судьба.

Он сел в автомобиль и помахал ей рукой на прощанье. Когда он обернулся, проехав двести или триста метров, он увидел, что она все стояла на том же месте и смотрела ему вслед.

Он рассказал это Жанине и прибавил:

— Но этим и ограничивается мое знакомство с цыганами. О том, что они едят, например, я совершенно не осведомлен.

— Мне тоже гадала цыганка — сказала Жанина. — Она предсказала мне то же самое: что я встречу человека, который меня полюбит и что я буду богата. Я рассказала это дома. Мама и бабушка смеялись, а дедушка сказал, что все может быть.

Она продолжала смотреть в потолок и потом ее верхняя губа дернулась.

— Я вспомнила об ее предсказании в тот день, когда Фред мне сказал, что я буду работать на него.

— Ты хорошо помнишь эту цыганку?

Она кивнула головой.

— Да. Она была непохожа на ту, которая тебя спрашивала, что написано на афише. Она была старая, с черными, маленькими глазами и очень хриплым голосом. И не так давно, несколько дней тому назад, когда я опять вспомнила о ней, я подумала: вот, она предсказала мне счастье и богатство. Что она знала об этом? и что это такое в ее представлении? Может быть то, что другим казалось бедностью, ей казалось богатством. Даже вернее всего это так.

— И вот видишь, она всё-таки была права. Ты знаешь, Жанина, я как то разговаривал с моим отцом об участи разных людей и он сказал вещь, которая показалась мне правильной. Он сказал, что у каждого человека две судьбы. Одна, это та, которая есть. Другая — та, которая должна была бы быть. Понимаешь? Иногда эти две судьбы совпадают, но далеко не всегда. И далеко не всегда это зависит от личных усилий или стремлений.

— Ты думаешь, что в каждой человеческой судьбе есть какая то справедливость?

— Справедливость? — спросил он задумчиво. — Не знаю. Я думаю, что есть приговор.

Как каждую ночь, она заснула первой, даже не успев накрыться одеялом. Он лежал рядом с ней, оперев голову на руку и глядя на ее смуглое тело с двумя ровными, белыми пятнами на груди и белым треугольным поясом на нижней части живота, где точно отпечатался ее купальный костюм. И как каждую ночь, он испытывал чувство, которого не мог бы описать. Но сегодня кроме того, он думал о цыганках и предсказаниях. Он пролежал так несколько минут, потом приподнялся, накрыл Жанину одеялом, потушил лампу, стоявшую на ночном столике и остался в темноте. Но он не спал. В сотый раз он с ужасом представлял себе, какой могла бы быть судьба Жанины. И когда он думал, что это тело могло стать тем, что из него хотел сделать Фред, и что эта самая Жанина, дыхание которой он слышал сейчас, должна была бы пройти через тягчайшие человеческие унижения, у него кровь приливала к лицу и он чувствовал, что если бы это зависело от него, — в каком то идеально теоретическом плане, — то чтобы помешать этому, он не остановился бы ни перед чем, даже перед убийством. Он вспомнил Фреда и подумал, что сказала Жанина о старой цыганке: «может быть то, что другим казалось бедностью, ей казалось богатством». Да, вероятно у этой женщины, которая не умела читать и ела ежей, были свои собственные представления обо всем. И вероятно Фреду тоже казалось, что та работа, к которой он предназначал Жанину, могла рассматриваться, как естественная и в сущности неплохая для нее карьера, лучше, чем участь поденщицы или служба на фабрике. Но Роберт не досмотрел фильма — и все это изчезло, не оставив ничего, кроме соображений о том, что могло бы быть и что должно было произойти, но чего не произошло. Теперь будущность Жанины была определена.

За эти несколько месяцев она совершенно изменилась во всем, вплоть до походки и интонаций ее негромкого голоса. Та природная мягкость, которая в ней была всегда, приобрела особый оттенок, — так же, как ее движения или манера сидеть за

столом. Все это время он посвятил тому, чтобы приблизить ее к себе. Она впитывала в себя как губка то, чему он ее учил и следовала за ним с легкостью, которая его удивляла. Но он не строил себе чрезмерных иллюзий и знал, что тот мир отвлеченных построений и холодной восторженности разума, в котором он привык существовать, останется ей чужд навсегда. Это, впрочем, могло бы быть так даже если бы она выросла в тех же условиях, что он.

Он сам не отдавал себе отчета в том, насколько глубоки и насколько внешне очевидны были изменения, которые в ней произошли. Об этом ему сказал отец, которого он попросил придти к нему обедать, как тогда, в самом начале ее пребывания на Rue Poussin. Когда он вышел один провожать отца, Андрэ Бертье сказал, что он даже не надеялся на такие результаты и что теперь Жанину можно показать кому угодно.

Она была наконец представлена Соланж. Роберт предупредил ее, что разговор вероятно каснется медицины.

— Ты же знаешь, что я в ней ничего не понимаю.

— Это не так важно — сказал он. — Тебе нужно будет время от времени только подавать незначительные реплики. Говорить будет моя мать.

Все прошло еще благополучнее, чем он думал. Соланж нашла, что у Жанины прекрасный вид, что ей идет ее прическа, что она чрезвычайна мила и очень неглупа, хотя немного робка. Андрэ Бертье сказал Роберту, когда они остались вдвоем на несколько минут:

— Твоя мать плохо разбирается в людях и кроме того, крайне к ним невнимательна. Но на этот раз я совершенно согласен с ее суждением.

С того дня, когда в газетах появилось сообщение о смерти сенатора Симона, прошел год. Давно были забыты его похороны и речь над его могилой, которую произнес по назначению один из его коллег, маленький старичок с розовой лысиной и блеклыми глазами на небольшом лице, постоянно сохранявшем

одно и то же выражение — встревоженности и незначительности. «Высокая мораль и честность по отношению к самому себе и по отношению к другим — читал он хриплым голосом — являлись главной особенностью покойного. Мы, те, кто имел счастье работать вместе с ним многие годы, мы все сумели оценить с самого начала его удивительную личную скромность, отсутствие какого бы то ни было честолюбия и его неизменную благожелательность ко всем. Если бы правящие круги государства насчитывали в своих рядах много людей, похожих на Пьера Симона, мы могли бы со спокойной гордостью сказать, что будущее нашей страны обеспечено. Но наш строй редеет. Не так давно умер ближайший друг покойного, сенатор Рибо, теперь настала очередь Пьера Симона. Мы знаем, что пути Господни неисповедимы. Но от этого горькое чувство непоправимой потери не становится менее тягостным. Мы можем только сказать, что Пьер Симон прожил жизнь, полную труда и умер с сознанием выполненного долга».

Могила Рибо действительно находилась недалеко от того места, где опустили в землю гроб, в который был положен худой и короткий труп Симона. На обеих могилах были приблизительно одинаковые мраморные плиты. На мраморных плитах были написаны приблизительно те же слова: «здесь покоится»... Но в течение долгих дней, недель и месяцев, которые проходили после смерти каждого из них, на могилу Рибо какие то пожилые дамы в черном, одни высокие, другие среднего роста, третьи маленькие, приносили разные цветы, которые медленно увядали рядом с золотыми буквами. На могиле Симона никогда не бывало цветов. Жизнь Рибо оставила после себя нечто похожее на фосфорную линию, пересекавшую существование нескольких женщин и в этом была своеобразная призрачная утешительность. О жизни Симона — и об его смерти — было некому вспоминать. И только приблизительно через год после его похорон его фамилия была вновь упомянута в газетах в связи с автомобильной катастрофой, единственным свидетелем которой, по странному стечению обстоятельств, оказался Жерар, бывший владелец дансинга «Золотая звезда».

Он жил уже некоторое время в небольшой вилле, недалеко от дороги, проходившей по берегу моря. Его давняя мечта исполнилась, хотя все произошло не совсем так, как он это себе представлял. Это началось с того, что несколько месяцев тому назад он сидел у себя в кабинете, отделенном от дансинга длинным коридором. Был зимний вечер, было около шести часов. Он просматривал счета, когда раздался телефонный звонок.

— Алло? — сказал он, сняв трубку.

— Алло, Жерар? — сказал знакомый голос. — Приезжайте ко мне сегодня вечером, мы вместе пообедаем. Вот адрес: 226, Rue Perronet, Neuilly. Буду ждать вас к восьми часам. Мне надо с вами поговорить.

Жерар не знал этого адреса. Он задумался на несколько секунд, потом пожал плечами. В половине восьмого он вышел на улицу. В свете фонарей косо падали частые капли ледяного зимнего дождя, желтыми, электрическими буквами горела надпись «Золотой звезды». Он дошел до угла, остановил такси и дал адрес, сообщенный ему по телефону. Через четверть часа автомобиль остановился перед железной решеткой, за которой был сад. Аллея, усыпанная гравием, вела к полутораэтажному особняку, над дверью которого горел фонарь. Расплатившись с шофером, он позвонил. Калитка распахнулась. Он шел по освещенной аллее; справа и слева темнели редкие деревья. Выпрямившись во весь свой гигантский рост, он шагал по середине дороги и ему казалось, что из за опущенных ставен на него смотрят чьи то глаза. Когда он позвонил, дверь тотчас же отворилась и его встретила горничная, которая сняла с него пальто, взяла его шляпу и перчатки и провела его в гостиную. Вдоль стен шел темный дубовый карниз, под потолком висела старинная люстра, на стенах были картины, которых он не рассмотрел. Он сел в кресло и закурил папиросу. Через минуту вошел Лазарис. Он был в синем костюме и крахмальной рубашке с темным галстуком. Жерар встал.

— Здравствуйте, Жерар — сказал он. — Обед нас ждет, идемте в столовую.

Жерар был удивлен и этой обстановкой и этим приемом. Он не мог понять, почему Лазарис заставил его придти именно сюда.

За обедом Лазарис говорил о незначительных вещах и ни словом не обмолвился ни о чем, что имело бы отношение к делам. После обеда они перешли в другую комнату, с глубокими креслами и тяжелыми этажерками.

— Мой дорогой Жерар — Жерару показалось, что в голосе Лазариса звучала какая то непривычная интонация, — я пригласил вас сюда, чтобы поставить вас в известность о некоторых решениях, которые я принял.

Он закурил папиросу. Жерар никогда до этой минуты не видел Лазариса курящим.

— Несколько дней тому назад, на той улице, где находится мой магазин, умер от чахотки один молодой человек, рабочий. Я знал его с детства. Их было двое на свете — он и его бабушка. Они были очень бедные. Пока он мог работать, он содержал ее. Теперь он умер и она осталась без всяких средств. Это очень печальная история, Жерар, вы не находите?

— Несомненно.

— Но вы еще не знаете самого печального. Бабушка пришла ко мне, в магазин, так, как она приходила ко всем на этой улице. Она пришла чтобы еще раз рассказать, как умирал ее маленький Пьеро и как он плакал перед смертью оттого, что ему было жаль оставлять бабушку одну. И вы знаете, что я сделал, Жерар?

— Нет.

Лазарис задумчиво смотрел перед собой.

— Я дал ей денег.

Жерар молчал, вопросительно глядя на Лазариса.

— Вы понимаете, Жерар? Я дал ей денег. Это очень плохо. Это значит, Жерар, что я начинаю сдавать. Вы понимаете, что я хочу сказать?

— Откровенно говоря, не совсем.

— Это верно, Жерар, вы никогда не были деловым человеком, вы были просто бандитом. Но если бы вы были ком-

мерсантом, вы бы знали, что всякое человеческое чувство, введенное в эту область, вносит туда эмоциональный элемент, которому там нет места и которой следует рассматривать, как самую гибельную и опасную вещь, какая только может существовать. Я знаю, что вы в вашей бурной жизни руководствовались другими соображениями и поэтому совершали поступки, которые не имели логического смысла. Вспомните, в частности тот факт, что вы могли заработать очень крупную сумму в Порт-Саиде. Но вы были вынуждены спешно покинуть этот город в результате некоторых поступков, которые шли вразрез с вашими коммерческими интересами.

Жерар заметил, что Лазарис ни разу не улыбнулся за весь вечер. Это было непохоже на него и было так же странно, как все остальное.

— Я знал, что это рано или поздно может случиться. И я давно дал себе слово, что в тот день, когда это произойдет, я ликвидирую свои дела и уйду на отдых. Этот день наступил. Надо уметь остановиться во время. Большинство людей, занимающихся не вполне легальными профессиями, кончают плохо именно потому, что не понимают этой истины. Сколько вы мне должны, Жерар?

— Я точно не помню. Если хотите, я завтра сообщу вам эту сумму.

— Не стоит — сказал Лазарис. — Я знаю ее. Вы были мне должны еще до вашего последнего отъезда из Франции. Когда вы вернулись, я дал вам денег на открытие вашего дансинга с тем, что помимо уплаты мне этих расходов целиком, я буду получать половину вашей выручки. Так?

— Совершенно точно.

— До сих пор вы вносили мне только проценты на ваш возрастающий долг. Я не требовал с вас остального, потому что я знал, что вы не можете от меня уйти.

Он еще глубже сел в кресло.

— В вашем распоряжении сейчас находятся крупные суммы. Если бы не долг мне, вы были бы богатым человеком и

могли бы поселиться на Ривьере, как вы об этом мечтали. Не так ли?

— Да.

— Я старею, Жерар — сказал Лазарис с интонацией искренного сожаления в голосе. — Я прожил долгую жизнь и всякий другой человек на моем месте был бы давно в могиле. И вот сейчас я выяснил, что только чудо спасло меня от преждевременной гибели. Я хочу этим сказать, что во мне всегда, оказывается, существовали человеческие чувства, те самые, о которых я вам уже говорил. Извините, что я так многословен: это дань моему юридическому образованию. Короче говоря, Жерар, я предлагаю вам считать, что все ваши долговые обязательства по отношению ко мне аннулированы.

Жерар не верил своим ушам.

— Вы говорите серьезно?

— Совершенно серьезно.

Жерар растерялся. Он видел много вещей за свою жизнь, но никогда даже не слышал ни о чем похожем на то, что происходило сейчас. До сих пор денежные деловые расчеты заключали в себе для него и для всех других только две возможности: платить — или стрелять. В данном случае эта альтернатива оказывалась беспредметной. Он сказал неуверенным голосом:

— Я не знаю, как вас благодарить...

Лазарис пожал плечами. Потом он взглянул на Жерара и в его глазах стояло очень странное, далекое выражение.

— Мне кажется Жерар, что мы все похожи на пилигримов, которые в пути забыли о цели их странствия. Но когда мы приближаемся к концу нашего путешествия, мы начинаем понимать, что другого пути для нас может быть не было и что во всяком случае он был не таким, каким мы себе его представляли. Я не знаю, поймете ли вы меня. Но это в конце концов неважно.

Он встал с кресла. Жерару казалось, что ему все это снится. Эта огромная комната с книгами, высокая фигура Лазариса в синем костюме, его желтая рука с длинными паль-

цами, держащими папиросу, темные картины на стенах и это невероятное аннулирование долга — все это было совершенно неправдоподобно.

— Мир существует помимо нас — и можем ли мы в нем что либо изменить, Жерар? Мне кажется, что наши возможности в этом смысле чрезвычайно ограничены. Вы могли в этом убедиться, вы, Жерар, двенадцать лет тому назад, в тот день, когда вы встретили Марго в Порт-Саиде. Я хорошо ее знал. Она была единственной женщиной, ради которой я был готов на убийство. В этом у меня никогда не возникало сомнений. То, что вы избавили меня от необходимости стать убийцей, объясняет мое сегодняшнее решение. Я говорю вам это потому, что мне не хотелось бы быть превратно понятым.

Он стоял прямо против Жерара и Жерар с удивлением заметил, что его пальцы, державшие папиросу, дрожали.

— Я знаю всю вашу жизнь, Жерар. В ней нет ничего, что заслуживало бы награды. Но вот случилось, что в этой жизни было несколько дней, когда вы действовали именно так, как было нужно. То, что вы рисковали в эти дни головой, не так важно, это был не первый и не последний раз за все время. Но вы поступили так, как хотел бы поступать я и как я поступил бы, если бы вы не сделали этого для меня. Может быть это было совпадение — или случайность. Но это предопределило мое отношение к вам и в частности наш сегодняшний разговор со всеми последствиями, которые из него вытекают. Это заключение того, что произошло двенадцать лет тому назад в Порт-Саиде.

— Monsieur Лазарис, — сказал Жерар, вставая, — я не умею говорить как вы и не нахожу слов. Но я благодарю вас со всей искренностью, на которую я способен.

Лазарис протянул ему руку и проводил его до передней. Жерар надел пальто, шляпу и перчатки и вышел из дому. Деревья были неподвижны, в саду стояла тишина, которую нарушал только треск гравия под его ногами. Когда он захлопнул за собой железную калитку и вышел на пустынную улицу, он вдруг ощутил непонятную усталость и подумал, что он

тоже стареет и что действительно пора переезжать на юг, подальше от «Золотой звезды» и ее клиентов, от Парижа, полицейских инспекторов, больших бульваров и Лазариса, — потому что Лазарис был единственным человеком, которого он боялся.

Он выждал две недели, в течение которых ничего не случилось. Тогда он занялся ликвидацией своих дел и продажей «Золотой звезды» и через месяц после того вечера, когда он обедал у Лазариса, он взял билет на поезд, идущий из Парижа в Ниццу. Еще через две недели он поселился окончательно в этой небольшой вилле, окруженной садом с пальмами и соснами; сад кончался невысоким обрывом, за которым было море.

Он долго не мог привыкнуть к тишине, которую нарушал только треск цикад в жаркие дни и легкий плеск волн. Но еще труднее было привыкнуть к ощущению безопасности.

Он выходил иногда поздно вечером один и бесцельно шел по дороге, не думая о направлении. Во время таких прогулок ему нередко вспоминались давно прошедшие времена и люди, с которыми он был связан. Большинства из них не было в живых и это в общем следовало считать положительным фактом, так как если бы они были живы, Жерар не испытывал бы чувства безопасности. Он шел в теплой темноте по дороге и время от времени перед его глазами вставали набережные Сан-Франциско, освещенные калифорнийским солнцем, улицы Шанхая, погруженные во влажный зной, от которого одежда прилипала к телу, зимние площади европейских городов. Все это было кончено, — благодаря непонятному великодушию Лазариса.

Он шел так однажды, поздним вечером июльского дня. Огромные звезды стояли в темном небе. Перед ним смутно чернела дорога; иногда, оглядываясь назад, он видел огни фонарей, освещавших ее небольшой отрезок и поворот, пропадавшие во тьме. Справа от дороги были холмы, заросшие густым, твердолиственным кустарником, слева обрывы и скалы над морем. Он шел и думал, что жизнь, в сущности, кончена,

не столько потому, что он больше ничего не делал и жил на покое, сколько оттого, что прекратилось длительное ожидание, которое он так хорошо знал всегда. Ему казалось, что вся его жизнь была наполнена этим ожиданием, которое принимало разные формы, но оставалось в конце концов тем же. Иногда он ждал свободы, иногда он ждал минуты, когда он начнет действовать, иногда он ждал результата того или иного его поступка, иногда он ждал — в парке, в кафе, в лесу или на углу улицы — появления знакомого силуэта, иногда он ждал расплаты. Но ждал он всегда. И вот теперь ждать было больше нечего и от этого в его жизни появилась неподвижность, о которой раньше он не имел представления. Она была полна еще воспоминаний и Жерар за эти короткие месяцы успел подумать о множестве вещей, для размышления о которых у него до сих пор не было времени. Но в этой неподвижности для него было что то обидное. И он думал, что если бы ему снова пришлось вернуться к своей прежней деятельности, у него не хватило бы на это сил. Он вспомнил, что «Золотая звезда» продолжает существовать без него — и перед его глазами появились далекие, желтые огни ее вывески.

Он вдруг остановился. Из далекой тьмы два желтых огня автомобиля шли стремительными зигзагами, приближаясь к тому месту, где он стоял. Он успел подумать, что сейчас произойдет катастрофа и быстро сошел с дороги в кустарник. Еще через несколько секунд фары вильнули влево, потом слепо и прямо понеслись вперед и наконец, в последнем движении, свернули вправо и исчезли. Тотчас же до него донесся звук глухого и страшного удара. Перебежав дорогу, он стал быстро спускаться по камням к морю, к тому месту, где повисла машина, остановленная в своем падении прибрежной скалой. Он зажег карманный фонарь. Колеса автомобиля были согнуты, стекла разбиты, правая сторона, на которой он лежал, была раздавлена. Сквозь стекла дверцы, треснувшие мелкими жилками, он увидел две головы, женскую и мужскую. Дверца заклинилась. Он уперся коленом в кузов машины и потянул

ее к себе. Мускулы его огромного торса напряглись до боли, лицо покрылось потом, но замок медленно начал сдавать. Потом раздался железный хруст и дверца распахнулась. Он направил свет фонаря внутрь и остался неподвижен.

В автомобиле были двое, — женщина и мужчина. Оба были повидимому мертвы. Но в этом было нечто кощунственное: и женщина и мужчина были голыми снизу до пояса и даже смерть не разделила их тел. Он смотрел на их трупы остановившимися глазами. Потом он снял с себя пиджак и набросил его на это сплетение еще теплых ног. Он случайно дотронулся до тела женщины, и когда он посмотрел потом на свою руку, он увидел, что она была в крови.

Он поднялся по скалам наверх и пошел в том направлении, откуда доходил далекий свет огней. Через некоторое время он услышал сзади себя шум. Тогда он стал посередине дороги и широко расставил руки. Огромный грузовик едва не наехал на него и остановился, захрипев тормозами.

— В чем дело? — закричал шоффер.

Жерар сел рядом с ним и сказал почти беззвучно:

— Второй поворот направо, полицейский комиссариат. Ты остановишься там. Только что здесь разбился автомобиль. Он лежит внизу, над морем. В нем двое убитых.

— Ай-ай-ай! — сказал шоффер. И грузовик рванулся вперед.

Жерар поехал потом с полицейскими, чтобы показать, где именно лежал упавший с дороги автомобиль. При свете сильного прожектора трупы были вынуты из машины в их уже закоченевшей наготе. Мертвое лицо женщины не было обезображено смертью. Жерар посмотрел внимательно и ему показалось, что он уже видел где то этот особенный, продолговатый разрез глаз, эти широкие губы и именно этот оттенок белокурых волос. Но он видел столько женщин в своей жизни, что его память отказывалась точно восстановить время, место и обстоятельства, при которых он заметил это лицо. На полу автомобиля лежали части женской и мужской одежды и дамская сумка. По найденным там бумагам выяснилось,

что мужчину звали Поль Лафит. Он был журналистом. Женщина была студенткой юридического факультета. Ее звали Валентина Симон.

Их трупы были перевезены в Париж и там похоронены. Во всех газетах были описаны обстоятельства катастрофы — в одних это было сказано почти прямо, другие ограничились намеками. Потом в одном из еженедельников появился некролог, посвященный памяти Поля Лафита и подписанный главным редактором, близко знавшим покойного. Полю Лафиту не было тридцати лет и по словам редактора ему предстояла блестящая карьера, — как это часто говорится в подобных случаях, независимо от того, в какой степени это утверждение соответствует действительности. Но вторая, не менее пространная, часть некролога была посвящена Валентине, которую редактор знал повидимому очень хорошо.

«Я всегда думал» писал он, «что нельзя себе представить ничего менее правдоподобного, чем мирная старость и спокойная смерть этой девушки и здесь оказывались несостоятельными любые усилия воображения. Мне всегда казалось, что она должна была погибнуть именно так. Неудержимая стремительность ее чувств, органическое непонимание того, что такое страх, и полное пренебрежение к материяльным препятствиям — что было для нее особенно характерно, — не могли логически привести ни к чему другому. Ее всегда мучила жажда чего то еще неосуществленного, чего то, что ей было еще неизвестно. Она никогда не задумывалась над вопросом о ценности человеческой жизни, даже своей собственной и ее блистательная молодость делала ее неуязвимой всякий раз, когда возникала проблема смерти в ее отвлеченном или непосредственном значении. А между тем, этой идеей смерти было пронизано все ее существование. Для нее была непостижима та спасительная иллюзия, которая позволяет нам полагать, что длительность человеческих чувств может в некоторых случаях равняться длительности нашей жизни. Ее воображение не шло дальше очень короткого периода, в течение которого полнота этих чувств раскрывалась

до конца. Но это было похоже на блистательный фейерверк. Ничто, выходящее за пределы ее теперешних возможностей, не интересовало ее. И те трагические обстоятельства, в которых она погибла, только оттеняют особенность ее облика, непохожего ни на чей другой.

Мы в частности склонны осуждать людей только, когда они испытывают то, что мы не способны испытывать, когда они идут туда, где их ждет опасность, и куда мы на их месте не шли бы, потому что нас удержал бы страх. Я не принадлежу к категории тех, кто готов осудить Валентину Симон. Я сохраню о ней благодарное воспоминание. С нерассуждающей смелостью она рисковала погибнуть за ту иллюзию, которой у нее не было, за то чувство, в которое она не верила. И этот риск оказался смертельным».

Жерар прочел эту статью случайно, потому что еженедельник, в котором она была напечатана, попался ему на глаза, когда он ждал своей очереди у парикмахера в Сан-Рафаеле, куда он приехал на несколько часов. Для него было непонятно, что, собственно, хотел сказать автор некролога, как в свое время осталось непонятным, почему Лазарис сравнивал себя и его с пилигримами, о которых Жерар имел самое смутное представление. Но он отчетливо вспомнил эту теплую ночь, дорогу, зигзаги приближавшихся огней, глухой удар автомобиля о скалу, то, что он увидел потом, при свете карманного фонаря и липкую кровь на своей руке. И когда парикмахер его стриг и над его ухом раздавалось равномерное металлическое щелканье ножниц, он думал о том, что количество трагических вещей в жизни значительно превосходит возможности его воображения и его огромный личный опыт.

Если бы Фреду когда нибудь сказали, что не только он, а вообще кто бы то ни было может жить так, как он жил теперь, ему это показалось бы диким. Прошло немногим меньше года с того дня, когда Рожэ привез его сюда на своем автомобильчике. В Париже за это время вероятно произошло много

событий; где то недалеко отсюда шла шумная и бурная жизнь, но здесь, в том, что его окружало, ничего не менялось. Он знал теперь чуть ли не каждое дерево в лесу, знал на какой высоте стучит дятел, откуда идет печальный крик кукушки, где лисья нора, куда тонкой и непрерывной линией идут крупные красные муравьи из муравейника. Летом, когда было тепло, он выходил в лес с книгой, ложился на мягкий слой прошлогодних листьев и читал, время от времени поднимая голову и прислушиваясь к одинокому птичьему крику или к легкому, воздушному шуршанью крыльев. Иногда он следил долгими минутами за мерными кругами ястреба, высоко в небе, иногда он закрывал глаза и слушал невнятный лепет листьев под летним ветром.

Каждые два дня он ездил на старом велосипеде в соседнюю деревню, где покупал себе провизию; и так как он не умел готовить и не придавал особенного значения тому, что и как он ел, то покупал обычно все одно и то же. Затем он спешил домой, где его ждала очередная книга. За это время он прочел очень много. Каждый раз, когда приезжал Рожэ, он спрашивал:

— А что мне теперь читать?

Рожэ вынимал несколько томов из плотных рядов этажерки и откладывал их в сторону. И неизменно, к его следующему приезду они были прочтены. Вначале Рожэ давал ему преимущественно беллетристику. Потом однажды он достал с полки четыре толстых книги и сказал:

— Вот, Франсис, это история культуры. Той самой, о которой говорили эти люди в кафе. Когда ты кончишь ее, ты поймешь, что они имели ввиду в тот день, когда их разговор так тебя поразил.

Фред всегда был молчалив. Но теперь, живя так долго в одиночестве он привык разговаривать сам с собой вслух, хотя всё-таки каждый раз неизменно понижал голос. Иногда он ловил себя на том, что произносит длинный монолог, ставя себя на место очередного героя. Тогда он спохватывался, точно кто нибудь мог его слышать, и умолкал. В один из при-

ездов Рожэ он рассказал ему об этом — и когда он кончил говорить, на сумрачном его лице появилась улыбка.

— А! — с радостным удивлением сказал Рожэ. — Я очень доволен.

— Чем именно?

Рожэ покачал головой.

— За все время, что я тебя знаю, я первый раз вижу что ты улыбаешься.

Потом он задумался на минуту и прибавил:

— Правда, до сих пор у тебя, собственно, не было причин улыбаться. Но это всё кончено, Франсис. Это кончено, ты понимаешь?

Еще через несколько недель он сказал Фреду:

— Я бы на твоем месте сделал перерыв в чтении дней на десять. Тебе надо отдохнуть, нельзя так себя переутомлять.

— Вы думаете?

— Уверен.

Но когда Фред остался без книг, это показалось ему жестоким наказанием. Он много раз подходил к полкам и машинальным движением протягивал к ним руку, но тотчас отдергивал ее. Когда Рожэ приехал через неделю, он его спросил:

Ты что нибудь читал за это время?

Нет. Вы сказали мне, что надо сделать перерыв.

И тебе не хотелось читать?

Очень хотелось — сказал Фред.

— Теперь ты понимаешь, что происходит? — спросил Рожэ. — Я тебе посоветовал не читать, ты со мной согласился, то есть, вернее не возражал. Я уехал с уверенностью, что ты последуешь моему совету. И ты действительно это сделал. Почему?

— Но как же я мог поступить иначе?

— Я знал, что ты поступишь именно так. Я от тебя этого не требовал и я тебя этому не учил. Но ты не сделал этого потому, что ты не хотел обмануть мое доверие. Ты понимаешь? Сейчас ты становишься таким, каким ты был бы всегда, если бы тебя не искалечили внешние обстоятельства. Те-

перь я мог бы послать тебя на Rue St Denis — я знаю, что с тобой ничего не случилось бы и ты бы там не остался.

— Этим я всецело обязан вам — сказал Фред.

— Это неверно — ответил Рожэ. — Переделать человека нельзя. Можно постараться избавить его от тех причин, которые ему мешают быть таким каким его создала природа Это то, что я хотел сделать по отношению к тебе. Но я — только стенка, о которую ты оперся, чтобы не упасть. Я только стенка. Je ne suis qu'un mur.

— Вы знаете, Mr Рожэ, — сказал Фред — я много думал все эти дни, когда у меня не было книг. И главное, что меня беспокоило, было следующее. Я подумал: что я собой представляю, если отбросить всё, в чем я вырос и как жил потом? То есть, мое далекое детство и то, что было недавно, вплоть до убийства Шарпантье и смерти Симона?

— Шарпантье не был убит, он умер в результате неловкого падения и невольным виновником этого был Дуду, который не хотел ему зла. Симон умер от разрыва сердца — быстро сказал Рожэ. — Но продолжай, я тебя слушаю.

— Я думал: если этого нет или если это надо отбросить, — что остается от меня? Я оказываюсь в пустоте. Вокруг меня пустота, Mr Рожэ, и я не знаю, кто я такой.

— Построение мира! — сказал Рожэ. — Ты должен построить целый мир, Франсис. Мы ощущаем наши очертания потому, что мы окружены внешним миром, — таким, каким мы его видим и каким мы его создали. Тот, в котором ты жил. изчез, его больше нет. Ты строишь другой. И это очень долгая работа. Когда он будет кончен, ответ на твой вопрос будет найден автоматически. А теперь, я думаю, ты можешь опять приняться за чтение.

Однажды осенью — был ясный, октябрьский день — Фред шел по лесу, краем глубокого оврага и вдруг увидел, что недалеко от его середины стоял маленький, старый человек в охотничьей куртке и коричневых штанах очень плотной материи. В руке он держал шляпу и легкий ветер поднимал его пушистые, седые волосы. На его левом боку висела ма-

терчатая сумка. Фред знал в лицо всех обитателей этого района. Но этого старичка он никогда не видал. Проходя мимо него, он поклонился и пошел дальше. Он сделал уже несколько шагов, когда услышал голос:

— Молодой человек!

Он обернулся и подошел к старичку. Тот посмотрел на него выцветшими глазами, улыбнулся и сказал:

— Простите меня пожалуйста, я хотел попросить вас об одном одолжении.

Фред заметил, что он говорил на совершенно правильном французском языке, но не с тем произношением, с каким говорили местные жители.

— Я старик, вы знаете, — сказал он извиняющимся тоном, — мне трудно делать некоторые вещи, которые для вас наверное пустяк. Я поэтому позволил себе вас побеспокоить.

— Я к вашим услугам — сказал Фред. — Что нужно сделать?

Старичок показал ему рукой на дно оврага.

— Видите там это растение с продолговатыми овальными листьями?

— Вижу.

— Вы не могли бы мне его достать?

— С удовольствием.

Он быстро спустился вниз, сорвал это растение — у него был особенный, горьковатый запах, — и поднявшись наверх, протянул его старику.

— Благодарю вас — сказал тот. — Вы не понимаете вашего счастья, молодой человек! Сколько бы я дал, чтобы иметь возможность так лазить по оврагам, как вы! Вы здесь постоянно живете?

— Да — ответил Фред. Он еще раз взглянул на него. В выражении его выцветших глаз была особенная мягкость, игрушечные седые волосы развевались на его голове и здесь, в осеннем лесу, на краю оврага, освещенного октябрьским солнцем, он был похож на маленького старичка из какой то забытой сказки.

— Очень вам благодарен — повторил он. — Я вас попросил достать мне это, потому что, вы знаете, я лечу людей травами, это моя специальность. Я живу в Швейцарии. Я приехал сюда чтобы помочь одной родственнице, которая заболела. Теперь ей значительно лучше и я уезжаю домой. И так как я всегда собираю травы, то я пошел в этот лес посмотреть нет ли тут чего нибудь для меня. И вот видите, нашел. Судьба мне послала вас, сам бы я не рискнул спуститься в овраг.

Но как же вы делаете в Швейцарии? — спросил Фред.

И он подумал, что за много месяцев он впервые с кем то разговаривает. За все это время он слышал только голос Рожэ или обменивался несколькими словами с местными крестьянами.

— Дело обстоит очень плохо — сказал старик. — У меня есть еще небольшой запас, которым я пользуюсь. Когда он придет к концу, ну что же, придется уходить на покой. Лазить по горам и доставать оттуда то, что мне нужно, я больше не могу. Я задыхаюсь, мне трудно одолеть самый незначительный подъем. И это очень обидно, потому что десятки, если не сотни людей будут лишены моей помощи. А я всегда полагал, что людям надо помогать.

Фред внимательно посмотрел на него — и вдруг спросил:

— И у вас нет помощника?

— Нет — ответил старик. — Это работа не очень выгодная для молодого человека и редко кого интересующая. Молодым хочется жить самим, а не заботиться о чужих жизнях, это понятно.

Потом он поднял глаза на Фреда и спросил:

А вас бы это могло интересовать?

— Очень — сказал Фред.

— Прекрасно — сказал старичок, — прекрасно. Поступайте ко мне, будем работать вместе. Только поспешите — прибавил он с улыбкой, — потому что мне самому не так уж много осталось жить. Я вас рад буду взять когда хотите.

— Вы говорите серьезно?

— Совершенно серьезно. Я уезжаю сегодня вечером из Франции, но я оставлю вам мой адрес и если вы примете решение приехать, дайте мне только знать, я буду ждать вас. Если вы готовы для этого бросить ваше ремесло...

Он вынул записную книжку, вырвал из нее листок и написал карандашом свою фамилию и адрес. Потом он пожал руку Фреду и сказал:

Ну вот, надеюсь, до скорого свиданья. Как вас зовут?

— Франсис — быстро ответил Фред.

— Очень хорошо. До свиданья, Франсис.

— До свиданья.

Фред не заметил, как дошел до дому. Был вторник, до субботы оставалось еще бесконечно много времени. Он с нетерпением ждал Рожэ и впервые за все свое пребывание здесь, он не мог как следует сосредоточиться на том, что читал. Когда наконец Рожэ должен был приехать, он вышел его встречать на большую дорогу. Едва успев с ним поздороваться, он сказал:

Мг Рожэ, на этот раз мне нужно с вами очень серьезно поговорить.

Что нибудь случилось?

— Да.

— Хорошо, рассказывай, я слушаю.

Фред подробно рассказал ему о встрече со старичком и о своем разговоре с ним. Он прибавил, что ему хотелось бы поехать в Швейцарию и стать помощником собирателя трав.

— Вы понимаете, Мг Рожэ, — говорил он с непривычной для него быстротой, — это настоящая работа. И как раз та, о которой вы мне говорили давно, я этого не забыл: именно такая, которая не требует ни оправдания, ни доказательства того, что она полезна.

— Да, да, конечно — сказал Рожэ. — Только подожди, надо выяснить, что это за человек, не шарлатан ли он.

— Нет, этого не может быть.

— Судя по твоему описанию, он не похож на шарлатана. Но на первое впечатление не всегда можно полагаться.

— А если бы выяснилось, что он порядочный человек, как бы вы отнеслись к тому, что я сказал?

— Очень положительно — ответил Рожэ. — Что может быть лучше?

У езжая в Париж, он обещал Фреду навести справки о собирателе трав. Вторая неделя прошла для Фреда в таком же нетерпеливом ожидании. Он все время думал о Швейца-рии и все время перед ним стоял его будущий учитель — маленькая фигура в охотничьей куртке, седые, развевающиеся волосы и эта мягкость выражения в его глазах, которая опре-деляла его такой особенный облик. Когда Рожэ наконец снова приехал, он сказал:

— Ну вот, Франсис, я узнал все, что мог. Этот старичок очень известен и он действительно совершенно порядочный человек. Многих он лечит бесплатно. Он, впрочем, кажется богат, хотя деньги, насколько я понимаю, его не очень инте-ресуют. Я думаю, ты можешь ему написать, что ты согласен поступить к нему на службу.

Он смотрел перед собой задумчивыми глазами.

— Я узнавал, как все это происходит — сказал он. — Работать тебе придется весной, летом и осенью. Зимой, как ты понимаешь, трав не собирают. Тебе надо будет научиться ходить на лыжах. Так как зимой ты будешь сравнительно сво-боден, ты можешь стать гидом, это очень соблазнительно. Но ты все это увидишь сам. Давай теперь составим ему письмо. Еще через неделю, получив от старичка ответ, Фред уезжал в Швейцарию с Лионского вокзала в Париже. Его про-вожал Рожэ. До отхода поезда оставалось несколько минут. Фред стоял рядом с Рожэ на перроне. Ему хотелось сказать очень многое, но он испытывал необыкновенное волнение и не находил слов.

— Мэтр Рожэ, — сказал он наконец сдавленным голосом, — вы все понимаете. Вы понимаете, что я хотел бы вам ска-

зать, если бы умел и мог. Я всем обязан вам. Я никогда этого не забуду. Помните, что вам достаточно будет написать мне одно слово и если я для чего нибудь могу вам быть полезен, нет вещей, которые помешали бы моему возвращению.

— Спасибо, Франсис, — ответил Рожэ, — я это знаю. Я тебя искренно люблю. Я приеду к тебе в Швейцарию, мы еще увидимся. Я отправляю тебя со спокойной душой: я знаю, что ты оправдаешь наше доверие — твоего старичка и мое.

Он пожал ему руку. Когда поезд отошел, он долго еще продолжал стоять на краю перрона и смотрел вверх, туда, где за электрическими проводами, столбами и водокачками открывалось высокое небо. Оно было таким же, как всегда. Он видел тот же его сверкающий, прозрачный свод в незабываемые дни Голгофы и в далекие времена крестовых походов. Он был убежден, что он существовал всегда и ему казалось, что он помнит тогдашнее небо, — совершенно такое же как теперь.

В жизни Роберта многое изменилось с того дня, когда он привез к себе Жанину, которая навсегда осталась с ним. Когда он подумал об этом почти через год, он вдруг понял, что нашел ту душевную свободу, которой у него раньше не было. Все его сомнения по поводу ценности тех или иных понятий, тех или иных отвлеченных систем и непосредственных проблем, возникавших перед ним, потускнели и отошли на второй план, оттесненные личными переживаниями, которые были важнее всего остального. Он знал самое главное — все другое было второстепенное. Жанина пополнела и изменилась; но прежнее выражение ее глаз всякий раз, когда она встречала взгляд Роберта, неизменно вызывало в нем тот же прилив чувства, что раньше и этого ничто, казалось, не могло изменить.

С недавнего времени у него появилось еще одно, чего тоже не было до сих пор, — сознание личной ответственности за себя и за Жанину. Он стал чуть ли не ежедневно бы-

вать на фабрике и проводить там несколько часов подряд, интересуясь всем, что там происходило. Через полгода он знал почти все, что нужно было знать об этом. Постепенно вышло так, что все окружающие стали смотреть на Роберта, как на лицо менее значительное, чем Андрэ Бертье, но более значительное, чем его директор. Вначале это стесняло его, но потом он к этому привык. Со временем он настолько втянулся в работу, что когда он почему либо не бывал на заводе несколько дней, ему хотелось туда вернуться, чтобы посмотреть — все ли идет так, как он привык это видеть.

Но больше всего времени он все-таки проводил с Жаниной. Ему казалось, что его собственная жизнь похожа на блистательный день, за которым, насколько хватало его воображения, не было видно ни сумерек, ни ночи. Он никогда не был способен испытывать бурные чувства и его чувство к Жанине было спокойным. Но то, что вне этого чувства его жизнь теперь была бы лишена смысла, — эта мысль была в нем так же сильна, как в первые дни и недели его близости с ней. Ему неизменно казалось, что до встречи с ней в его существовании вообще ничего не было, и в известной мере это было верно, — ничего, если не считать его длительных сомнений в достаточной или недостаточной обоснованности какого то отвлеченного морального принципа, в относительности или бесспорности очередного изменения в теории эволюции. Эти вопросы не потеряли для него своего интереса. Но это были отвлеченные сомнения по поводу далеких вещей.

В противоположность ему, Жанине было что вспоминать. Но так как все или почти все ее воспоминания были печальные, то она никогда не думала ни о своей работе, ни о своих родителях, и только время от времени она возвращалась к мысли о своем детстве, когда она жила в деревне. Но и это теперь настолько отдалилось от нее, что ей начинало казаться, будто эти ранние годы ее жизни прожила какая то другая девочка, а не она сама, девочка совершенно похожая на нее и все-таки чем то чужая.

Однажды, когда Роберт сидел в кресле и читал газету, она посмотрела через его плечо и вдруг сказала:

— Покажи-ка.

Он протянул ей газету и увидел, что она внимательно смотрит на фотографию молодой женщины, помещенную под заголовком: «Ренэ Фишэ, указательница адресов». В небольшой заметке было сказано, что завтра начинается процесс Ренэ и ее сообщника, Эдуарда Мартэна, которого называли Дуду. Ренэ поступала горничной в богатые дома, которые она потом обкрадывала с помощью Дуду. Жанина прочла статью и вздохнула.

— Почему ты вздыхаешь? — спросил Роберт.

— Потому что я знаю Ренэ — сказала она. — Ренэ раньше работала для Фреда.

— Для Фреда? Ах, да — сказал он. Он сразу вспомнил фигуру с покатыми плечами, шляпу набекрень и неподвижные глаза на худом лице. — Что с ним стало, интересно знать?

— Наверное продолжает жить так же, как раньше — ответила Жанина.

— Не знаю, не знаю, — сказал Роберт. — Я в этом не уверен.

— А почему бы это могло быть иначе?

Она сидела на ручке его кресла.

— Этого я не могу тебе сказать Жанина. Но все поиски его были безрезультатны: он исчез. Может быть он погиб в каком нибудь сведении счетов, может быть уехал из Парижа и живет в другом месте. Но он во всяком случае пропал.

— Он всё-таки страшный человек — сказала Жанина. — Даже теперь я не могу вспомнить о нем без ужаса.

— Что то в нем было странное — сказал Роберт. — Я не забуду выражения его глаз, когда он сидел на полу, рядом со своим револьвером и когда он мне сказал, что даже не мог его взять. Где он? Что с ним?

— Я надеюсь только на одно, — сказала Жанина — что я больше никогда его не увижу.

Но кроме Роберта и Жанины, внимание которой было привлечено фотографией Ренэ, вызвавшей по понятным причинам почти забытое представление о человеке, с которым было связано начало ее теперешней жизни, и кроме Рожэ, постоянно думавшего о нем, — никто не вспоминал Фреда. Люди, близко знавшие его, вообще не были расположены к воспоминаниям, кроме того у них была их собственная жизнь и собственные заботы, как у Ренэ или Дуду. Все было так, как если бы Фред умер, не оставив после себя следа. В том мире, где он жил, не было места для бесплодных чувств или бесплодных сожалений, и все, что там происходило, могло быть сведено к нескольким словам, последовательность которых никогда не менялась: жизнь, рана или болезнь, смерть, морг, забвение. После того, как Фред не вернулся на Rue St Denis, было ясно, что он умер или переменил образ жизни, — что было, в сущности, одним и тем же. И уже через несколько месяцев всё, что было связано с ним, было забыто. Даже его фотография, висевшая на стене в комнате Жинетты, была снята, разорвана и выброшена в мусорный ящик. Попрежнему горели желтым светом электрические буквы над «Золотой звездой» и пианист Жаклина, со своим узким, напудреным лицом и пиджаком в талию, играл на рояли и те же посетители или другие, чрезвычайно похожие на них, танцовали в облаках папиросного дыма, и полицейские со скучающими выражениями попрежнему стояли на ближайшем углу улицы. Но вместо огромного Жерара за стойкой суетился невысокий человек со смуглым лицом и черными, завитыми волосами, новый хозяин дансинга. Вместо Лазариса в его маленьком магазине был теперь польский еврей, который действительно торговал готовым платьем и не занимался ничем другим. Но это были чисто поверхностные изменения, в остальном все было попрежнему. И в этой жизни изчезновение Фреда не имело никакого значения. Пока он существовал и жил в комнате гостиницы на Rue St Denis, его знали и боялись. Теперь его не стало — больше ничего.

И это было тем более законно и естественно, что тот

Фред, который был известен на Rue St Denis, действительно перестал существовать, — как это ему уже давно сказал Рожэ, — и вместо него появился другой человек, которого звали Франсис, и который жил, окруженный тревожной пустотой, где медленно возникал новый мир, не имевший ничего общего с тем, откуда он пришел. Фред сам забыл о своем прошлом и ему не нужно было для этого никакого усилия. Но те слова, которые ему говорил Рожэ, с каждым днем приобретали для него все более углубленное значение. Он неоднократно повторял их себе и чувствовал при этом восторженное исступление. «Этим людям надо помочь. Для меня лично в этом смысл человеческой деятельности. Огромное большинство людей надо жалеть. На этом должен строиться мир». Фред был готов отдать все свои силы на это, чтобы оказаться достойным доверия Рожэ. В этом было определение всего и в этом он видел теперь смысл своего существования. Ему казалось, что каждый шаг приближает его к подлинному пониманию того, что является самым главным и по сравнению с чем любые испытания не имеют никакого значения.

Он думал об этом поздней осенью, в Швейцарии, возвращаясь к тому домику, который днем, при ясной погоде, был виден оттуда, где он находился, но который сейчас скрывало от него сумеречное неверное освещение. Он шел знакомой дорогой, уже почти в темноте, над глубокой, скалистой пропастью, в которую он столько раз пристально смотрел днем. Несколько минут тому назад огромный камень, который сместился по неизвестной причине, скатился в нее где то впереди и шум его падения отозвался в повторяющемся эхо. Стало совсем темно. Фред шел вперед своей легкой походкой и ему опять показалось с необыкновенной убедительностью, что каждый шаг действительно приближает его к тому, о чем говорил Рожэ и что теперь нет в мире силы, которая могла бы его остановить и заставить его отказаться от этого.

Но он не мог знать, что для этого понимания и выполнения того, что было теперь его главной целью, и для жизни в этом новом, блистательном мире, у него не оставалось вре-

мени, потому что кусок скалы, падение которого он слышал несколько минут тому назад, сорвал и увлек за собой часть узкой тропинки, огибавшей отвесный выступ горы, — тропинки, по которой проходил его путь. Стало очень холодно и темно, на облачном небе не было ни луны, ни звезд. Фред шел вперед, приближаясь к тому месту, где недавно, с грохотом цепляясь за скалу, пролетел оторвавшийся камень. Он не видел ничего перед собой — и вдруг земля ушла из под его ног.

Его труп подняли через несколько дней. Тело его было разбито, руки и ноги сломаны, но лицо не пострадало и мертвые его глаза прямо и слепо смотрели перед собой — в то небытие, из которого он появился и которое вновь сомкнулось над ним в холодной и безмолвной тьме.

Г. Газданов

**
*

М. А. Форштеттеру

Медлительны любовь и слава
Как в летний полдень облака.
О, пусть солгут, но их отрава
Так упоительно сладка.

О, пусть не сбудутся желанья,
Пусть жизнь пройдет как скучный день.
Благословенно ожиданье,
Небес весеннее сиянье
И счастья призрачного тень.

Владимир Злобин

ЧЕХОВ

ПЕРВЫЙ ГОД МЕЛИХОВА

Еще когда жил дачником у Линтваревых, собирался Чехов купить имение. Чрез приятеля своего Смагина пробовал даже — тогда ему хотелось на Украине. Но не удалось. Всё-таки мысль и желание сидели прочно, и под всеми его душевными колебаниями, поисками пути и сомнениями это оставалось неизменным. Вероятно, с годами даже росло. Хотелось оседлости, устойчивости — чтобы вокруг было «свое». Может быть, говорил тут и голос крестьянских предков: в Чехове сидел хозяин и устроитель. Доселе проявляться этому было негде.

Весной 1892 года он купил, наконец, у художника Сорохтина небольшое имение Мелихово, в нескольких верстах от станции Лопасня Московско-Курской жел. дороги — сама же Лопасня в семидесяти верстах от Москвы. Так что всё это подмосковный мир, и само Мелихово можно бы назвать, по старинному, подмосковной Чехова. Но подмосковные барских времен совсем иные. Ни дворцов с двусветными залами, ни оранжерей, ни парков в Мелихове не было. Тут скорей воскресил Чехов пионерство предков своих из Воронежской губернии, осевших на первобытной земле.

В Мелихове жили и до Чехова. Был там дом, что-то вроде парка (очень «вроде»). Собственно, пришлось всё переделывать заново. Думаю, Чехову это как раз и нравилось.

Переехали всей семьей — Павел Егорыч, Евгения Яковлевна, сестра Маша и сам Антон Павлович (братья Александр, Иван и Михаил жили уже самостоятельно). По чеховской хозяйственности все занялись кто чем мог. Дом начали перестраивать, чистить, оклеивать заново, кухню поставили отдельно, сад привели в порядок — всё было заброшено. Теперь попало в домовитые руки.

Мы печатаем отрывок из готовящейся к печати книги Б. К. Зайцева «Чехов». — *Ред.*

Работали все: Мария Павловна, двадцативосьмилетняя девушка, занимавшаяся живописью и зимой преподававшая в гимназии Ржевской, теперь с утра надевала сапоги, целый день пропадала то в поле, то на гумне, то на огороде — чтобы не слишком утомлялся брат. Она его обожала. Некогда он на своих плечах выносил ее обучение, теперь она отдавала ему свои силы и жизнь (да так и отдала: замуж не вышла, чтобы за ним ходить. Считала, что навсегда останется он холостым). Павел Егорыч трудился в саду, Антон Павлович там же, Евгения Яковлевна по кухонной части и на огороде. Были, конечно, и кухарка, и два работника.

Дом одноэтажный, но поместительный. Впечатление у гостей, довольно скоро появившихся тут, получалось такое, будто Чеховы спокон века и жили здесь: настолько быстро освоили дом, внесли свое.

Лучшая комната, большая, с венецианскими окнами, камином и большим турецким диваном — кабинет Антона Павловича. У Марии Павловны девическая белая. Цветы, узенькая безупречная кровать, на стене большой портрет брата. У Евгении Яковлевны огромный шкаф и сундук со всяким добром, швейная машина. А у Павла Егорыча скорее келья или моленная. Образа, божественные книги, лампадки. Днем работал он в саду, вечером вычитывал вечерни, всенощную, напевал псалмы.

В усадьбе Мелихова ничего ни замечательного, ни просто располагающего не было. В той местности, и в недалеком Каширском уезде (уже Тульской губернии), мог Антон Павлович найти гораздо более привлекательное, особенно по Оке. Но он купил сразу, вовсе и не выбирая. Однако, ему в деревне понравилось, с той весны 92 года, когда он туда переехал. Изменилось даже душевное настроение. Он лучше себя здесь чувствовал. Да и сама русская весна... «В природе происходит нечто изумительное, трогательное». «Настроение покойное созерцательное». «Глядя на весну, мне ужасно хочется, чтобы на том свете был рай. Одним словом, минутами мне бывает так

хорошо, что я суеверно осаживаю себя» — такие строки очень редки в письмах Чехова, а вот весна в неказистом Мелихове отозвалось в нём так. Это правильно. Он свою родину и природу ее верно чувствовал.

Но представить себе его бездеятельным, просто вздыхающим в весенней благодати барином нельзя никак. Весна весной, хозяйство хозяйством, всё-таки он прежде всего писатель. Среди всех этих скворцов и весенних зорь, и первых подснежников, и зеленей, и ощущений рая, он написал один из самых страшных своих рассказов «Палата № 6» — вот это уж противоположность богимовской «Дуэли»! Но Чехов вообще разнообразен и сложен. Почему в тишине мелиховской весны потянуло его написать повесть о сумасшедших, засасывающих в свой мир здорового, их же лечившего доктора — неведомо. Что-то пронзало его. Неизжитый след «Скучной истории». Здоровые, больные — всё призрак, всё иллюзия. Цена как будто бы одна.

Если б спросить его самого, он ответил бы, вероятно: «написал и написал. Деньги были нужны». Он терпеть не мог поэтических поз, «служения музам», «святому искусству» и тут даже перебарщивал. Прочесть его письма, можно подумать, что говорится о газетном сотруднике средней руки Краснухине, который «насобачился». Но Чехов во всём особенный человек, и на других писателей не весьма похож. (Кто, кроме него, например, мог написать строгое письмо редактору журнала за то, что тот в извещении об участии Чехова объявил его «высокоталантливым», а название рассказа напечатал «буквами вывесочного размера» — это произвело на автора «самое неприятное впечатление». Он не против рекламы, но считает, что «для литератора скромность и литературные приемы в отношениях к читателю и товарищам составляют самую верную рекламу»).

Пасху встречали уже у себя, в устроенном доме. В селе Мелихове, совсем рядом с усадьбой, церковь была, но без причта. Для пасхальной заутрени сложились — вся деревня,

Чеховы тоже, конечно. Пригласили из соседней Давыдовой пу́стыни служить иеромонаха. Пела вся семья Чеховых, Антон Павлович тоже. Детское свое певчество как раз вспоминал он в Мелихове — и не по хорошему — но от красоты и поэзии самого богослужения всё-таки не мог отказаться. «Пасхальную утреню пели мы, т. е. моя фамилия и мои гости, молодые люди. Вышло очень хорошо и стройно, особенно обедня. Мужики остались предовольны и говорят, что никогда служба у них не проходила так торжественно».

В том же письме пишет он о скворцах. Их там много. «А скворец может с полным правом сказать про себя: пою Богу моему, дондеже есмь. Он поет целый день, не переставая».

***

У человека моего поколения — если детство его проходило в деревне — остались в памяти разговоры взрослых о голоде (начало 90-х гг.). Знакомые барышни, студенты собирались куда-то «на голод». Доктора рассуждали с родителями о каких-то «земствах», имя Толстого произносилось с великим почтением, он тоже куда-то призывал, к кому-то взывал. Голод, голод! Это казалось жутким.

Чехов, после спокойного лета в Богимове, осенью 1891 г. в дела голода вошел основательно.

Вместо с давним своим приятелем Егоровым — тот служил теперь земским начальником в Нижегородской губернии — придумал он особую форму помощи. Мысль такая: осенью крестьяне из-за нужды и неурожая продают лошадей за бесценок. Настанет весна, пахать под яровое будет не на чем, значит и не посеют. Если же осенью заняться покупкой лошадей, то весной можно будет раздавать их безлошадным.

Кроме литературы (он написал тогда «Попрыгунью», рассказ, доставивший ему большие неприятности), осень 1891 г. идет у Чехова под знаком сбора средств на этих лошадей.

Вместе с Сувориным и «Русскими Ведомостями» он устроил сборник в пользу голодающих, собирал деньги и сам

писал о голоде — всё им лично собранное посылалось Егорову. Тот и покупал лошадей, а Чехов так всем этим увлекся, что в январе 92 года съездил даже к нему в Нижегородскую губернию — в лютые морозы, едва не погиб вечером в метели. Конечно, опять подпортил здоровье, как и на Сахалине, но видимо, удержать его и теперь было нельзя, как и тогда. Сахалин сидел в нем и подгонял. Он и не думал ни о чем. Его вели. Это была его судьба.

В декабрьских и январьских письмах просто, скромно говорится «посылаю Вам 116 руб.», или «17 руб.», а потом досылает еще какие-то рубли. Будто и немного, но со всем этим надо возиться, обо всём заботиться. Какие-то там нижегородские безлошадные. Ужасно интересно по морозу ехать Бог знает куда, проверять на месте, как идут дела с лошадьми, везти Егорову еще несколько сот рублей, собранных по грошам. Потом махнуть в Воронеж. Там тоже знакомые и тоже закупка лошадей, но по другому устроено — занимается этим губернатор Куровский («интеллигентный и искренний человек», «работает много»).

Кажется, в Нижегородской губернии дело с лошадьми не весьма преуспело — цены на них сразу поднялись из-за усиленных закупок. Но не это важно. Много ли или немного сделал Чехов с Егоровым, во всяком случае для пути Чехова голод 91-92 гг. оказался важен, усилил в нём линию Сахалина. Тревога вечных вопросов — зачем я живу? Для чего пишу? Каков взгляд мой на мир? — это осталось, и двойственность прежняя. Но тут-то вот, рядом, есть несомненное — как говорит Западное христианство: «Dieu dans ses pauvres». «Les pauvres» вокруг, от них не уйдешь, они прочно пристроились.

И когда Чехов отдает себя и силы свои Богу «в Его бедных», как на Сахалине отдавал Ему же «в Его погибших», это удается ему! Это выходит хорошо.

Вот он теперь, весной 92-го года купил Мелихово и поселился там. Это оказалось не случайно. Чудесная весна, чувствует он себя, наконец, оседло, сам себе хозяин, будто даже

помещик, но именно тут он и водружен со всею своей «фамилией», в самую глубину народа. В трехстах шагах от мелиховского балкона начиналась уже деревня.

Чехов будто бы возвращался к предкам, ко всем этим Евстратиям и Михаилам, и Егорам... — Ждал он в Мелихове жизни старосветских помещиков? Желаний не перелетающих за частокол? Благодушия, рыжиков, пирогов, уток, гусей? На него не похоже. Да и времена не те.

Тишины, спокойствия ему, конечно, хотелось, и в своём гнезде оказаться тоже хотелось. Ни о каких «служениях народу», ни о чём торжественном он не помышлял, перебираясь сюда. Но... — «зажегши свечу не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме».

Получилось не совсем так, как предполагал он, но в своём роде замечательно.

Отдыхать, наслаждаясь весной, спокойствием, оседлостью и простором, пришлось недолго. Летом 92 года вместе с голодом явилась холера — бок о бок они и шли, как полагается в дьявольских выступлениях.

На этот раз дело для Чехова касалось не лошадей. «По случаю холеры, которая еще не дошла до нас, я приглашен в санитарные врачи от земства, дан мне участок и я теперь разъезжаю по деревням и фабрикам и собираю материал для санитарного съезда. О литературной работе и подумать некогда» (13 июля). Дальше всё в том же роде. Ему дали для надзора 23 деревни, а позже, повидимому, 25. Нет у него ни одной копейки, ни одного фельдшера — это волнует и раздражает, но и страшно возбуждает. Всё лето и осень огромная работа, непрерывные разъезды. Холеры в участке еще нет, но она надвигается отовсюду, идет и с севера, и с Оки, и вот она уже в Москве.

Он живет как бы в осажденной крепости, укрепляет ее не покладая рук. «У меня на 25 деревень одна кружка, ни одного термометра и только полфунта карболовой кислоты».

Опять, если его послушать, неизвестно зачем он всё это

делает. «Скучно». «Думать только о поносах, вздрагивать по ночам от собачьего лая и стука в ворота (не за мной ли приехали?), ездить на отвратительных лошадях по неведомым дорогам и читать только про холеру и ждать только холеры и в то же время быть совершенно равнодушным к сей болезни и к тем людям, которым служишь...»

Но зачем же тогда служить? От вознаграждения он отказался, между тем сам в долгах по имению и из гонораров ему вычитывают в погашение долга... а вот не может успокоиться, благодушествовать в удобном доме, всё куда-то едет, учит мужиков гигиене, объезжает помещиков и фабрикантов, собирая на борьбу с холерой. «Оказался я превосходным нищим» — набирал очень удачно и теперь у него «два превосходных барака со всей обстановкой и бараков пять не превосходных, а прескверных». И тут же рядом: «пребываю без гроша».

Превосходному нищему приходилось иногда и туго. Кого-кого не перевидал он за эти свои странствия! Был, например, у соседки графини Орловой-Давыдовой, хотел устроить барак для ее рабочих. Она «держала себя со мной так, как будто я пришел к ней наниматься». Или архимандрит, отказавшийся дать помещение для будущих больных. Этот дал повод Чехову прибавить в конце письма, после барынь в бриллиантах и благолепно-равнодушного архимандрита, две строчки:

«У меня часто бывает и подолгу сидит поп, прекрасный парень, вдовец, имеющий незаконных детей».

В такие и подобные им странствия уходят корни рассказа «Жена», где как раз в лихорадку борьбы с голодом вовлекают холодного, богатого инженера, пишущего у себя в имении ученое сочинение о железных дорогах. Все эти врачи, дамы, действующие там — это тоже окружение Антона Павловича Чехова. «Интеллигенция работает шибко, не щадя ни живота, ни денег; я вижу ее каждый день и умиляюсь...»

Может быть, из-за принятых мер холера до его участка и не дошла. Была в тридцати верстах, но встретиться с ней не довелось. С эпидемиями же тифа, дифтерита, скарлатины при

ходилось много бороться. С августа по 15 октября он записал 500 больных, а в действительности принял не меньше тысячи. В октябре Серпуховское земство постановило благодарить его — чеховский участок оказался особенно удачным и почти ничего не стоил земству — Чехов обирал соседей фабрикантов, «которые и отдувались за земство».

В начале октября холера уже удалялась, но он не мог еще бросить своего участка, на день-два съездить в Москву. И только со второй половины месяца жизнь его налаживается. Иной оттенок появляется и в письмах — больше направлено на себя и на семью. Сестра Мария Павловна отказала жениху. «Ничего не понимаю». Со слов близких к семье Чеховых известно теперь, что она именно из-за брата и не хотела выходить замуж.

А о себе, всё тому же Суворину, Антон Павлович пишет: «Жениться я не хочу, да и не на ком. Да и шут с ним. Мне было бы скучно возиться с женой. А влюбиться весьма не мешало бы. Скучно без сильной любви».

После летнего подъема как будто вообще усталость. Но появляются литературные интересы — прелестно отвечает он брату на сообщение о Дании: «Весьма утешительно, что меня перевели на датский язык. Теперь я спокоен за Данию».

А за себя как писателя не так уж спокоен. В невеселой русской осени, в деревне, много размышляет о писании своем — вновь всё-таки возвращается к настроениям «Скучной истории». Нет «общих идей». Писатели вечные или просто хорошие всегда «куда-то идут и вас зовут туда же и вы чувствуете не умом, а всем своим существом, что у них есть какая-то цель»... «У одних... цели ближайшие — крепостное право, освобождение родины, политика, красота, или просто водка, как у Дениса Давыдова, у других цели отдаленные — Бог, загробная жизнь, счастье человечества». «Вы, кроме жизни, какая она есть, чувствуете еще ту жизнь, какая должна быть, и это пленяет». А вот «у нас», современных писателей, ничего этого нет. «Кто

ничего не хочет, ни на что не надеется и ничего не боится, тот не может быть художником».

Давняя тоска Чехова по Божеству. О. Христофор *знал* нечто *всем существом,* чего нехватало Чехову. Оттого и был всегда ясен, светел. Богу «в Его отверженных» Чехов служил усердно, не хуже о. Христофора, а может быть, лучше. Но внутренней цельности в нём не было. Не цельность, а именно раздвоение, отсюда непрочность и тоска — продолжается это до конца дней, какими бы мечтаниями о том, что будет «через двести, триста лет» ни опьяняли себя герои более поздней полосы его писания.

**
*

Год в Мелихове кончался. Для деревенской жизни в Чехове было нечто подходящее. Нельзя сказать, чтобы на новом месте он скучал, даже когда медицинская страда отошла. «Я посадил 60 вишен и 80 яблонь. Выкопали новый пруд, который к весне наполнится водой на целую сажень» — всё это очень занимает. Но другой, всегдашний, меланхолический Чехов тут же рядом. «Жить не особенно хочется. Умирать не хочется, но и жить как будто-бы надоело». (Ему тридцать два года!).

Очень видишь Чехова, вот он сидит за воротами на лавочке и глядит в бурое поле, раздумывает «о том, о сём» — таким помнится он позже в Ялте, тоже на скамеечке и тоже в одиночестве, только не перед бурым полем, а перед ночным морем.

Зима довольно рано началась в 1892 г. — во второй половине октября. «Сегодня я гулял в поле по снегу, кругом не было ни души, и мне казалось, что я гуляю по луне». И хотя сажал вишни и яблони, и чувствовал себя собственником и с корнями, а всё же — и как подходит это для русского человека в деревне! — захотелось ему и вдаль. «Будь время и деньги, поехал бы опять в Италию и Париж». В бурых полях или полях снежных, где чувствуешь себя, как на луне, многие мечтали об Италии.

ЛИКА, «ЧАЙКА»

Лидия Стахиевна Мизинова, подруга Марии Павловны, появляется в доме Чеховых в начале девяностых годов. Очень красивая, полная девушка с пепельными, вьющимися волосами, прекрасными серыми глазами. Видимо, живого и веселого нрава, но с перебоями, с большой нервностью, большим требованием к жизни.

В дружеском кругу ее звали Ликой. Она служила в Москве в Городской Думе, училась драматическому искусству, одно время была младшей преподавательницей в гимназии Ржевской — оттуда и знакомство ее с Марией Павловной. Пела, вообще обладала артистической жилкой. В Москве у нее было много знакомых в кругу литературно-художническом, среди них Чехов и Левитан. Обоим им она нравилась, да и у других имела успех.

Нет сомнения: в ней было много привлекательного. И в красоте ее, и в своеобразии, порывистости, даровитости. В семье Чеховых ее любили. Можно думать, что положение ее было вроде родственного. Перемены в жизни семьи отражались и на ней. Снимали дачу в Богимове, она туда приезжает. Явилось Мелихово, она и с ним оказалась связана довольно прочно.

Дружески-сочувственные ее отношения с Чеховым начались еще с Богимова. Он, конечно, ее отметил. Но письма его к ней 91 года незначительны, полны острот, поддразниваний, нельзя сказать, чтобы всегда удачных. В Мелихове впервые она появилась весной 92-го года, а затем в июне. Началось более серьезное с Чеховым, хотя тоже среди балагурства.

Сохранилась фотография: Лика и Чехов на скамейке — не то в парке, не то в запущенном саду с высокой травой и цветами, огромными деревьями в глубине. Холера еще далеко, Чехов свободен, очевидно, много они были вместе, («Помните как мы рано утром гуляли по полю?»), бродили по скромным окрестностям Мелихова, конечно, Чехов острил, дразнил ее, всё-таки взаимное тяготение росло, это бесспорно. Что именно

и как — неведомо, но вот они собрались даже ехать вместе на Кавказ: шаг довольно смелый, Лике было всего двадцать два года. Уезжая в Москву, она должна была там заказать билеты для обоих.

Как именно они прощались, неизвестно. Вскоре по ее отъезде Чехов получил от нее письмо — несколько строк его говорят о давних, таких человеческих чувствах тех, кого уже нет, как нет в живых никого из бывших тогда в Мелихове — да и самого Мелихова нет.

Вот что писала Лика: «Отбрасывая всякое ложное самолюбие в сторону, скажу, что мне очень грустно и очень хочется видеть вас. Грустно мне еще потому, Антон Павлович, что вас, должно быть удивило и не понравилось мое поведение вечером накануне моего отъезда. Сознаюсь, что вела себя чересчур уж девченкой. В самом деле смешно — забыться настолько, что не понять шутки и принять ее всерьез. Ну, да вы, верно, не будете очень обвинять меня в этом, потому что верю, давно были уверены, что всё так и есть».

Похоже на то, что расставаясь она сгоряча слишком много сказала о себе, своем чувстве, под впечатлением его слов, в которых не сразу уловила шутливость. Но Чехов всегда почти говорил так: вот и теперь установить в его письмах долю правды и маски не весьма легко. Видимо, вернувшись домой, Лика впала в некоторое уныние.

Чехов начал свое ответное письмо так: «Милая канталупочка, напишите, чтобы впредь до прекращения холеры на Кавказе не хлопотали насчет билетов. Не хочется сидеть в карантинах». Предлог, вероятно, выдуманный: о карантинах и о холере он знал, разумеется, когда собирался с ней ехать. Наверно, просто раздумал («здравый смысл» — нельзя заходить слишком далеко). «Ликуся, вместо того, чтобы ныть и тоном гувернантки отчитывать меня и себя за дурное (?) поведение, вы бы лучше написали мне, как вы живете, что делаете, и вообще как ваши дела. Ухаживают ли за вами ржевские драгуны? Я разрешаю вам эти ухаживания, но с условием, что вы,

дуся, приедете не позже конца июля. Слышите ли? Не позже конца июля, иначе будете биты палкой».

Следующее его письмо помечено концом июня и несколько иного тона, говорит и о его неустойчивом равновесии: ... «и в сущности, я хорошо делаю, что слушаюсь здравого смысла, а не сердца, которое вы укусили. Дальше, дальше от меня! Или нет, Лика, куда ни шло: позвольте моей голове закружить-ся от ваших духов и помогите мне крепче затянуть аркан, ко- торый вы уже забросили мне на шею». «Не забывайте побежденного вами

Царя Мидийского».

У Лики оказалось гораздо больше проницательности и знания жизни, чем можно было бы ожидать от девушки ее возраста. Она правильно оценила положение и не поддалась двум-трем ласковым фразам. Вот ее ответ: «А как бы я хотела (если б могла) затянуть аркан покрепче! Да не по Сеньке шапка! В первый раз в жизни мне так не везет!».

Лика хорошо Чехова поняла. Она ему очень нравилась, но не достаточно для решительного шага. Да и не был еще он готов, чтобы отдаваться целиком во власть женщины. Слишком был художник, живший писанием своим, слишком дорожил свободой и слишком был подвержен рассеянному эросу, легко, но неглубоко отзываясь на женственное.

И вышло так, как надо было в судьбах их: всё это не вело к перелому, но для него стало прологом, еще отдаленным по времени, к дальнейшему, к важнейшему его писанию. А для нее прологом к настоящему действию.

Проходит лето, занятое для Чехова холерой. Они обмениваются по временам письмами. Нельзя сказать, чтобы оба были довольны. Как будто осталась и у него и у ней некоторая заноза. Она его слегка язвит, он отстреливается, опять шуточки, опять тон, который мог ее и раздражать, хотя чувствовалась за ним и некая его уязвленность: в конце концов, у него тоже, ведь, ничего не вышло. Вот он пишет ей из Петербурга в декабре 92 года: «Ликуся, если вы в самом деле приедете в Пе-

тербург, то непременно дайте мне знать. Дела службы, которые вы ехидно подчеркиваете, не помешают мне провести с вами несколько мгновений, если вы, конечно, подарите мне их. Я уж не смею рассчитывать на час, на два, на целый вечер. У вас завелась новая компания, новые симпатии, и если вы уделите старому, надоевшему вздыхателю два-три мгновения, то и за то спасибо». Но в конце письма опять задирает — вырезка из газеты о желании вступить в брак, с блондинкой живой, веселой и т. п. «Вы вполне подходите под условия».

В том же духе продолжается и в 93-м году — они встречаются в Москве, когда он там бывает, приезжает и Лика в Мелихово, вновь письма и нередко она корит его — с прямотою и смелостью, не совсем обычными для молодой девушки по отношению к известному писателю (его именем назван даже пароход на Волге — «Антон Чехов»). Да он и много старше ее. Но ее это не останавливает. «Милая Лика, вы выудили из словаря иностранных слов слово эгоизм и угощаете меня им в каждом письме. Назовите этим словом вашу собачку». Задевает она даже его писание («писанье в свое удовольствие» — почти дерзко).

Но вот в одном месте он проговаривается. Что-то весьма «чеховское», чем наделяет он обитателей своих книг, вдруг применено к нему самому — и так мало похоже это на Чехова времен Бабкина, даже Линтваревых. От прежнего жизнелюбия мало что и осталось, действительно «Сахалин» — некий порог. «Я тоже старик». «Когда я, прозевавши свою молодость, захочу жить по человечески и когда мне не удастся это, то у меня будет оправдание: я старик». И дальше: «Лика, если вы влюбились в кого-нибудь, а меня уже забыли, то по крайней мере не смейтесь надо мной».

***

Игнатий Николаевич Потапенко, беллетрист малороссийского происхождения, живой и расторопный, даровитый, весьма удачливый, хорошо зарабатывал, много писал. Одно время

имя его, совсем незаконно, ставилось рядом с Чеховым. Люди моего поколения помнят, сквозь туман юности, повесть его «Шестеро» — из жизни сельского духовенства (Потапенко был сын священника). «На действительной службе», «идейная» вещь, принесла ему почти славу.

Он довольно приятно пел, был общителен, обладал привлекательностью. Мог писать в день по печатному листу «без помарки», чем вызывал удивление Чехова (Чехов зрелой полосы писал трудно и тщательно, иногда сжимал полстраницы в одну фразу).

К Чехову Потапенко хорошо относился. Написал о нём воспоминания очень сочувственные и правдивые. Судьбы же писаний их оказались совсем различны — иначе и не могло быть. Слишком разные данные и слишком разное отношение к своему дару.

Познакомился Потапенко с Чеховым в Одессе, в конце 80-х гг. Встреча была беглая. Чехову он показался очень скучным — неизвестно почему. Этим и объясняется, что в письме к Лике (июль 93 г.) Чехов говорит: «Ко мне приедет Потапенко. Сама скука».

Он и приехал. И оказалось, что вовсе не скучен, совсем нет. «Потапенко произвел хорошее впечатление. Очень мило поет».

В декабре того же года он снова в Мелихове. «Сейчас приехали Потапенко и Лика. Потапенко уже поет».

На этот раз он оказался даже весьма весел и певуч. Лика аккомпанировала, а он под аккомпанимент этот запевал девичье сердце. Заговаривал, конечно, и «жалкими словами», действовала и горячая кровь хохлацкая, темперамент, прямолинейность. Те святки в Мелихове оказались для Лики роковыми. Потапенко ясно знал, чего хотел. Не дразнил, не острил и на месте не топтался. Да весьма возможно, что и сам влюбился: он был влюбчив, а Лика привлекательна.

В начале 94-го года он уехал в Париж. Лика и подруга ее Варя Эберле тою же весной тоже решили ехать в Париж «учиться пению».

Чехов в январе чувствовал себя в Мелихове неважно: кашель его усилился. Вероятно, из-за нездоровья и чтобы перебить настроение уехал в начале марта в Ялту.

Там поселился в гостинице «Россия», вел жизнь тихую и довольно скучную, хотя ялтинский март оказался совсем теплым, светлым, всё в зелени. Белые корридоры «России», мягкие красные ковры, по которым бесшумно проходят — то официант, несущий на серебряном подносе кофе Антону Чехову, то дама с собачкой, то болезненного вида господин, приехавший лечиться. Из окна, в сиреневом тумане, видна гора, к ней подъем в беленьких дачках и домиках.

В этой тишине в номере гостиницы «Россия» с бархатной зеленой мебелью, написал он прелестный рассказик «Студент» (в пятницу на Страстной студент Духовной Академии рассказывает бабам, у костра, что происходило две тысячи лет тому назад в этот вечер в Иерусалиме, во дворе Первосвященника — отречение Петра, петух «трищи» возглашающий, слезы Апостола...).

Позже сам говорил, что это любимая его вещь — в ней сказано и нечто самое его затаенное, драгоценное, чего не найдешь в письмах (в них иной раз противоположное, но это на словах, для «разума»). Когда простые бабы, слушая рассказ о Спасителе и апостоле Петре, заплакали, то с ними плакало и сердце самого Чехова — этой весной 94 года ему открылось (явно), что «правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, повидимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле» Христова правда составляла главное! — это мало подходило к духу времени. «Студент» был напечатан 16-го апреля 1894 года в «Русских Ведомостях», либеральной газете нашего детства — по ней мы учились читать. Вероятно, с недоумением читали этот рассказ интеллигенты с бородками клинушком, честные курсистки и благородные статистики в земствах матушки России.

А сам автор не совсем покойно себя чувствовал. Отъезд Лики вряд-ли ему нравился. Может быть, еще меньше нравилось, что совпадал он с отъездом Потапенки. Правда, Потапенко уехал будто бы «в Италию», но Чехов знал его уже достаточно — с этой именно стороны.

В конце марта, на Страстной, пишет он из Ялты Суворину: «Будь у меня тысяча или полторы, я бы в Париж поехал, и это было бы хорошо по многим причинам».

Суворин не знал, по каким именно. Мы знаем несколько больше и можем догадываться.

Лика была в это время еще в Берлине — остановилась там по дороге в Париж. 15-м марта помечено ее письмо Чехову в Ялту. Оно отражает нервность ее и жажду жизни. «Хочется поскорей добраться до места и хочется также и Берлин посмотреть, ведь я скоро умру и ничего не увижу».

Он так ответил: «Милая Лика, спасибо Вам за письмо. Хотя Вы и пугаете в письме, что скоро умрете, хотя и дразните, что отвергнуты мной, но всё-таки спасибо. Я отлично знаю, что Вы не умрете и что никто Вас не отвергал». Дальше идут, разумеется, шуточки («Мой идеал: быть праздным и любить полную девушку»). Но общий тон ласковый (хотя и сдержанно), может быть и с оттенком грусти. Как и веселиться, при этом, когда мучают перебои сердца и надо писать, писать... Он устал. «Милая Лика, когда из Вас выйдет большая певица...» — начало фразы будто Треплев обращается к «Чайке» — а дальше во всегдашнем роде: «... и Вам дадут хорошее жалованье, то подайте мне милостыню: жените меня на себе и кормите меня на свой счет, чтобы я мог ничего не делать».

В апреле он возвратился в Мелихово и просидел там лето. Только в августе отправился в путешествие по Волге, вместе с Потапенкой, возвратившимся из Парижа. Путешествие вышло странное: до Царицына, как думали, не доехали. В Нижнем на Чехова напала тоска. Было жарко, сухой ветер, ярмарка гремела, появился Сергеенко («друг Толстого»),

нагонявший на Чехова всегда уныние — ...«я взял свой чемодан и позорно бежал... на вокзал. За мной Потапенко». Решили отправиться к Линтваревым, на Псел, на Луку. Там гостили некоторое время.

Вообще же Чехов всю эту осень как-то метался. О Лике не знал ничего. А повидимому Потапенко, разъезжавший теперь с ним, именно перед отъездом из Парижа Лику и бросил, после краткой с ней связи. Этого Чехову, конечно, не рассказал.

От Линтваревых Чехов вернулся опять в Мелихово, но не надолго. В Таганроге тяжко болел дядя его, тот заросший бородой, простодушный Митрофан Егорыч, который на семейной группе изображен во всем своем таганрогском великолепии, с торжественной манишкой, выпирающей на груди колесом, во всем благодушии старой России. Антон Павлович с ранних лет любил его, письма к нему полны почтительности, в них есть трогательный оттенок — тут он даже шутить не позволяет себе. Любил и сына его, своего двоюродного брата Георгия (странным образом письма к Георгию даже ласковей и во всяком случае интересней писем к сестре Марии Павловне, поражающих сухостью).

Когда Митрофан Егорыч в Таганроге заболел, Антон Павлович не мог уж усидеть дома, отправился лечить его: вернее, проститься с тем, кто в его детстве, рядом с суровостью Павла Егорыча, являл облик доброты и утешения. В живых его застал (но не надолго).

Из Таганрога поехал в Феодосию к всегдашнему своему Суворину. Там выяснилось, что денежные его дела гораздо лучше, чем он думал — книги продавались хорошо. Это давало бóльшую свободу. Он съездил на Новый Афон, потом морем отправился в Ялту. В это время скончался Митрофан Егорыч. С парохода пишет Антон Павлович Георгию: «Милый Жорж... не стану утешать тебя, потому что мне самому тяжело. Я любил покойного дядю всей душой и уважал его».

Сам он находится в некотором смятении и не знает, что

с собой делать. Плывет в Ялту, а может быть окажется заграницей. Так и вышло, а пока что попал в Одессу. Но заграницу, вероятно, влекло и нечто другое.

Здоровье его неважно. Однако, если лечиться и укрепляться надо подолгу жить в одном месте, на спокойном курорте. А у него здесь сплошное бродяжничество. 18 сентября он уже в Вене, собирается в Аббацию. «Вы упорно не отвечаете мне на письма, милая Лика, но я всё-таки надоедаю Вам и навязываюсь со своими письмами». «Потапенко говорил мне как-то, что Вы и Варя Эберле будете в Швейцарии». Если это верно, то пусть напишет, он повидался бы с ней «разумеется с восторгом». «Умоляю Вас, не пишите никому в Россию, что я заграницей. Я уехал тайно, как вор, и Маша думает, что я в Феодосии».

Очень странное письмо, в нем есть нечто нервно-горестное. Его последние строки: «Я не совсем здоров. У меня почти непрерывный кашель. Очевидно, я и здоровье прозевал так же, как Вас».

В Аббации он пробыл недолго, попал вновь в Италию, побывал в Венеции, Милане и проехал на французскую Ривьеру, в Ниццу.

Недоразумение с письмами Лики разрешилось в Ницце: она письма писала, но они путешествовали за ним следом и нагнали только здесь. Тон их печальный и подавленный — она одинока и ей тяжко. Сообщает швейцарский свой адрес. Если бы он приехал, была бы счастлива, «но предупреждаю, ничему не удивляться». Была ли уже заметна ее беременность, или она говорила «вообще»?

«Ваша карточка из Таганрога повеяла на меня холодом». (Чехов мог иногда писать очень сухо именно тем, кого любил). «Видно, уж мне суждено так, что все люди, которых я люблю, в конце концов мною пренебрегают. Почему-то всё-таки мне хочется сегодня поговорить с Вами. Я очень, очень несчастна. Не смейтесь. От прежней Лики не осталось

и следа и, как я думаю, всё-таки не могу не сказать, что виной всему Вы».

В переводе на русский язык выходит: если бы Вы были решительней, если б уехали мы тогда вместе на Кавказ и соединили наши жизни, то не было бы этого случайного Потапенки, короткой, тяжкой истории наполовину назло Вам... и т. д.

В письме от 3-го октября повторяет — пусть ничему не удивляется. «Если не боитесь разочароваться в прежней Лике, то приезжайте. От нее не осталось и помину. Да, какие-нибудь шесть месяцев перевернули всю жизнь. Впрочем, я не думаю, чтобы Вы бросили в меня камень. Мне кажется, что Вы всегда были равнодушны к людям и их недостаткам и слабостям».

Это задело Чехова. («О моем равнодушии к людям Вы могли бы не писать»). Очень молодая и уже много пережившая Лика в чем-то, однако, была права, только не так выразилась. Вернее бы сказать о снисходительности. Чехов никак не становился в позу праведника. Фарисейское ему глубоко чуждо. Сам он был человек грешный, как и все, и сознавал это, и это давало тон его отношению к другим. У него (в письмах) есть замечательная строчка о страдании от греха — ее мог написать только тот, кто на себе испытал, что такое грех (и как слаб пред ним человек). Но никогда грешника он не карал: это Лика тоже чувствовала.

«Равнодушие» к людям... — странно говорить так о человеке, ездившем на Сахалин, губившем там здоровье, губившем его и в борьбе с голодом, холерой у себя же в Мелихове. Но в следующем письме Лика возвращается к этому, в несколько ином повороте. «Я хочу видеть только Вас — потому что Вы снисходительны и равнодушны к людям, а потому не осудите, как другие».

Они всё-таки не встретились. Он мог бы из Австрии приехать в Ниццу через Швейцарию, но теперь его связывал Суворин, «тащить» его в Швейцарию было неудобно.

Родным он в конце концов сознался, что находится заграницей. Пишет Маше из Ниццы, 2 октября: «Рассчитывал повидаться в Париже с Ликой, но оказывается, что она в Швейцарии, туда же мне не рука. Да и надоело уже ездить».

Если бы Лика видела эту строчку, опять сказала бы о равнодушии. Конечно, кому очень хочется видеть, тот поедет. Но возможно, что ему даже тяжело было теперь встретить ее. Он уже всё знал. Всё было и кончено. О Потапенке сказано в том же письме Маше кратко, но довольно ясно: «свинья».

***

В декабре 94 года Лика была уже в Париже, снова. Чехов — в своем Мелихове.

Писателем он никогда не переставал быть, это всегда на первом месте. Несмотря на все бродяжничества этой осени на некоторую и смятенность, он успел написать «Три года», большую повесть. В ее ровном спокойном течении как бы отражена некая «река времен» — люди, их чувства, судьбы сплетаются и проходят по неведомым, но печальным законам. Вот любил Лаптев, сын богатого московского купца, барышню Юлию Сергеевну, добивался ее, женился наконец. Она к нему равнодушна. Его мучит, что быть может она вышла за него из-за денег. Но идет время, и как облака принимают то те, то другие формы, переходят одни в другие, расплываются, новые возникают неизвестно зачем, так в жизненном движении неплохих и неярких людей всё понемногу меняется. Проходит три года. Лаптев остывает к Юлии, она привязывается к нему — да просто она теперь его любит. А ему казалось, что он «женат на ней уже лет десять».

— «Поживем — увидим».

Был ли в повести этой (написанной в форме хроники, внешне недраматичной) — отголосок тогдашних его чувств? Если да, то весьма отдаленный. Всё же возможно, что переливы чувств и его, и Лики, перемена всего положения, как в

калейдоскопе игра фантастически-разноцветных кусочков, отразилась в «Трех годах», произведении будто и не-выигрышном, но написанном с той простотой, уверенностью зрелого художника, что и ставит эту вещь в первый ряд Чеховских писаний.

В декабре 94 года, как раз когда читал в Мелихове корректуру этой повести, получил от Лики из Парижа очень грустное письмо. Маше в Москву он сообщает о нем холодновато. («Пишет, что учится петь, учится массажу и английскому языку. Пишет, что ей хотелось бы посидеть на моем диване хоть несколько минут»).

Всё это у Лики сказано иначе: «Вот уже скоро два месяца, как я в Париже, а от Вас ни слуху. Неужели и вы тоже отвернулись от меня? Скучно, грустно, скверно. Париж еще больше располагает ко всему этому! Сыро, холодно, чуждо! Без вас я совсем чувствую себя забытой и отвергнутой! Кажется отдала бы полжизни за то, чтобы очутиться в Мелихове, посидеть на вашем диване, поговорить с вами десять минут, поужинать...»

Хочется, чтобы и года этого не было, чтобы «всё осталось по старому». Перемены, конечно, огромные. «Свинья» Потапенко бросил ее в ожидании младенца. Где и когда появился младенец? Нет известий. Во всяком случае, скоро умер. В Россию Лика вернулась одна.

Собственно здесь и кончается всё. Знакомство с Чеховым и его семьей не прервалось, шутливые записочки сохранились, но это лишь внешность. И если бы не литература, то в жизни Чехова место Лики оказалось бы скромным. Однако вся эта история в душе и художестве Чехова как бы продолжалась — родила «Чайку» и весь чеховский театр: событие и для самого Чехова и для российской литературы немалое.

«Чайка» есть миф, корни которого в Лике, Чехове, Мелихове. Всё не то и всё выросло отсюда, кровно связано.

**
*

95-год проходил для Чехова тихо. Много он сидел в Мелихове, много писал, летом пришлось, однако, странно съездить в имение Турчаниновой, где-то в районе Бологого (Рыбинско-Бологовская ж. д.). Причины — Левитан, давний приятель времен Бабкина, с которым чуть было он не разошелся одно время, но всё-таки не разошелся. А в июле неожиданно пришла телеграмма со станции Тройца: Левитан, еще в Бабкине тосковавший иногда смертельно, таким же остался и теперь. В имении Турчаниновой покушался на самоубийство, ранил себя. Чехов, «равнодушный» по мнению Лики, полетел за ним ухаживать. В этом имении, на берегу озера, прожил в сырой и болотистой местности несколько дней, как и в юности своей выхаживая Левитана. Левитан оправился. Чехов уехал. В письмах об этом говорится глухо — не очень-то хотел распространяться о деле слишком для Левитана интимном.

В общем же 95-й год оказался для Чехова годом литературы, и плодородным. Он написал замечательное «Убийство», среднюю, но весьма живую и остроумную «Ариадну», «Дом с мезанином» — отзвук давней его собственной истории («У меня когда-то была невеста... Мою невесту звали так: «Мисюсь». Я ее очень любил. Об этом я пишу»). «Дом с мезанином» трогателен, поэтичен, но конечно всё писание Чехова в этом году заслонено «Чайкой».

«Убийство» вполне совершенная вещь. И не о любви. Три остальных движутся любовью.

«Чайка» менее совершенна, чем «Убийство», но более важна. Она роковая. Она еще более часть души Чехова, да и грань его художнического развития. В «Чайке» есть и поэзия, и судьба.

Он писал ее осенью в Мелихове. «Пишу... не без удовольствия»: надо понимать, зная Чехова — просто с увлечением (но прямо этого никогда он не скажет). «Мало действия и пять пудов любви».

L'amor che muove l'sol e l'altre stelle — это в мировом, космическом плане. Но вот и микрокосм, скромное творение Антона Чехова, явившееся осенью 1895 года — оно тоже всё движется любовью. Во всех сплетениях его, жизненных положениях главное — любовь. Даже и место действия: у «колдовского» озера, где вокруг в усадьбах всегда любили, все были влюблены. (Летом, ухаживая за Левитаном, как раз сам он провел неделю на озере, надышался воздухом озерным, насмотрелся достаточно чаек).

Любовь и в этом просторном доме Сорина (а в письме из имения Турчаниновой: ...«располагаюсь в двухэтажном доме, вновь срубленном из старого леса, на берегу озера»): дела, слова, восторги и тоска любви.

Чтобы так напитать всё эросом, надо сильно быть им уязвленным. Как всегда мы и здесь слишком мало знаем о сердце Чехова — так он всё прятал — но благодаря «Чайке» можно думать, что внутреннее давление было гораздо больше, чем чувствуется это в письмах к Лике. Потому и надо считать «Чайку» роковой. Это не просто пьеса для театра, и не только часть сердечной судьбы, но и новый поворот судьбы литературной, театральной.

«Чайку» перечитываешь с волнением. Кто Чехова любит, того втягивает этот круговорот влюбленных, восторженных, страждущих и погибающих. Всё вертится вокруг только что происшедшей и пережитой истории Лики, вознесенной и как бы преображенной.

Как переживала пьесу сама Лика? Может быть, ей было нерадостно вновь видеть всё, хоть и в измененном облике. Но высокий тон изображения она должна была чувствовать.

Нина Заречная не похожа на нее по характеру. Рождена она всё-таки Ликой. Эту Лику, «думского писца» в жизни, вывела она за руку в русскую литературу. Брошенная Тригориным, потеряв ребенка, странствующей актрисой является Нина к своей ранней любви, незадачливому писателю Треплеву. Чехов дает ей такую фразу (обращено к Треплеву):

«Умей нести свой крест и веруй. Я верую и мне не так больно, и когда я думаю о своем призвании, то не боюсь жизни». Лика должна была гордиться этими словами.

Неудачники и погибающие изображены в «Чайке» с сочувствием — это вполне Чехов. Превосходно вышла актриса Аркадина, превосходны писатели: кажется единственный случай в литературе нашей. И утомленный, рыхлый профессионал, хорошо зарабатывающий, удящий рыбу, и непризнанный молодой, замученный жизнью, отвергнутый, написаны так по новому и своеобразно, что просто удивительно.

Есть и еще особенность «Чайки» — связано это с эпохой.

Девяностые годы в России не то, что восмидесятые. Не такая уже провинция. Занавес, отделявший от Европы, кое-где прорван, в самой же Европе как раз появилось в литературе течение более духовного свойства. Ибсен, Метерлинк, французские символисты. Просочилось это и к нам. Не как простое заимствование, а как некая новая полоса духовной культуры. Ничего зря не делается. Должны были появиться и появились и у нас писатели особого склада: Мережковский и Гиппиус, Бальмонт, Брюсов, «заря русского символизма».

Чехову Ибсен наверно не был близок. Одну из лучших пьес его, «Маленького Эйольфа», он называл «Иоиль младший». Читал ли даже как следует Ибсена? Сомневаюсь. (На сцене в театре Суворина мог видеть). Но Метерлинк чем-то ему понравился. Суворину он даже советывал ставить его произведения.

В «Чайке» в первом же действии, перед озером, при луне, Нина так начинает пьесу Треплева: «Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, утки, пауки...» — (всё вымерло, одна луна печально светит, Мировая душа декламирует и Дьявол должен явиться).

Сразу чувствуешь некий оттенок особенный. В прежних писаниях Чехова его не было. И Треплев новый человек в литературе. Реализм, бытописание ему неинтересны. Не туда клонится душа. Это Тригорин записывает каждую удачную

фразу, образ. Треплеву ближе Ибсен, Метерлинк, чем Тригорин со своей записной книжкой («плыло облако, похожее на рояль»). Чехов же между ними посредник.

Но самое сердце пьесы, чайка, убитая от нечего делать досужим охотником, это уже не Треплев, а Чехов. И не Чехов «Иванова». Пусть будет «Иоиль младший», всё-таки «Дикую утку» написал Ибсен. На Чехова повеяло Скандинавией, что-то он взял оттуда. Можно считать, что именно эта подстреленная символическая чайка наиболее уязвима сейчас в пьесе (наиболее устарела, как и сам символизм), всё же в ней есть и прелесть, на всю «комедию» бросает она особый, незабываемый отсвет, как и удавшийся неудачник Треплев. С «Иванова» ничего не начинается. С «Чайки» начинается театр Чехова. Его можно любить или не любить, но он просто в литературе русской *есть*.

Всё складывалось, конечно, не напрасно вокруг этой пьесы. Не зря была история с Ликой, не зря все три действующие лица что-то пережили. Из этого родилась «Чайка», открывшая в России эпоху, и сама она, пьеса, как живое существо, тоже должна была перенести драму, прежде чем воскреснуть.

Весь почти 96-й год шли с ней предварительные маневры. Ее «переписывали на ремингтоне» (по тем временам целое предприятие), посылалась она на суд Суворину, был момент когда Чехов заколебался. «Пьеса моя провалилась без представления. Если в самом деле похоже, что в ней изображен Потапенко, то, конечно, ставить и печатать нельзя».

Но это только минутное. Пьеса пошла по мытарствам. Первое — драматическая цензура. Цензору Кондратьеву не понравилась, «что брат и сын равнодушно относятся к любовной связи актрисы с беллетристом». И Чехов выбросил фразу: «открыто живет с этим беллетристом», а на 5-й странице: «может любить только молодых».

В конце концов цензор не противоборствовал. Пьесу взяли в Александринский театр в Петербурге. Сохранилась

повестка для актеров на генеральную репетицию — 16-го октября 1896 г. Премьера 17-го.

Репетиции шли плохо. Чехов не советовал Марии Павловне приезжать на спектакль, но она не вытерпела и приехала, вместе с Ликой. Вместе с ней и остановилась в гостинице «Англетер». С Ликой вместе отправилась и в театр.

Надо же было придумать — ставить «Чайку» в бенефис комической старухи Левкеевой (с гостиннодворскою публикой), режиссер Евтихий Карпов, Треплева играет гладкий и вылощенный Аполлонский!

Ничего и не вышло, да и не могло выйти. С самого же начала, с пьесы Треплева перед озером, несмотря на Комиссаржевскую (Нина), начался разгром. Страшная вещь, когда в серьезных местах публика начинает смеяться. Тут она сразу рассердилась. После первого акта свист, шум, жиденькие аплодисменты. Далее шло не лучше. Мария Павловна всё же досидела до конца, и уехала к себе с Ликой в «Англетер». Было условлено, что Антон Павлович приедет к ним туда, но он не приехал. В два часа ночи Мария Павловна бросилась к Суворину, где он остановился. Оказалось, он долго бродил по Петербургу, потом вернулся, лег, и никого не пожелал видеть, даже сестру. На другой день уехал товаро-пассажирским поездом в Мелихово. Суворину написал записку: «Вчерашнего вечера я никогда не забуду, но всё же спал я хорошо и уезжаю в весьма сносном настроении». Марии Павловне так: «Вчерашнее происшествие не поразило и не очень огорчило меня».

Этому верить, конечно, нельзя. Театральные поражения вообще слишком горьки. Здесь толпа была слишком груба, Чехов, как истинный писатель, слишком кровно был связан со своим детищем, чтобы оставаться равнодушным. Мария Павловна, так брата знавшая и любившая, полагает, что удар был жестокий. Отозвался и на здоровьи. Через три месяца у него открылось легочное кровотечение.

«Антон Павлович попал в клинику Остроумова, где и

был впервые поставлен диагноз, изменивший всю нашу жизнь».

***

Лика довольно долго еще стремилась к сцене. В конце 90-х гг. вновь была заграницей — частная опера Мамонтова направила ее туда вновь учиться, готовиться к сцене. Из этого ничего не вышло. Не удалась и драма — Лика одно время входила в труппу художественного театра. В 1902 году театр она бросила, вышла замуж за Санина, тогда режиссера Художественного театра. Но и он разошелся с театром. Санины уехали заграницу — он приобрел там европейское имя постановкой опер у Дягилева.

Теперь жизнь Лики не имела уже к Чехову никакого отношения. Прошла главным образом заграницей.

В 1937 году мне пришлось однажды навестить знакомую в больнице на rue Didot. Она лежала в маленькой застекленной комнатке, отделенная от общей палаты. На другой стороне палаты, недалеко от нас, была другая такая же отдельная комнатка и тоже стеклянная. Там лежала на постели какая-то женщина.

— Знаете, кто это? — спросила моя знакомая.

— Нет.

— Это чеховская Чайка, теперешняя жена режиссера Санина. Я с ней познакомилась тут. Она серьезно больна.

В том же 1937 году Лидия Стахиевна и скончалась.

Борис Зайцев

ПОЦЕЛУЙ СВИДАНЬЯ

...Был там где-то подле сквера у вокзала коленопреклоненный зеленый ангел — ничего особенного в смысле искусства, просто наивный немецкий ангел с кружкой, на которой была надпись: «Для бедных». Мимо этого ангела я часто ходил потом, так же как и по зеленым аллеям, окружавшим город — был там какой-то вал, а по верху вала аллея... Какие там были старые деревья, какие старые скамейки! Был и круглый каменный стол, за ним полукруглая скамья — на сером камне этой скамьи лежал однажды букет фиалок и стопка книг, а на скамье сидели студент и студентка, занятые только друг другом... Этот город был вообще городом студентов, городом молодости, — сколько поколений вышло из его университета! Сами профессора в нём, казалось, только еще больше подчеркивали молодость молодых и усиливали это чувство деятельного роенья. Я особенно чувствовал тогда эту серьезную и вместе с тем такую веселую занятость, эту кипучую молодую толкотню на улицах, в кафэ, в фойэ театра. Я был из другой страны, я был болен, — болен мечтой, неверием в себя, тоской — и среди этой полной надежд и сил молодежи казался себе особенно ненужным и странным.

Да, так вот этот ангел... Мимо него я в первый раз ехал к ней. Я ее совсем не знал тогда, как я это сейчас понимаю, но тогда мне казалось, что всё в ней таинственно родственно мне, всё создано для того, чтобы показать, что существует совсем иной мир, чем тот, в котором я обычно жил до того, и за призраком этого мира я готов был кинуться хоть на Южный полюс. В погоне за призраком этого мира я и раскидал всё вокруг, я точно оглох и ослеп, и страданье, которое я причинял своим еле обоснованным отъездом жене (я наспех выдумал

что-то о необходимости моего присутствия в Берлине, по делу издания моих книг) казалось мне только досадной помехой. Помню, как она недоумевала, почему я должен ехать один, на такой долгий срок — как я ей сказал — чуть не на три месяца, до сих пор мы не расставались никогда. Но мне было всё равно, мне точно не хватало воздуху, и когда она в день моего отъезда не сдержалась и, закрыв лицо руками, вдруг заплакала, умоляюще, страдальчески что-то говоря, сердце мое облилось горячей жалостью, но кто-то другой за меня нетерпеливо крикнул ужаснувшим самого меня голосом: «Пожалуйста, только не это! В кои-то веки куда-то собрался и даже этого мне не дают!» Она скрепилась и вышла. Каких мук стоило мне воспоминанье об этой сцене!

Потом была ночь в вагоне, в купэ второго класса, в окне которого грозно клубилось сине-фиолетовое небо и становилось всё темнее и темнее. Никогда, кажется, не был так пуст поезд, летевший к границе, никогда я не переживал такой сильной грозы в пути — окна обливало хлещущим сбоку ливнем, и они то вспыхивали огнем — грома за ходом поезда не было слышно — то гасли, а поезд всё летел и летел, сквозь эту тьму, ливень, поля, через всю Францию к германской границе... Не помню чтобы я хоть немного спал. Всё представлялось мне каким то чудом, вся моя жизнь стремительно летела куда-то под откос — и не было времени остановиться, перевести дух, понять, что я делаю...

На станции меня никто не встретил. Никто и не мог встретить — ведь она не знала, что я еду к ней. И вот я перед вокзалом совсем один — и передо мной точно порог этого совсем нового для меня мира; широко расстилаются осенние, красно-желтые цветники и там дальше, уже перемешанная с ржавчиной и желтизной, зелень чудесных старых деревьев, за которыми прячется город... Какой провинциальной тишиной, каким безлюдьем и покоем осени веяло на меня от его улиц! Здесь был совсем особый воздух — прохладный, крепкий, как бы с предчувствием тумана за темными космами елей. Почти перед каж-

дым домом был палисадник и всюду темнели высокие ели, и как непривычно для моего глаза, как чудесно белели своим белым шелком в черных отметинах необыкновенно стройные стволы берез. Как давно я не видел этого — я долгие годы перед тем жил на юге — и этот воздух, этот северный холодок, эта темная бахрома хвои и белые шелковые стволы казались мне чем-то волшебным. Так это навсегда и слилось для меня с этими неделями жизни подле нее.

Подле нее... Да, я тогда жил подле нее. Она была певицей оперного театра в этом городе. А я... я никогда в жизни не бывал в певческом мире и понятия не имел, что это такое в действительности.

Шоффер, везший меня с вокзала к ней, остановился перед ее домом так неожиданно, что я вздрогнул. Я не ожидал, что это так близко. И этот дом был двухэтажным особняком, как почти все дома здесь, и так же стоял в глубине палисадника, осененного тоненькими веточками высокой, сильной березы. Я поднялся на первый этаж, позвонил у двери... Никогда не забуду этого испуганного лица, этих глаз, в которых, сквозь испуг, мгновенно хлынула радость...

Мы чинно сидели друг против друга за кофейным столом и разговаривали. Нельзя было и представить себе, что еще недавно были в нашей жизни часы полной отрешенности от мира, в затененной прикрытыми жалюзи комнате, с перистыми тенями бамбуковых веточек на стене, с знойным молчанием южного, пахнущего морем полдня... Здесь ветер отдувал кисейную занавеску на окне, в комнату входил этот, новый для меня, чуть смолистый холодноватый воздух; на рояли, в глиняной обливной вазе, стояли бархатисто-желтые, коричнево-красные далии. В просторе двух больших комнат, в рамах картин — снимков с Дюрера и Гранаха, в спокойном уюте тяжелого кожаного кресла в углу было что-то, напоминавшее прежние русские комнаты, что-то давно забытое и оттого особенно чудесное для меня. Подымая глаза, я видел перед собой это свежее, еще почти девическое лицо, нежный овал щеки, кремовый

воротничек шелковой блузы, заколотый у горла тонкой золотой булавкой с аметистом. Глядя на нее через стол, отвечая на ее несколько неловкие вопросы, я всеми силами старался говорить как можно естественнее, дивясь тому, что между нами может быть это спокойствие после этих чуть не ежедневных писем, доведших нас до той точки напряжения, когда остается только одно: сесть в поезд и ехать... И всё это вдруг разом сорвалось, потонуло от одной какой-то нотки в ее голосе, от одного движения бровей, вдруг воскресивших во мне всё это горячее прошлое... Помню еще только мгновенный холодок ее полураскрытых, как бы удивленных губ, почти тотчас же превратившийся в жар...

Первое время я жил в гостинице против ратуши. Идя утром на репетиции, она часто будила меня, заходя чтобы условиться, где я буду ждать ее сегодня. Потом наступали долгие часы одиночества и скитания по городу — репетиции затягивались иногда до половины третьего.

Город сначала представлялся мне чем-то вроде картинки из детской книжки сказок Гримм. В нем были и узкие улицы, и старинные дома с высокими, углом, крышами, перекрещенные по фасаду темно-шоколадными полосами или расписанные красными, зелеными и золотыми рисунками, и статуя девочки с гусями в высокой решетке, выкованной из узорного чугуна — чудо средневекового искусства. Под ратушей был погреб с тяжелыми сводами над подземными залами, где под праздник пили пиво и вино студенты-корпоранты в цветных шапочках. У нас там была любимая ниша, где укромно прятался тяжелый дубовый стол — там я обычно ждал ее после репетиции. Какая радость была увидеть ее еще издали, приближающейся через веселую сутолоку наполненного обедающими зала, увидеть ее оживленное лицо под черной фетровой шляпой, услышать голос, которым она весело здоровается со мной, бросая на скамью сумку и тяжелую тетрадь с нотами.

Но как ни очаровывала меня новизна всего этого, я всё же не мог не чувствовать невольной тяжести на душе. Как быстро

стал знаком мне весь город! Каким чужим я чувствовал себя его молодому деятельному миру, таившемуся за высокими окнами его аудиторий! Самый образ моей жизни был чужд здесь всему. Работать я не мог. Вся моя жизнь состояла в непрестанном ожиданьи. Напившись кофе и зайдя на почту за письмами, я подолгу бесцельно блуждал по улицам, по окружавшему город парку, стоял перед маленьким домиком Бисмарка на валу, заходил на кладбище, напоминавшее баллады Уланда и Шиллера, старинной замшенностью надгробных камней и плит и серо-зелеными ангелами, прилегшими на кресты и как-бы заснувшими над ними. Устав ходить, я садился на какую-нибудь дряхлую скамью, укрытую порыжевшими прядями плакучей ивы, и задумывался. Я думал о себе, о своей странно бесцельной жизни, чувствовал себя каким-то обреченным среди этой молодой, сосредоточенно-деятельной жизни, понимал, что долго так вообще не может продолжаться и всё же был остро счастлив...

Ничего равного тому, что я сейчас переживал, не было до сих пор в моей жизни. Самым острым было, пожалуй, именно это чувство почти ликующей обреченности — заострения и единства всего моего существа. В благородной красоте моей жены, в ее ровной верности, в уверенности, что она никогда не покинет меня, было уже много счастья. Она была чуть старше меня, была из древнего русского рода; в белизне ее кожи, в цвете голубых, холодноватых, точно серебром покрытых сверху глаз было что-то драгоценное, редкостное. В нашей семилетней дочери было уже другое — в этом чуть капризном личике с слегка коротким носом, в длинных ресницах, в полноте чуть полураскрытого влажного ротика было что-то от будущей маленькой женщины, очаровательное и для меня неотразимое. Всё это было хорошо, но что это было в сравнении с тем, что внезапно пробудилось во мне и заклокотало, точно давно спавший подземный огонь! Я и сам не знал, что способен на это. Жену я любить не перестал — в этом был непонятный ужас, но между мной и ею на время как бы опустился глухой занавес, не позволявший мне вслушиваться в то, что происходило по ту сторону его...

Я не был натурой лживой. Ложь заставляла бы меня не уважать себя самого. Но кто-то точно стоял на страже надо мной, и до поры до времени, не позволял мне открыть жене всё... И мои письма были полны уклончивой, скользящей полуправды. Я писал о красоте и старине этого города, о моих впечатлениях от новой для меня страны, посылал открытки с видами ратуши, домика Бисмарка, девочки с гусями, прятался за уклончиво-нежными, недоконченными фразами. Но что я делал в этом городе, где я остался вместо того, чтобы ехать в Берлин, я не объяснял, предоставляя догадываться (жена знала о нашей встрече с *ней* на юге) или думать, что я собираю материалы для новой книги. Письма жены несказанно мучили меня, хотя я и не позволял себе углубляться в это мученье и как бы откладывал думы о том, что будет дальше. Всё мое существо было поглощено тем новым чудом, каким была для меня *она*.

Всё в ней было для меня необычайно и неожиданно. Самым пленительным была, может быть, эта кипучая игра жизни, которая в ней пенилась, как каскад, с неудержимой силой бьющий ввысь. Когда ее великолепный голос возвышался и наполнял собой весь зал, у меня трепет шел по спине. Я не очень любил оперу, видел всё условное, неподвижное в ней, но когда *она* была на сцене, точно новые силы вливались во всё вокруг, и я замечал не раз, что и важный посредственный баритон, никогда не менявший мрачного выраженья лица и носивший преувеличенно большой перстень-печатку на безымянном пальце, и невысокий, еще совсем молодой тенор, похожий на пухлого младенца с светло-желтыми густыми волнистыми волосами, заражались от нее и точно выростали. Она была недавно на сцене и в сущности совсем не подходила к этому театральному миру — на сцене она одна была живой, среди неестественно двигающихся фигур.

После премьер мы с ней обычно сидели в каком-нибудь винном погребке, ужинали и пили бледно-золотистый рейнвейн из тонких бокалов на высоких ножках. На столе или на скамье рядом, душистым снопом, лежали полученные ею в этот вечер цветы — ее уже очень ценили и любили в городе.

Придя домой, еще не остыв, она иногда садилась за рояль и пела — только для меня. Широкий желтый абажур освещал раскрытые перед ней ноты, ее руки на клавишах. Сидя позади, в тени, я чувствовал, как к глазам моим подступают слезы, когда она пела это протяжное, великолепное:

Исчез и поцелуй свиданья,
Но жду его — он за тобой...

В ее свободные дни мы делали большие загородные прогулки. Помню один морозный вечер уже в начале декабря — полукруг берез, огибающих белую дорогу, пустые снежные холмы на горизонте. Мы много прошли в этот день и на закате очутились на этой дороге, ведущей к одиноко стоящему деревенскому гастхаузу. Острое красное солнце садилось за березы, оно было резко очерченное и совсем без лучей, мохнатые белые пряди берез торжественно-неподвижно висели на чистом золотом небе. Было очень холодно и радостно от предчувствия тепла большой деревенской комнаты, с чисто вымытыми деревянными столами и скамьями, жарко натопленной кафельной печки, приветливого хозяина, несущего на подносе рюмки с шнапсом и аккуратно нарезанные ломти темной вестфальской ветчины на гладко отполированных дощечках... О чём мы говорили, сидя друг против друга, слушая громкое тиканье часов с кукушкой, рассматривая бесчисленные желтовато-кофейные рога в полированной оправе на стенах? Помню только шаловливый блеск ее глаз, тонкую кисть руки, державшей рюмку... Я был здесь чужой, я едва знал язык — она всем распоряжалась, заказывала, разговаривала с хозяином, — меня заливало радостное сознанье, что она всё знает, всё делает именно так, как нужно...

Подошло Рождество.

К Рождеству я обещал вернуться домой в Ниццу, но я и думать не смел об этом. Наша жизнь становилась всё тесней и тесней, и в конце концов, мы переехали в один и тот же пансион и поселились в смежных комнатах.

Никогда не забуду этого переезда. Я помогал ей укладываться, помогал, как умел, но в сущности главное в этой помо-

щи было — быть подле нее, брать у нее из рук вещи, касаясь ее при этом, чувствовать то горячее, всё более сближающее, что всё росло и росло между нами. Когда всё было готово и чемоданы закрыты, мы, как дети, взялись за руки и сели на ковер подле них, смеясь и глядя друг на друга. Сколько нам было лет? Не всё ли равно! Главное было ощущенье счастья от этого чувства безмерного доверия, полноты и цельности, которое шло на нас друг от друга...

Мы поселились в двух больших светлых комнатах в первом этаже уютной виллы, стоявшей несколько поодаль от центра города, в тихой, медленно закруглявшейся улице, выводившей в поля. Окна наши смотрели в сад, сейчас весь бело-волнистый от глубокого снега. Пансион был чистый, теплый, жили в нём большей частью студенты из тех, что располагали некоторыми средствами. Какие чудесные утра бывали у нас там! Мы пили кофе за большим овальным столом, сидя рядом на диване с высокой спинкой, старомодном и таком удобном, что не хотелось вставать с него. Как помню я эти бледные зимние утра, свежий тюль занавесок, за которыми темнели верхушки росших под окном молодых ёлок, приветливую розовощекую горничную в белом накрахмаленном переднике и такой же наколке, вносившую большой поднос с кофейным прибором, корзиночкой с подрумяненными розанчиками и хрустальными блюдцами с маслом и вареньем. Мы как могли затягивали эти утра, зная, что ей всё равно придется уйти на репетицию, а мне остаться одному...

Правда, чем ближе шло время к Рождеству, тем больше занимало и развлекало меня то, что делалось в городе. Уже недели за три до праздника в нем закипела веселая суета. Я в первый раз видел это приближенье рождественских праздников в Германии и оно невольно захватывало меня. Я уже не ходил в поля, на вал, на кладбище. Меня тянуло на главную улицу, где перед каждым магазином толпился народ, выставки становились всё наряднее и заманчивее и всё больше напоминали детство. Чуть не за две недели до сочельника магазины стали заметно пустеть — так раскупали в них всё, что хоть как-ни-

будь могло походить на подарки. Долгая жизнь на юге и вообще во Франции приучила меня как-то не замечать этого праздника, почти немыслимого без снега и ёлок. Но тут и меня захватила общая волна и я помню, что и я что-то выбирал и покупал для нее, для хозяйки нашего пансиона, еще для кого-то, сам не зная, зачем я это делаю, раз на Рождество не буду здесь с ними...

Дня за три до сочельника мы с ней бурно поссорились. Я получил письмо из Ниццы, от жены, в котором она писала, что, как было условлено, она с Лилей, дочерью, выезжает в Париж, где будет ждать меня к сочельнику. Каким огнем вспыхнули ее глаза, когда я сказал ей об этом! Не слушая, почти не видя меня, она вырвала свою руку из моей и встала: «А я? Что я буду делать здесь, одна... без друзей, без родных... среди чужих?» глухо, как будто говоря только с собой, сказала она, отворачиваясь. Я похолодел. Самым страшным оказывалось для меня не мое страданье, а то, что должно было статься с ней! В первый раз я переживал такой острый приступ любви. Мог ли я причинить ей такую боль? И после короткой бурной сцены — сначала она не хотела ничего слушать, не верила мне — я побежал на почту и послал телеграмму в Ниццу, что быть не могу, что меня задерживают непредвиденные дела, но что обещаю быть тотчас после Нового Года... И хотя это не спасло нас от призрака разлуки — теперь она была уже определена — мы оба точно сговорились пока не думать об этом и принялись дружно, по-детски радостно, готовиться к празднику.

Она была особенно трогательна в желании как можно сильнее дать мне почувствовать всю прелесть Рождества, вернуть меня к забытым радостям детства. Мы с ней вместе обходили магазины, она выбирала и покупала подарки друзьям, сослуживцам, родственникам, жившим где-то в другой части Германии. Помню, как мы с ней раз даже забавно поссорились из-за того что́ именно подарить ее костюмерше — кофейник или вазу для фруктов. Стол в нашей комнате после этих походов покрывался грудой свертков, пестрой папиросной бумагой с

разными рождественскими рисунками, пачками цветных свечей, хвойными веточками с красными ягодами, золотыми и серебряными шнурами. Она делала пакеты, завертывала каждую вещь в бумагу с золотыми звездами, надписывала какие-то карточки... В комнатах чудесно пахло пряниками, миндальным тестом, мандаринной коркой. Накануне сочельника принесли небольшую, но очаровательно пышную ёлку и запахло еще хвоей. Зараженный этим всеобщим рождественским безумием, я не мог усидеть на месте и утром в сочельник, когда она принялась украшать ёлку, побежал по лавкам, покупать вино, фрукты и сладости...

Как помню я эти сумерки в ее большой комнате, где в углу на столике стояла, сдержанно поблескивая серебряными нитями, еще темная, с незажженными белыми свечами, ёлка. Еще не всё было готово, на стульях еще лежали нераспечатанные, пришедшие сегодня с почты пакеты, но стол был уже парадно накрыт белой скатертью, — посредине на нем лежал еловый венок с серебряными лентами и большими блестящими шарами — совсем новый для меня и показавшийся мне прелестным обычай. Она, стоя у стола в зеленом шелковом платье, вставляла толстые красные свечи в деревянные подсвечники — они должны были гореть сегодня за ужином. Выражение лица ее было сосредоточенное, полное сознания важности того, что она делает. Как я знал и любил в ней эту цельность погружения во всякое дело, за которое она бралась!

Мы только что собрались зажигать свечи, когда в дверь постучали и оживленная, с празднично-возбужденным лицом девушка горничная протянула с порога белую полоску. «Телеграмма? Мне?» — удивленно спросила она, беря ее из рук горничной. Телеграмма была на мое имя из Парижа. Беззаботно, еще полный радостной занятостью нашей общей жизни, я распечатал и прочел не сразу понимая смысл написанного:

«Il faut venir immédiatement. Lily très malade».

Подписи не было. Я стоял и смотрел на телеграмму. Она тихонько взяла ее у меня...

Всё было кончено. Никогда не забуду того, как она, после нескольких безуспешных попыток пересилить, остановить этот вал судьбы, вдруг переломила себя, позвонила и каким-то новым, чужим голосом приказала горничной принести мой чемоданы. Меня поразило то, что она, только-что бывшая такой веселой, шаловливой и нежной, вдруг точно окаменела. Она избегала прикасаться ко мне, и когда я попробовал взять ее за руку, тихо, но твердо отняла ее у меня. «Нет. Только не это. Иначе я не выдержу», — тем же, уже поразившим меня мертвым голосом сказала она.

Она сама уложила мои вещи и закрыла чемоданы. Я не смел глядеть на нее, чувствуя, что и я не выдержу, — если хоть на мгновение приближусь к ней...

Что можно еще сказать об этом вечере? Он точно провалился в моей памяти в какую-то угрюмую серую муть. Я знал, что не ехать нельзя — пылающее от жара личико моей дочери время от времени вдруг всплывало перед моими глазами — но я понять не мог, как мы расстанемся, если я и дня не могу прожить без нее...

Поезд уходил в два часа ночи. В половине второго мы с ней проехали по пустому, темному, спящему городу. Перед вокзалом тоже было темно и пусто. «Как она будет возвращаться по этим улицам одна!» — с ужасом подумал я, когда мы выходили из автомобиля...

Потом мы ждали поезда на пустом, еле освещенном перроне. Мы ни о чём не говорили. Чувство нестерпимой боли, а главное страха, страха за нее, за себя, всё росло во мне. Мне казалось, я не переживу момента разлуки. И всё же момент этот настал — перегнувшись из окна, держа ее руку в своей, я в последний раз смотрел в это милое, бледное, поднятое ко мне лицо, слабо светившееся из-под темного края шляпы. «Спасибо тебе... за всё... за всё...» еще успела сказать она, когда поезд уже ускорял ход и она почти бежала рядом с окном, и всё смотрела, смотрела, силясь, как можно дольше не отнимать отрываемой неумолимой силой руки... Потом... тьма вместо ее лица... редкие тусклые огни где-то у горизонта...

Некоторое время я лежал, ничего не чувствуя, в темном пустом купэ. Пришедший проверять билеты контролер, ручным фонарем осветил купэ и заставил меня очнуться. Потом он ушел и я опять лег... и так пролежал до рассвета — до пересадки.

Париж встретил меня шумом, грохотом, многолюдством, гудками своих автомобилей и показался мне почти адом после того мира пустоты и тишины, в котором я только что пребывал. Такси, провезший меня через весь город, подвез к знакомому отелю в тихой уединенной улице, где мы с женой обычно останавливались, когда бывали в Париже. Стояли уже легкие синеватые сумерки. Я, как неживой, вышел, кивнул выбежавшему из двери лакею на шоффера и вещи, и вошел в вестибюль. Глаза мои тревожно искали чего-то, чего? Не крышки же гроба! Корректный полный портье, сидевший за конторкой, приветливо поздоровался со мной и протянул мне ключ с номером.

— Мадам только-что вышла, — улыбаясь, сказал он. — Мосье доволен путешествием?

Я, не понимая, смотрел на него.

— Вышла? А как же Лиля? Моя дочь? Где она? — спросил я.

— Маленькая барышня ушла с мадам. Вероятно, они скоро вернутся. Они весь день ждали мосье, — дружественно улыбаясь, ответил он. — Не угодно ли пока чаю? Я велю подать.

Час спустя я стоял в дверях отеля и смотрел прямо перед собой. Оттуда, от угла, шла навстречу мне из сумерок хорошо знакомая высокая фигура жены в широкой котиковой шубе и фетровой шапочке. Рядом с ней, быстро перебирая высокими ножками в белых гамашах, немного забегая вперед и заглядывая ей в лицо, как это делают дети, когда им не терпится рассказать что-то взрослым, бежала легкая фигурка моей дочери...

Стоя неподвижно, я издали смотрел на них. Жена сразу узнала меня и по ее вдруг замедлившейся походке я видел чего стоит ей то пространство, которое она должна была пройти от угла улицы ко мне...

В этом году весна была поздняя.

Хотя врачи посылали меня на юг, найдя у меня все признаки осложнившегося плеврита, я отказался куда бы то ни было ехать, и мы остались в Париже.

От *нее* уже около месяца не было писем и я боялся догадываться о том, что происходит с ней. С женой, после того ночного страшного разговора, единственного, который был у нас с ней тотчас после моего приезда, мы больше о прошлом не говорили. Моя болезнь, полная отданность ее постоянным обо мне заботам, постепенно делали свое дело. Порой я уже начинал *видеть* ее бледное обрезавшееся лицо, сжатый рот, полные муки глаза — первое время я не видел ничего и никого — и чувство, похожее на смутную жалость откуда-то издали вставало во мне. Ни друзей, ни знакомых я принимать не мог. Положение больного освобождало меня от всяких обязательств перед ними. Почти весь день я проводил в своей комнате, сидя в кресле, за письменным столом, или лежа на низкой кушетке, служившей мне постелью. Я ничего не писал, но много читал, главным образом, по ночам. Спать к этому времени я совсем перестал и, случалось, за ночь прочитывал по две книги. Не помню, что именно я читал, помню только, что это были беленькие французские томики с крупной печатью. Засыпал я уже под утро, когда небо за окном начинало лиловеть и дрозд, живший на высоком каштане, под окном, оглашал сад своей переливчатой трелью. Сны мне снились редко, но всё же как-то раз приснилась *она* — ощущение ее близости было так остро, что проснувшись, я весь похолодел — опять эта мука! — и тотчас схватился за висевший над моим изголовьем крест, старый, темный, выкопанный из псковской земли, доставшийся мне от деда. Целуя его, прижимая к губам его холодное, твердое с чуть ощутимыми выпуклостями железо, я закрывал глаза и, не замечая слез, всё твердил и твердил слова, откуда-то, со дна памяти приходившие ко мне и приносившие мне таинственное облегчение:

— Мысли Мои выше мыслей ваших и пути Мои выше путей ваших...

Г. Кузнецова

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ

Началось всё с потолка. В комнате на полу валялись неразобранные баулы, свернутые тюки, книги связками. Семья только что переехала. Тата лежала в наскоро собранной постели и рассматривала потолок. Это был, в сущности, только угол потолка. Вероятно, раньше это была большая комната. Теперь ее поделили на четыре части безобразными досчатыми перегородками. Каждому жильцу досталась четвертушка комнаты с углом потолка. Потолок был лепной с выступающим карнизом. Красавец-потолок! Если лежать головой к двери и видеть только угол потолка да два огромных угловых окна — можно вообразить, что живешь, по крайней мере, во дворце. А если повернуться лицом к двери, то увидишь щели, клочки обоев и всю мерзость бесприютной коммунальной квартиры. Тата решила устроить свой уголок так, чтобы видеть только угол потолка и о́кна. А за о́кнами — красавец Софийский собор и весь старый Новгород.

— Мама, а кто здесь раньше жил?

— Когда — раньше?

— Ну, при царизме?

— В этом особняке жил предводитель дворянства.

— Вот, как раз, как у нас в школе говорили. Буржуи и помещики занимали лучшую жилплощадь, господа в шести комнатах жили, а бедный люд теснился в трущобах.

— Ну, положим, количество жильцов в этом доме сейчас не на много увеличилось. Сейчас здесь живет шесть семейств, а раньше было одно, но какое: три дочери, три сына, разные бедные родственники да племянники постоянно гостили. Несколько слуг. Сам предводитель дворянства был очень гостеприимный и добрый человек.

— Вот-то шум и гвалт у них стоял! Наверно все эти бездельники только и делали, что сидели да ели, а слуги на них работали.

— Ты говоришь глупости. В этой семье старшие работали, младшие учились. У всех были свои обязанности. В этом доме жили интеллигентные люди.

— Что ж, дом-то от этого лучше выглядел, что ли?

Мама не ответила. Тата поняла, что глупо спросила. Но как-то раз вечером, лежа в постели, Тата опять начала разговор:

— Мама, а мы интеллигентные люди?

— Кто — мы?

— Ну, ты, например.

— Я — была. — Мама вздохнула и погасила свет.

— А я? Может быть, я еще стану интеллигентной?

— Ты, во всяком случае, нет, — пискнула из-за маминой спины Оля, старшая дочь Анастасии Васильевны.

— Отстань, дура.

— Очень интеллигентно! Наша интеллигентка выражается с колхозным изяществом.

Тата лежала и думала. А если убрать все перегородки и соединить все четыре угла? Будет большая комната в шесть окон. И в ней опять можно будет жить интеллигентным, образованным людям. А что такое, собственно, интеллигентность? Может быть, это образованность? А вот Марь Антонна в школе очень образованная, много знает, а мама про нее сказала, что она хоть и учительница, а тупой и неинтеллигентный человек. И ногти у нее черные. Ну, положим, и у археолога, что рядом живет, тоже под ногтями репу сеять можно, а он интеллигент. Мама сама сказала. А Любовь Алексанна и старушка Боголюбская обе работают в музее. Они там только рисуют да пишут что-то, а все считают их высокоинтеллигентными. Может быть, читать надо побольше? А может быть, надо обязательно быть из благородных? Нет, теперь этого не нужно. Ну, а что же нужно?

Сначала Тата приставала с вопросами ко всем взрослым, к матери, к учительнице, к археологу. Взрослые удивлялись, ребята дразнили. А Ольга просто проходу не давала:

— Интеллигентка, иди посуду мыть, твоя неделя. Окуни свои интеллигентные ручки в горячую, жирную воду.

Мама удивлялась:

— Что ты пристаешь с распросами интеллигентно это или нет? Читай больше, учись, будь приветлива, воспитана — вот и будешь интеллигентной. Только с чего это тебе вдруг приспичило? До 14 лет дожила нормальным ребенком и вдруг захотелось интеллигентной стать?

— Но ведь ты то была интеллигентной, сама говорила. Вот и я хочу.

— То-есть ты решила, что быть интеллигентом представляет какую-то выгоду?

Тата смотрела на свой потолок.

— Во всяком случае не колхозник же будет жить в комнате с лепным потолком.

— Живет же сейчас. Вон — наши Ивановы.

— Да, в четвертушке, а я хочу целую комнату. Вот стану профессоршей, как Любовь Алексанна, и получу всю эту комнату себе в жилплощадь.

С той поры Тата стала запоем читать. На переменках в школе — читает, дома у плиты стоит — молоко стережет — читает. Вздумала было даже, идя по улице, читать, но неудобно, буквы скачут. Видя ее читательное неистовство, музейные друзья снабжали ее материалом. Каждый давал свои любимые книги, говоря: обязательно прочти. И Тата читала. А чтоб не приставать с распросами, отчего да почему, стала внимательно прислушиваться к разговорам взрослых. Напросилась присутствовать на совещаниях музейного коллектива. Сидела в уголке и слушала. Иногда Любовь Александровна устраивала у себя литературные чтения. Тата и туда влезла. Всё слушала и молчала. И вот что удивительно. Каким-то шестым чувством Тата понимала, что в школу свои познания нести не следует. В шко-

ле учебник Панкратовой и Покровского, дома Ключевский и Платонов. В школе бахвальство вдруг открытым гением русского народа, дома и в «музейной слободке» — истинная история России, ее настоящие герои, святые и мученики. Раз замкнувшись в себе, она уже не поддавалась искушению блеснуть познаниями и огорошить класс цитатами или хронологическими датами. Она сама, без чужой подсказки, решила, что в школе преподается просто «другая» история и смешивать ее с настоящей незачем.

На выпускном акте директор школы, подавая ей диплом, сказал:

— Ты наша отличница. Иди учиться дальше, совершенствуйся. Стране нужна молодая, новая интеллигенция. — Это последнее слово было теперь заслуженной ею наградой.

Когда началась война, мама растерялась. Эвакуироваться или нет? Пусть Тата решит. Тата только что приехала из Ленинграда на летние каникулы в свой старый, любимый Новгород. Тата сбегала, узнала, что будут делать ее музейные друзья. Их эвакуируют с музеем. Ну, и мы с ними. Но не поспели ни музейные, ни мама. Уже со святой Софии два купола сбили, когда все, наконец, решили двинуться, но теперь уже не на восток, а на запад — во Псков. Так и шли пешком в непрерывной цепи беженцев. Тата всё «своих» считала. То одну, то другую «музейную» старушку под руку волокла. С археологом по избам ходила хлеба клянчить.

— Трудно тебе, девонька, как я погляжу, — пожалела ее одна баба. — Вам, интеллигентам, всего пути не сойти. До Пскова перемрете все от стужи да голода.

Но они не померли, а добрели. Расселились в Завеличьи в маленьком особнячке. Немцы назвали этот домик «Колония художников». Девушки поступили на кухню к немцам. Мать со старушками занималась реставрацией и мытьем икон, вывезенных немцами из новгородского музея. Реставрированные иконы направлялись куда-то дальше на запад. Где-то они теперь?

Девушки по воскресеньям ходили на толкучку. Продавали

акварельные картины Любовь Александровны, а на вырученные деньги покупали продукты. Куплей-продажей заведывала Оля. Не легко ей было. Она часто ворчала на Тату:

— Мы, конечно, не умеем ни продать, ни купить. Мы слишком интеллигентны для такого низкого занятия. — Тата отмалчивалась.

В одно из воскресений Оля продала немцам несколько акварелей, изображавших Троицкий собор, Гремячую Башню, церковь Николы-со-Усохи. Пересчитали деньги.

— Ну, теперь пошли за маслом. Если не достанем, купим хоть сметаны и творогу.

Только девушки подошли к масляным рядам, как видят — одни торговки сбрасывают свой товар с лотков в заплечные корзины, и, подхватив их, бегут куда-то. Другие, побросав всё на столах, летят, сломя голову, с пустыми корзинами под откос, к реке. Все волнуются.

— Дяденька, чего они бегут? В чём дело? — обратились девушки к какому-то мужику на возу.

— А облава, девоньки, облава. Немцы народ на базаре ловят и в Германию отправляют. Вот и бегут все кто-куда. Эх, самому бы тут не попасть. Но-оо, коник! — И мужик погнал лошадь, нахлестывая ее веревочными возжами.

— Оля, бежим! — Но было уже поздно. Верховые жандармы уже оцепили базарную площадь. Лошади подминали непокорных, пытавшихся вырваться из круга. Толпа сгущалась. Становилось тесно. Рядом с Татой плакала женщина:

— Ох, лихо мое! У меня ребята дома на ключ заперты. Трое сидят. Господи, что мне делать?

Кругом утешали:

— Не реви, бабонька, может, и отпустят еще. Проверят паспорт и иди к ребятам.

— Паспорт! Ой, мамонька! — взвизгнула она. — Я-ж его дома оставила, на комод положила. Боялась с собой взять. Воруют теперь паспорта. На-днях на соседку напали хулиганы, денег не взяли, только паспорт отняли.

Табак твое дело, — рассудил стоявший рядом рабочий, — без паспорта обязательно заберут.

У Таты и Оли были немецкие справки с места работы. Они успокоились и терпеливо ждали окончания облавы.

Короткий осенний день уже начинал смеркаться, когда до них дошел черед проходить Сциллу и Харибду — узкий коридор, образованный конными жандармами. У кого был паспорт, того отпускали. Беспаспортников задерживали и втискивали в крытый грузовик, стоявший тут же. Стон стоял в грузовике. Плачь и ругань неслись оттуда.

Перед Татой жандарм обратился к плакавшей женщине с тремя ребятами под замком. Но она уж так переплакалась, так тряслась от страха, что слова вымолвить не могла. Тата и Оля показали свои справки. Их пропустили. Но Тата не могла бросить несчастную мать без помощи.

— Послушайте, господин жандарм, — заговорила она по-немецки, — у этой женщины трое детей дома...

— Меня не касаются ее дети, у нее нет паспорта, — деревянно заорал он в ответ. — Марш в грузовик! — Но женщина не шла.

— Да послушайте, ведь дети заперты на ключ; они с голоду умрут, если мать не вернется!

— Чего эта девушка хочет? — крикнул другой жандарм. Немец объяснил.

— Ерунда! У русских всегда найдутся отговорки. В грузовик всех троих!

Дело принимало скверный оборот. В отчаянии Тата ухватилась за рукав жандарма:

— И у вас есть дети дома. Пожалейте русских детей, Бог ваших пожалеет.

Немец отряхнулся от нее:

— Приказ есть приказ, — еще громче заорал он, — ты интеллигентная девушка, ты должна понимать, что солдат обязан выполнять приказ без рассуждений, — продолжал он надсаживаться, а сам проталкивал ее, Олю и рыдающую женщину

куда-то между грузовиком и ногами и хвостами танцующих на месте жандармских лошадей.

— Мы должны выполнять приказ, — доносилось еще до девушек, но они уже поняли и, подхватив плачущую женщину, бросились в сторону от грузовика и скрылись в толпе освобожденных.

Но в Германию они всё-таки попали. В одно морозное, как стеклянное, утро пришел приказ всем художникам с их домочадцами ехать в Германию. Куда? Зачем? Почему? Разъяснений не было. Иконы пока останутся здесь. Их потом привезут. Сейчас забирать только свои личные вещи.

Собирались недолго. Всего и добра то, что на себе. Жаль, что икон не разрешено было взять. Любовь Александровна и старушка Боголюбская затосковали, точно с душой расставались. В опустевших, холодных комнатах висели на стенах, стояли на полу и подоконниках редчайшие иконы двенадцатого-тринадцатого века, суздальского и новгородского письма. Иконы, пред которыми семь-восемь столетий склонялись головы и возносились молитвы. Они одиноко темнели в пустых комнатах заброшенного домика на Завеличьи.

Тата видела, как затряслась седенькая голова Любовь Александровны, когда она в последний раз вошла в мастерскую, чтобы одним взглядом попрощаться со своими святыми. На глазах матери были слезы.

— Любовь Алексанна, мама! Не плачьте. Если каждый из нас возьмет только одну любимую икону — это не будет воровством.

— А разве на границе не будет обыска? Найдут, отнимут и выбросят где-нибудь.

— Так не наши же зондерфюреры будут обыскивать. Чужие. Мы им скажем, что иконы несем из дома.

— Что-ж это даже не будет ложью, — грустно улыбнулась Любовь Александровна.

Любимые иконы были немедленно рассованы по убогим узелкам беженок. Себе Тата взяла икону Николая Чудотворца,

покровителя вдов и сирот, помощника плавающим и в пути шествующим.

«Дубовый листок оторвался от ветки родимой...»

И вот иконы, из серепьких, вросших в землю церквушек, где они столетиями висели никем не тревожимые, — перекочевали сначала в музей, потом, на солдатских подводах прибыли в маленький домик на Завеличьи. А теперь в беженских узелках ехали дальше на Запад. Видно, так уж положено было и им и этим людям. А было что-то трогательно-общее в этих путешествующих иконах 12-го века и людях с узелками, тоже «не от века сего».

В Германии всех погнали на фабрику. Нежные маленькие ручки старушки Боголюбской отказывались держать отвертку вместо кисти. Она просто не умела действовать ею. Немцы, видя ее беспомощность и неуменье остальных художниц взяться за напильники и резцы — послали всех на кухню чистить брюкву и картофель. Так же технически бездарной оказалась и Оля. Ее послали работать сестрой в лагерной больнице. Горше всех пришлось Тате. Ее, как хорошо знающую немецкий язык, послали в лагерную канцелярию переводчицей. Археолога увезли в мужской лагерь.

По вечерам все собирались в маленькой барачной комнатке. Им, как интеллигентным «остам», дали отдельную коморку на пятерых. Сидели на жестких тюфяках, ели горячее хлёбово из брюквы и картошки и говорили о дневных событиях.

— Я сойду с ума, — жаловалась Оля. — Целыми днями я раздаю касторку и мажу иодом. Ну, можно ли все болезни лечить касторкой и иодом? А других лекарств нет. Освобождение от работы даем, как золото. Одному на сорок больных.

— На кухне жалуются, что докторша очень строга.

— Ну, где же строга? Вчера лагерфюрер накричал на нее, что потакает ленивым русским скотам. Она расплакалась и долго не могла успокоиться. Мне одной пришлось работать.

Тата иногда даже не жаловалась. Она молча садилась на свой топчан, молча съедала суп и ложилась лицом к стене.

Тогда ее никто не трогал. Утром мать, словно невзначай, спрашивала ее:

— Опять что-нибудь случилось? — Тата молчала, или нарочито деревянным голосом отвечала:

— Ничего особенного. Просто — выпороли Марусю. Брюкву стащила.

Тата чувствовала себя песчинкой, брошенной между молотом и наковальней. Молот — это немецкая администрация лагеря; наковальня — стоголосое девичье стадо, размещенное в двух серых бараках. Все они полудобровольно, полупринудительно очутились в Германии на работах. Одним были обещаны хорошие заработки и они решили посмотреть на жизнь заграницей; другие были набраны облавами на площадях и базарах. Понятие о жизни, какой она должна быть, у девушек и администрации были противоположными. Работали девушки, как звери, но жить и есть хотели по-человечески. Немцы же никак не хотели этого понять. Возмущенные девушки выливали брюквенный суп на голову лагерфюреру, кидали в него гнилой картошкой, крали еду, где могли. Администрация отвечала на это высылкой в другой лагерь, внеочередными нарядами и поркой. Это была затяжная, неутихающая вражда. И в центре этих военных действий стояла переводчица Тата, улаживая, упрашивая, покрывая и умалчивая.

По вечерам начинали выть сирены. Словно от тянущего звука их моментально гасло электричество в бараках. Старушки и мать начинали молиться. Оля ложилась лицом вниз на постель и не двигалась до конца тревоги. Тата уходила в барак к девушкам. Там они сидели в темноте, сгрудившись все на нескольких кроватях. Они пропускали ее в середину темной, громко-дышащей толпы, окружали ее мягким кольцом горячих девичьих тел и требовали рассказа. В посветлевших окнах мелькали голубые светляки фонарей. Это немецкая администрация спешно спускалась в свой бункер. «Остам» бункеров не полагалось. Девушки раз навсегда решили между собой не прислушиваться к взрывам, не охать, не вскрикивать. Сидеть

спокойно и слушать рассказ, а если тебе было уж очень страшно, то после тревоги разрешалось и пореветь.

Рассказчиц было три. Маруся Кухарчук — богатырь-девица и неиссякаемый кладезь хитрых и веселых украинских сказок и былей. Впрочем, у нее всё считалось былью. Все невероятные сказочные приключения, битвы богатырей и темные дела колдунов — всё случалось «у нас в Полтавщине», «с одним нашим парубком» или «с моей подружкой». Все приключения хорошо кончались, все герои много говорили и остроумно выкручивались из трудных положений.

Другая рассказчица была белорусска. Десять лет из ее коротенькой жизни провела она на Алтае, куда ее семья была выслана на поселение. Перед самой войной она приехала в Ленинград, чтобы поступить в институт. Окончивши, хотела опять на Алтай ехать.

— Если жить где-нибудь, то только в Сибири, на Алтае, — говорила она. — Там солнце другое, большое, светлое. Там птицы громче поют; там огромные пчелы, как труба гудят. Всё большое, всё громкое. Трава выше пояса, цветы в ладонь, у деревьев верхушки не увидишь — в облаках она. И люди большие и сильные, громко говорят и много поют. Живут дружно, друг за друга горой стоят. А непролазные леса, а снеговые горы! Нет, жить можно только на Алтае.

В ее рассказах редко что-нибудь случалось. Как все люди чистой души, считающие всё значительным и важным, она рассказывала спокойно, длинно, с припоминанием всех имен и подробностей, с точным описанием места и действующих лиц. Для нее всё имело свой определенный вес и значение. В другой обстановке слушатели на стенку бы полезли от ее протяженно-сложенных повествований. Но в темном бараке, на чужой стороне, ее рассказы усыпляли тревогу, успокаивали душу и вместо животного страха перед смертью возникало щемящее чувство тоски по родине, по ее просторам и людям. Почти всегда после ее рассказов девушки начинали петь. Суматошный гул моторов и треск взрывов вдруг покрывала стоголосая песня о любви, о девичей тоске, о Сибири.

Третьей рассказчицей была Тата. Она просто рассказывала девушкам Гоголя, Пушкина, Толстого. Читала наизусть стихи. Рассказывала русскую историю. Она умела увлечь и заинтересовать девушек; умела поставить вопрос и вытянуть у слушательниц на него ответ. Ее рассказы, обычно, выливались в собеседование или в спор. Высказывались мнения, припоминались прочитанные книги; спор разгорался, как костер: трещал цитатами и дымил упрямством, — и внезапно вспыхнувшее электричество вдруг освещало раскрасневшиеся и похорошевшие в споре девичьи лица. Спор немедленно угасал. Все миролюбиво улыбались и расходились по своим местам, охая и прихрамывая отсиженной ногой.

В середине зимы сменили лагерфюрера. На место прежнего зверя, маленького, беззубого, с поганой лисьей мордочкой и таким же мерзким запахом, пришел высокий полный блондин, синеглазый и многозубый. Он шумно ходил, входил без стука в девичьи бараки, но странное дело, никто не визжал, не кричал «раус» и девицы, натянув, что попало, окружали его подвижной и доверчивой толпой. Он давал рабочие наряды, делал выговор, давал отпуска — и всё у него получалось просто, — ничего больше, как просто. А, в сущности, может быть, ничего больше и не нужно, как только просто обращаться с людьми; не надо их ни любить (если нет любви в сердце), ни ненавидеть. Надо обращаться с ними как можно проще и они будут рады. Девушки сразу, в первый же день, определили лагерфюрера, что он «простой». Его фамилия была Бобе. Ясно, что еще не выходя из конторы, он стал «Бобкой». В этом прозвище была искренняя симпатия, смешанная со всегдашним, чисто русским, легким презрением ко всякому «немцу».

Тата отдыхала. Прекратились порки, двойные наряды, слезы, проклятия и звонкая, озлобленная, но, в сущности, беспомощная, ругань девиц. В своем простом человеколюбии Бобка не заходил за пределы, положенные ему его национальными понятиями. Он оставался немцем, т. е. «сверхчеловеком». В бункер попрежнему допускались только немцы, еда была по-

прежнему скотская — брюква и картошка, но количество увеличилось и качество супа улучшилось. Хлеба стали давать толковую порцию. Давали даже мармелад. Бобка деловито разъяснял Тате:

— Если крестьянин хочет, чтобы его скот работал, он должен его кормить. — И кормил.

— Ни одно животное не может работать без отдыха, — говорил он и давал девицам «банный день» вне очереди.

Тату трогало, что ему и в голову не приходило, что «скот, животное» — это он ее же соотечественниц честит. Бобка был просто хорошим хозяином. Хорошо обращался с вверенным ему скотом, не мучил его и не утомлял его зря. Он не делал зла больше, чем это было необходимо. И за это ему спасибо.

Было хмурое ноябрьское воскресенье. После обеда почти все девушки ушли на танцульку в соседний мужской лагерь. К Тате и Оле собрались подружки пошить, поболтать и послушать чтение.

Вдруг во двор лагеря въехал грузовик. Он развернулся и задним ходом подъехал вплотную к служебному бараку. Все обитатели лагеря приникли к окнам. В серой остовской жизни и приезд грузовика событие. Тата с подружками выскочили на крыльцо. Из зеленого чрева грузовика с криками, неловко цепляясь, размахивая руками и болтая ногами вылезали какие-то женщины. Их было восемь. Единственный бывший с ними мужчина метался, как соленый заяц, тут поддерживая под локоток, там принимая баул или корзину. Птичий щебет стоял в воздухе:

— Лёля, помоги мне слезть!

— Это твоя корзина, Леля?

— Ты забыла свой мех, Лёля!

— Леля, не растеряй пакеты!

— Это что за «Лёли» такие явились? — недоуменно произнесла Оля. — Что у них человеческих имен нету, что ли?

— Лёля, иди к лагерфюреру, требуй для нас помещение.

Мужчина отделился от толпы и зашагал к конторе.

— Мамочки! И мужчина Лёлей зовется, — ахнула Маруся, — и откуда такие взялись?

Приехавшие «Лёли» сгрудились барашками вокруг своих корзинок и чемоданов, кутались в меховые воротники и тоскливо оглядывались. Это были немолодые уже женщины, неуместно наряженные, подкрашенные и завитые. От них пахло хорошими духами. Но всё сочетание холеного обличья этих реставрированных старушек с щебечущим собирательным именем «Лёли» и с грязным лагерным двором производило совершенно дикое впечатление, ощущение какой-то непристойности, чьей-то неумной шутки.

Пришел лагерфюрер и повел Лёлей в служебный барак. Одна комната в бараке для них нашлась. Туда могло поместиться шесть человек. Двум пришлось поместиться в комнате Таты. Мужчина, конечно, завтра же уедет.

Две огорченные Лёли, оторванные от своих, втащили свои чемоданы в комнату и стали осматриваться.

— Как же мы здесь будем жить? Вместе с другими, что ли?

— Лёля, я считаю, что мы непременно должны поговорить с лагерфюрером. Ведь мы никуда выйти не сможем. Мы уйдем на работу, а нас обкрадут.

— И потом, Бог их знает здешних. Еще вшей наберешься от них.

Олю вдруг осенило.

— Мама, это ведь они о нас говорят! При нас же говорят, что от нас вшей наберутся и что мы их обкрадем! Ох! Вот это интеллигенция!

Олин простодушный возглас взорвал плотину. Хохот грянул в комнате. Смеялись все, даже тихая богомольная старушка Боголюбская, даже сами Лёли. Когда хохот поутих, Тата примирительно подошла к Лёлям.

— Не волнуйтесь, дорогие гости, у нас вас никто не обидит. Поживете, увидите с кем имеете дело. Вы, вероятно, старые эмигрантки? Да? Располагайтесь здесь спокойно, вы здесь встретили друзей, а не врагов.

— Ну, это ты, сестричка, загнула, — шепнула Оля Тате, усевшейся опять с рукоделием за стол. — Я этих Лёлей за друзей считать не намерена. Терпеть не могу воображал.

На следующий день в лагере только и разговору было, что о Лёлях. Выяснилось, что это были артистки и жены артистов из русских театров в балканских странах. Они ехали по контракту выступать в каких-то городах оккупированной части Советского Союза. Но пока собрались да приехали, фронт откатился далеко на запад. Выступать стало негде. Куда деваться с артистками? Соломоново решение какого-то зондерфюрера послало их на фабрику. Так и очутились эти Лёли в остовском лагере.

Между прочим, имена у них были вполне христианские: там было четыре Елены, две Ольги, Александра и Лидия, да мужчину звали Алексеем, — но всех почему-то звали то Лёлей, то Лелей, то Лилей. Отчего — они и сами не знали. Вероятно, так повелось еще с тех пор, когда они почти девочками оказались в эмиграции. В институте их звали Лёлями, ну так и осталось. И Лёли и Лили и не заметили, как стали Еленами и Ольгами. Но раз в театре все говорили друг другу «ты» и называли ласкательными именами, то вот и забыли наши Лёли состариться, и седенькие, морщинистые продолжали щебетать: душка Лёлинька, ангел мой, Лиля. И для всего лагеря они навеки остались «Лёлями». Это прозвище было перенесено и на всю старую эмиграцию. Но не было зла в нём.

Лёли обжились в лагере, и как-то странно и чудаковато пришлись ко двору. В татиной комнате Елена Борисовна — Лёля и Елена Николаевна — Леля оказались премилыми дамами. Лёля была восторженная, бесконечно добрая женщина, так и не ставшая взрослой дамой, а оставшаяся на всю жизнь институткой. И рассказы у нее всегда начинались: «у нас в институте» или «у нас в театре». Леля была тихая, болезненная женщина. На первый взгляд казалось, что она нуждается в постоянной опеке и защите. Но приглядишься старательнее и открывается человек железной воли, женщина, как говорится,

с «царем в голове», человек, который твердо знает, чего хочет. В спорах она всегда побеждала, потому что преследовала определенную цель, не теряла нити и не сбивалась на мелочи. Было в этом свойстве ее что-то мужское, хотя внешний облик был предельно женственен. Вот уж кому подходило существительное — человек, с непременным прилагательным — хороший.

На следующий же день по прибытии Лёлей в лагерь вечером беспокойно завыли сирены. Лёли защебетали, заохали, забегали. Пришел Бобка и уволок всех в бункер. Отбой был поздно. Вернувшись в свою комнату, Лёли нашли всю семью в сборе.

— А где же вы были во время тревоги? Почему вас не было в бункере?

— Нам, остам, не разрешается ходить в бункер, — ответила Тата.

— Как?! — Это был не вопрос, а крик, вопль.

Тата, как могла спокойнее, пряча унизительную горечь, объяснила, что прежний лагерфюрер говорил, что если русских станет меньше, то от этого немцам только выгоднее, больше места останется. А Бобка просто не видит нужды изменять раз установившийся порядок.

Лёли были возмущены и подавлены. На следующий день Леля прихворнула и пролежала весь день в постели. Но когда в темноту зимнего вечера опять ворвались сирены, она решительно отказалась итти в бункер. Вместе с нею осталась и Лёля. Они сделали это так просто, так по-хорошему, что никому не стало ни больно, ни неловко, как это всегда бывает при ненужно-героической выходке кого-нибудь, не созданного для геройства. Обе Лёли отправились с Татой в барак к девушкам и там во всю бомбежку не утихали песни. У Лели было красивое сопрано. Бедняжка почти не могла петь, так как давно и серьезно болела. А Лёля со своим чуть скрипучим альтом и абсолютным слухом могла вторить любой, даже незнакомой, песне.

На следующий день все остальные Лёли отказались от

бомбоубежища. По этому поводу все невероятно расшумелись. Милая Шурочка произносила пламенные речи на тему «мы же все русские», Лёли щебетали о «национальной гордости», о «равенстве и братстве» и, довольные собой, при первой же сирене забрались в девичий барак. Бобка только руками развел и резюмировал кратко: бабы.

И вот сумерничанье в дрожащем от далеких взрывов бараке, тесное общение с «остовками», новые песни и новые рассказы — всё это как-то обогрело и упростило тех чудаковатых светских Лёлей, что в ноябрьский вечер вылезли из грузовика. А с другой стороны, все вместе и каждая в отдельности, советские женщины поняли, что вот так отказаться от безопасности, побороть страх и смертную тоску, и, не получив никакой особой благодарности за это, всё-таки просиживать налёты в темноте барака и петь песни, — это вот что-то такое, перед чем надо снять шапку. И уже никого не обижали восклицания: «ну, уж вы, советские!» или «ох, уж эти мне старые эмигранты!»

Среди этих, волею слепого случая собранных остовок, Лёли всё искали «тургеневских девушек» и сильно огорчались, что не находят их. Правда, внешне любая из остовок того лагеря могла сойти за таковую. То-есть почти у всех девушек были длинные, толстые косы, которые или сворачивались на затылке котлеткой, или короной окружали девичью голову. Почти никто из девушек не красился, и, несмотря на то, что по воскресеньям гурьбой отправлялись в мужской лагерь на танцульку, большинство из них были действительно девушками, скромными и чистыми. Но словесность, манеры, вкусы! Вот что приводило институток-Лёлей в отчаяние. Уж очень просты и грубы были эти кандидатки в тургеневские девушки и в Татьяны. Ближе всех к этому идеалу была, конечно, Тата. И не только потому, что у нее за спиной были два семестра литературного факультета — в лагере не было девушек не кончивших семилетку, много было и с десятилеткой — нет, просто за всё свое обличье и манеру держаться она была удостоена

этого высокого имени. Её считали самой интеллигентной. Но и тут не обошлось без ложки дегтя. Тата, по мнению Лёлей, уж слишком была велика и сильна для сумеречных тонов тургеневского идеала. Ей бы тростинкой быть, а от нее веет физической силой и несокрушимым здоровьем. Ну, какая уж тут Лиза Калитина!

Да, потешный женский мирок образовался в этом лагере. Может быть, будь этот мир смешанный, будь тут мужчины и дети, это было бы иначе. Но так, когда почти в чистом виде, ничем не разбавленные, столкнулись «старые» и «новые» женщины, получилась своеобразная физическая смесь, над которой должны были потрудиться чужбина, тяжелая работа, унижения и налёты, чтобы из физической смеси получился хороший химический состав.

Лёли были и суеверны и религиозны. Это они настояли на том, чтобы на Рождество пригласить священника. Одна из комнат служебного барака должна была превратиться в часовню. Ее надо было прибрать и украсить.

Словно дух живой был вдунут в обитательниц лагеря. Вот когда можно было стряхнуть с души обыденщину, заботы, подавленность и тоску. Лагерь пел и шумел до поздней ночи. Сборное сердце лагеря мерно и возбужденно стучало.

В комнате Таты происходили спевки. Надо же подготовиться к торжественной службе. Вот тут-то в благостное праздничное варево и подбросил чёрт солúнки. На спевках только что до рукопашной не доходило. Нот нет, книг, кроме Евангелия и молитвенника, тоже нет. Всё по памяти надо было восстанавливать. Но вот горе, каждый помнил только такое, чего другой никогда в жизни не слыхал. Да потом еще вечное «у нас» да «у вас». Лёли были убеждены, что они в церковных делах лучше разбираются. Старая де эмиграция — хранительница традиций. А что советские «музейные старушки» всех их вместе с их познаниями в мешок сложить могли, так это никому из них и в голову не приходило.

— Хороши традиции, — ворчала Маруся Кухарчук, — вы

изо всех молитв только начало да конец поете, а серединку выбрасываете.

— У нас, на Балканах, всегда так пели, и так правильно, — настаивала Лёля, — у нас не монастырь.

— Позвольте, Елена Борисовна, я тоже немного понимаю в церковных текстах, — скромно вступала Любовь Александровна. — По-моему, вы сейчас продиктовали начало из рождественского задостойника, а конец прибавили из «О Тебе радуется».

И с напевами была беда. Лёли знали концертное пение и восемь гласов. Советские знали больше распевы — знаменный, киевский, греческий. Да еще для вящей смуты в споры встревала Люся — белорусска. С Алтая привезла она староверческие тягучие напевы: сама-то она пела их прекрасно, но никто другой не мог к ней подстать. А записать не умели. Вот и нужно было выводить среднее арифметическое, чтобы все поняли и все пели. А когда ко всеобщему удивлению останавливались на чём-то одном и начинали стройно петь, то получалось невероятно хорошо и трогательно. Даже более трогательно, чем это подобало бы молитве.

Леля тихим, как бы бесплотным сопрано вела первую партию. К ней подставали глуховатый голос Таты и прямые, звенящие голоса остальных девушек. А второй голос вела Лёля. За нею поскрипывали «музейные старушки» и всё покрывал бархатом олин глубокий альт. И никого не удивило, когда после первого удачного исполнения задостойника, Маруся разревелась, «от воспоминаний», как она сказала. И все остальные певицы тоже заработали платками. И всё-таки это ни капельки не помешало на следующий же день взорваться очередной бомбе.

— Ну, что вы, советские понимаете? Что вы видели, кроме своей советчины? — Это они по поводу воздýхов к чаше разошлись во мнениях, как мол их надо шить.

— Что мы видели? Да уж побольше вашего!

Вы со своих Балкан за всю эмиграцию так и не слезли, а я всю Россию видела от Ленинграда до Алтая.

— Вы свои сербские песенки только слышали да болгар с шарманкой да пляшущей обезьяной видели, а я все постановки Художественного театра видела.

— А я ни одного концерта в Ленинградской филармонии не пропустила.

— А я Печковского в «Пиковой даме» слышала.

— Подумаешь, Печковский! Кто о нём заграницей слыхал? А я в Париже Шаляпина слушала!

— А я все балеты Дягилева видела!

— Ерунда ваш Дягилев, наш русский балет на весь мир знаменит.

— Так ведь Дягилев тоже русский!

Любовь Александровна примиряюще подняла руки.

— Умницы мои, хорошие, не ссорьтесь. Вот, если бы немцы победили большевиков и освободили Россию, всем вам нашлось бы место и дело в ней. Вы нас поучили бы, а мы вас. Я придерживаюсь того мнения, что эмиграция еще сыграет положительную роль, когда вернется домой. Нам есть чему поучиться у вас. Только не надо считать себя кладезем мудрости и пытаться всё на свой лад переделывать. А то можно и впросак попасть. Помните, как вы боялись в одной комнате с нами жить? А потом вас очень удивило, что какие-то старухи, похожие больше на салопниц или уборщиц, оказались весьма грамотными людьми. Мы же сначала приняли вас за дам высшего света и... тоже ошиблись.

Любовь Александровна мило засмеялась. Заулыбались и все остальные. «Мы» и «вы» опять на какое-то время объединились в дружную женскую семью.

Необычно радостно прошло Рождество. С Великим постом опять начали готовиться к церковным службам. На всю страстную с Пасхой приезжал священник. Теперь и из мужского лагеря стал приходить народ в церковь. На Пасхе решили устроить также вечер самодеятельности сообща с ребятами.

Работой, спевками и репетициями день был заполнен до отказа. Приходилось у ночи занимать.

Но вот странное дело. В лихорадочную суету предпраздничных приготовлений, опасений и надежд, у Таты вошло какое то новое, ею доселе неизведанное чувство. Это была тоска. Настоящая русская тоска. Тате казалось, что она беспричинна, что ей нет названия и определения. Но вскоре она поняла откуда берется это щемящее чувство боли, эти припадки равнодушия, это стремление остаться одной, никого не видеть и не слышать.

Весна в Баварии не похожа на весну. Тут земля не промерзает зимой насквозь, значит незачем ей и оттаивать. Значит нет и того парного духа земного, что дрожит в нагретом воздухе и теплым ветерком веет по земле. В Баварии нет запахов. Листочки на березах распустились за ночь, а запаха и не было. Зацветет яблоня или вишня, а сколько носом ни води, не услышишь их аромата. Это не то, что дóма. Там ветерок всегда приносил вести с поля и из леса, и из окрестных садов. Повернешь голову навстречу ветру и чуешь, что в лесу уже березка озеленилась, на болоте болиголов зацвел, а в соседних садах яблонный цвет уже осыпается. Да, дома жизнь была полна запахов и звуков. Разве можно сообразить, что пришла весна, если ты не слышала журавлиного курлыканья? Соловей птица южная, редкая у нас на севере. В наших лесах и болотах курлыкают журавли, покрякивают утки, сонным болотным звуком перекликаются дикие гуси, выпь сунет нос в воду и гудит трубным звуком, оповещает о весне. А Бавария лежит вне журавлиных путей. Да и птицы-то отсюда на зиму почти не улетают. Много зимующих птиц. Значит нет и радости весеннего прилёта.

Да, Тата нашла название своей болезни. Это была просто тоска по родине, по весне в Новгородском крае и по всему укладу русской провинциальной жизни. Ей не хватало тех домашних звуков и запахов, что красили жизнь на бедной и подневольной родине.

Вот в субботу Дуня-дурочка намоет-наскребет полы во всём доме. У единственной печи в кухне хозяйки в очередь пекут сдобу, кому что Бог послал. И в доме пахнет чистыми полами и печеньем. А потом все идут в баню. Веники из бани приносятся и оставляются на кухне, было бы чем подметать. И кухня наполняется банным запахом чистоты. И так уютно пахнет субботой, домом и старым Новгородом.

А белые ночи над Волховом, поездки в Юрьев монастырь; поездки с музейными старушками по всей Новгородщине на осмотр древних храмов, фресок и икон! Странная вещь тоска. Будто и стыдно ее; будто даже скрывать надо это сентиментальное чувство, недостойное нашего века. И вот ходишь, улыбаешься, работаешь, даже в споры пускаешься, а внутри всё — всё равно, ко всему равнодушие и одна мысль: хочу домой!

Тата никому этого не говорила. Раз как-то похвалила она тишину Новгорода (там нет ни трамваев, ни омнибусов), а на нее Лёли накинулись, что де советчина из нее не выветрилась еще. Она и замолчала. А сейчас ей дух весенний нужен, журавли и туман над болотом, а скажи она про это, опять скажут: советская. Еще комсомолкой назовут.

Лучше уйти, сесть на опушке леса, спиной к нему, чтобы не видеть его немецкой причесанности, думать и вспоминать. Припомнилось ей раз четверостишие:

А как только я вспомню, что этой порой,
Весна на Руси расцветает,
Так сам становлюсь я как будто не свой,
Вот за́ душу так и хватает.

Припала Тата лицом к земле и расплакалась. Именно так и чувствовала она себя в этой хмурой Баварии — словно Садко на дне морском. Нет выхода, нет надежды на избавление... а на Руси весна расцветает.

**
*

Между тем за стенами лагеря шла чужая жизнь. Чужая страна, Германия, умирала, ослепленная гордыней и властолюбием. Уже смолкли налёты и сменились артиллерией. Уже через город медленно, как раненые, проползли немецкие тан-

ки, как звери, что ползут умирать на свое звериное кладбище. Прошли с опущенными глазами какие-то солдаты каких-то разрозненных воинских частей. И затем наступила тишина. На окнах и дверях смиренно повисли белые флаги. Отвоевались. Армия погибла, и обывателю уже нет дела до нее. Он хочет жить и непременно сберечь свое оставшееся добришко.

Осты и поляки взбунтовались. В польском лагере был убит лагерфюрер, а его помощника избили до потери сознания. В соседнем мужском лагере ребята просто предложили своему лагерфюреру смыться. Зла ему не попомнили, но и слушаться перестали. В женском лагере Бобка со всеми распрощался, каждому сказал что-то ласковое, сам назначил себе преемника — Тату, и провожаемый напутствиями и пожеланиями бодро зашагал по дороге в город. И вот думается мне, что если ангел правосудия наблюдал перемену власти в этих трех лагерях, то рассудив всё и взвесив, наверно с удовлетворением кивнул головой. Иначе и не могло получиться. Каков поп — таков и приход. Каждый лагерь по своему внутреннему достоинству расплатился с начальником, и каждый начальник по своим заслугам получил благодарность.

Первого мая вошли американцы. Начались бесчинства и грабежи. Грабили бесчисленные военнопленные всех национальностей, расположенные в мелких и крупных лагерях вокруг города. Грабили и изголодавшиеся осты. Грабили все.

Предметом грабежа были склады НСФау Народной помощи.

Утром Анастасия Васильевна отправилась за молоком. Выдавали по 2 литра цельного молока на человека. Как тут не постоять в очереди. Когда она к обеду вернулась в лагерь, дочерей не было дома. Не было и Лёли и Шурочки и их ближайших подружек.

— Они все склад грабить пошли, — сухо известила Любовь Александровна.

— Как — грабить? Мои дочери пошли грабить?

— Не только они, им бы еще простительно, — отозвалась Леля, — но и моя старая дура с ними отправилась.

У Анастасии Васильевны опустились руки. Вот что значит прожить два года в обществе простых людей, в вечном страхе и унижении. Человек теряет чувство собственного достоинства. Пошли грабить! Нет, их надо непременно вернуть.

Леля и Анастасия Васильевна направились к складу. Еще не доходя до склада они услыхали совершенно невероятный шум, состоявший из звона посуды, грохота металла и разноголосых и разноязыких восклицаний.

— Берегись! Отойди в сторону! — и огромный ящик летит из окна второго этажа. Он раскалывается и посуда белыми черепками усеивает улицу.

— Хэнде вег! — кричит немец, отгоняя какого то оста от своей тележки, на которую успел уже нагрузить изрядное количество свертков материи и две детских ванночки. Крик, ругань, восклицания на всех языках Европы и на всех славянских языках.

— Господи, это Вавилон какой-то! — застонала Анастасия Васильевна. — Ну, где ж я найду здесь Тату и Олю?

— Ничего, подождем. Это уже не так и страшно. Смотрите, вон мальчишка шоколад ест. Бедненький, он наверно от рождения сладенького не видел.

Леля и Анастасия Васильевна стояли в стороне и смотрели. Леля первая заметила, что беспорядка, в сущности, нет, что будто даже очередь образовалась какая-то. Неужели же люди одумались? Из общего гула стали выделяться отдельные голоса:

— Оля, поставь свою очередь ближе к стене, чтобы она с моей не мешалась.

— Елена Борисовна, берите просто по одной буханке и давайте каждому в руку.

— Вот это правильно. Василий и Николай, следите, чтобы здесь затора не образовалось.

Это всё звенел голос Таты, отдававшей приказания. Его покрывал высокий тенор Василия:

— Эй, не толкайся, не спеши, всем хватит!

— Ребята, посуду не бить! Нам она ни к чему, а немцы дома, им пригодится!

Шурочка звонко наводила порядок среди ребят, обступивших её. Она стояла над огромной бочкой с «мальцем». Суповым черпаком она доставала сладкое месиво и разливала по чашкам. Ребятам было не утерпеть. Они лизали сласть тут же, не отходя от бочки. И Шурочка лизала. И она, и ребята, и бочка — всё было вымазано коричневой сладкой массой. Но все были довольны.

— Анастасия Васильевна, право потешно. Посмотрите, ведь наши установили порядок, любо посмотреть.

— Мама, ты тут? Вот умница. Стой и сторожи, а мы с Татой будем складывать около тебя свою долю. Вот в эту ванночку всё и сложим. — Оля брякнула около матери ванну, уже наполненную хлебом и колбасами и быстро скрылась.

— Она с ума сошла! Я буду краденое сторожить! Нет, с ними необходимо серьезно поговорить. Мы всё это вернем назад.

— Кому вернете, Анастасия Васильевна? Ведь немцев-то нет, у американцев своего довольно, а мы наголодались.

Понемногу стало смеркаться. Мимо Анастасии Васильевны и Лёли текла шумная людская река. Вот идут болгары. Они звонко перекликаются и поют. На шее у одного круги колбасы и велисопедные шины. У другого подмышкой буханок хлеба и сверток материи. Прошли мимо французы. Они грызли шоколад и размахивали бутылками немецкого брандвейна. Проползли мимо немцы. У каждого тележка доверху нагруженная посудой, мешками с мукой и одеждой.

Ванночка рядом с Анастасией Васильевной тоже наполнилась до краев. Подбегала и Лёля. Сбросив около Лели свою ношу, коротко приказывала: стереги, и мчалась назад в темноту склада. Тата не появлялась, но её голос звенел и приказывал то во втором этаже, то внизу, то на улице.

Совсем стемнело. Темнота положила конец этому человеческому буйству. Совершенно охрипшие и одуревшие от усталости собрались обитательницы женского лагеря около

Лели и матери. Оказалось, что все лели были налицо. Тата утирала пот новым, хрустящим платком и уже совсем усталым голосом сказала:

— Мама, ты возьми вот только эти два свертка, а ванночку мы с Олей донесем.

— Чтобы я краденое несла домой? Нет, этого не будет!

— А зачем ты тогда над краденым стояла и его сторожила?

Не зная что ответить, Анастасия Васильевна разгневанная зашагала одна в темноту вечера.

— Ай, да Тата — присвистнула Оля, — вот тебе и интеллигентка! Не только крала сама, а еще и руководила кражей. Хороша. Ну, взваливай на плечи добришко и пойдем.

Все стали разбирать свои вещи, связки, пакеты и потянулись веселым шествием к лагерю.

— А знаете, — воскликнула Шурочка, — были у Шиллера «Братья-рабойники», а у нас «Сестры-разбойницы». Тата вроде Карла Мора выходит.

— Ох, и влетит же нашим сестрам-разбойницам, — пообещала Леля, — а особенно Карлу Мору. Анастасия Васильевна не позволит им ни крошки себе оставить.

— Посмотрим.

Анастасия Васильевна быстро шагала к лагерю. Ей было страшно и грустно. Вот в Советском Союзе сколько лет прожили. Ни блатом, ни какими-нибудь поблажками не пользовались. При той страшной жизни руки остались чисты. И здесь, в остовском лагере, не опустились, не смешались с толпой. Удержались на высоте и всё хорошее и живое к себе притягивали. Немцев заставили уважать себя, лагерфюрер должен был с ними считаться. Тата всегда и везде была первая и лучшая. И в один день рухнуло всё. Её Тата ничем не отличалась от любой девушки, от любого парня из лагеря. И откуда эта дикость берется? Или она от рождения сидит в человеке и только ждет своего часа?

На дворе лагеря был разложен костер. Какие-то незнакомые люди сидели вокруг него, лежали на животах, озаряе-

мые красным светом. А вокруг стояли «свои», лагерные соседи. Анастасия Васильевна подошла к костру. Какой-то чужой паренек вел разговор. Захлебываясь от удовольствия, рассказывал:

— Как ухнули мы дверь, так и затрещала. Разломали её начисто. А уж как ворвались в склад, — тут и началось! Ребята муку и макароны ихние просто из окон выкидывали: а супы эти поганые, так ногами топтали, чтобы не есть их никогда больше. Мы всё одёжу и обувь искали. А потом один паренек нашел бутыль с керосином, да ну плескать на всё что под руку попалось. А уж тут ясно — надо зажечь. Ну, и полыхало! Смехота! Немцы воют, зачем, мол, добро жгёте, а мы хохочем да песни поем!

— Ну и дураки, — отрезал пожилой рабочий из соседнего лагеря. — Вас, сволочей, видно немцы мало плетками стегали. Зашто добра столько напортили? Мешало оно вам? Бандиты!

— А ты не фордыбачь! Сам-то грабил, небось? Что на тебе надето? Пиджак да штаны. Ты их из дому, что ли привез? Тоже, учитель нашелся!

— А ты молчи, коли дела не знаешь. Мы не грабили, а делили. У нас это дело по-интеллихентному налажено было. И немцы не в обиде и нам хорошо. А вы, посадьё, добра ценить не умеете.

— Это ты, может, грабёж то по интеллихентному налаживал? Благородный какой!

— Не я, а есть тут у нас девушка, культурная, образованная. Вот она и распоряжалась и всё это дело со своими подружками и провернула. Порядок был.

— Да, сегодня у нас интеллихенция на высоте была, — подтвердил другой рабочий.

Анастасия Васильевна, тихо посмеиваясь, отошла от костра. Когда же позже дочери с шумом и смехом вбежали в комнату, мать посмотрела на них, что-то проверила в себе и... ничего не сказала.

Т. Петровская

НОЧНЫЕ ПРОГУЛКИ

**
*

С плащем и шляпой кое-как
Повесил сердце я в прихожей,
И вот вхожу, на всех похожий,
Зевака праздный меж зевак.

Сижу в гостях за чашкой чаю,
Сухарь соседу подаю,
И вдруг со страхом замечаю
Под дверью темную струю.

За дверью горничная бродит,
След затирает на полу, —
Не сердце ль кровью там исходит
В затоптанном чужом углу?

О, как ты мог? Уйди отсюда,
Стул по дороге отшвырни,
Беги, мечтательный Иуда,
Пока не поняли они!

По улицам столбом тяжелым
Гуляет дождь, колотит град, —
Деревья на бульваре голом
Бушуют с бурей невпопад —

Где в этом мире ты пристанешь?
Кренятся утлые дома,
И все кругом, куда ни глянешь,
Лишь тьма одна, и всюду тьма.

Дыши, — вбирай в себя глотками
Широкий ветер всех дорог,
Живи громами, иль веками —
О, как ты мог! О, как ты мог!

**
*

Бесшумная осенняя прохлада, —
Весь город стал и глуше и нежней, —
Я ухожу из пасмурного сада
Без горечи, но может быть грустней.

У выхода поскрипывают глухо
Два дерева в последнем свете дня, —
Из всех прельщений памяти и слуха
Лишь этот звук доходит до меня.

На улицах темнеет понемногу,
Блеснул фонарь мечтательный, и вот —
Ложатся вдоль решетки на дорогу
Ряды географических широт.

Меридиан таинственной чертою
Их пересек, слегка наискосок, —
О, как хрустит под медленной пятою
Туманами пропитанный песок!

И в шорохе ночного приближенья
Я различаю дальнюю струну, —
Ночной земли бессонные движенья,
Земной полет в ночную глубину —

Мечтатель мой! В расстегнутой крылатке,
Дырявый зонт распялив про запас,
Ты слушаешь в блаженной лихорадке,
Как эта ночь захлестывает нас.

За кружкой пива дремлет повар,
Колпак надвинут до бровей, —
А в черном небе шумный говор
По ветру пущенных ветвей.

Он тяжко дремлет и не знает,
Как гнутся звонкие стволы,
Как мрак играющий пятнает
Его крахмальные столы.

Вот хлынул ливень. Мокрым флагом
Метнулась бабочка в окне,
И молния большим зигзагом
На миг повисла в стороне.

Покинув угол неприметный,
Я поднимаю воротник, —
Я слушаю, как гром ответный
Над дальним грохотом возник.

Поспешно шляпу нахлобуча,
Я убегаю в мир ночной,
И плащ растерзанный иль туча
Клубится низко надо мной.

Дождя летучие простыни
Трещат и рвутся в темноте, —
Дыханье бури и пустыни
В многоголосой высоте.

И, широко раскинув руки,
Я сердцем оживаю вновь, —
Так после длительной разлуки
Встречают первую любовь.

Вл. Корвин-Пиотровский

НОЧЬЮ

Одиночество

На одиночество не сетуй:
безумны люди, суетно с людьми.
Мечты, ничьим участьем не согретой,
суровую печаль, как дар, прими.

Грусть нелюдимая довлеет
взывающим о мудрости сердцам.
Великое в уединеньи зреет
не только здесь, но может быть — и там...

Как знать? Во тьме потусторонней
он будет длиться, нелюдимый сон,
и там — еще, быть может, непреклонней —
на одиночество ты обречен.

Поток

В ползучий грохот города вольюсь
и не самим собой вдруг становлюсь.
Частицей призрачной поток уносит:
подхватит, оглушит, сомнет и бросит —
куда-то за предельную черту
в уничтожающую пустоту.

Там исчезают тени, души, лица.
И нет начала, нет конца... Всё длится,
всё невозвратно, всё предрешено,
в цепи извечной — каждое звено...
А человек? а Бог? О, разум мой!
Тьма первозданная, и ты — над тьмой.

Миг

Der Augenblick ist Ewigkeit
Goethe

...И страшно стало мне
на темной глубине
от неба и земли
вдали, вдали, вдали...
Я плакать был готов,
кого-то звал без слов.

И силы я напряг,
чтоб разомкнулся мрак,
и вспыхнул... и постиг,
что вечность это миг,
во мне зажегший свет, —
что смерти в смерти нет.

Сергей Маковский

ШЕСТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

1.

Повисла ива у обрыва,
Где, размывая берега,
О, как поет у корня ивы
Быстротекущая река!

С какою щедрою игрою
Уносит вдаль она свое
Непостоянное, хмельное,
Поверхностное бытие!

Но за сверкающею гранью
Течет прозрачна и черна
Таинственнее подсознанья
Медлительная глубина,

Где ограничило движенье
Свои свободы и права,
И где вода, как вдохновенье,
Целенаправленно трезва.

2.

Напрасно я со страхом суеверным
Смотрел на стены с четырех сторон:
Каким пространством я — четырехмерным
Или четырехстенным окружен?

Я отпер дверь. Темнело. Постепенно
Один предмет скрывался за другим,
И воздух в легких шорохах, как пена
Был осязаем, но неуловим.

Он шел приливом, этот темный воздух:
Вот по колени, вот уже по грудь,
И надо лишь порог перешагнуть,
Чтоб плыть и плыть, захлебываясь в звездах.

3.

По тропинке, по лесной
Два солдата шли весной.
Их убили, их зарыли
Под зеленою сосной.

Кто убил и почему
Неизвестно никому —
Ни родному, ни чужому,
Разве Богу одному.

Через год иль через два
Прорастет кругом трава,
Всё прикроет, припокоит,
Приголубит трын-трава.

У тропинки у лесной
Запоет гармонь весной:
«Слышу, слышу звуки польки,
Звуки польки неземной».

4.

В час, когда соловьями из клетки
Запевают сердца про одно,
И черемух вскипевшие ветки,
Как бессонница, лезут в окно,

И набухшие полночью травы
Поникают до самой земли,
Под лягушечий стон из канавы
Вынимали его из петли

Слишком поздно. И было не важно,
Как трясли его по мостовой,
И как нежно и многоэтажно
До утра его клял постовой.

Только утром за белой сиренью
Отыскался бумажный листок:
Неумелое стихотворенье
На двенадцать отчаянных строк.

Закорузлой колхозной рукою
Он писал: «...бо не маю вже сил»,
Оставлял Василька сиротою,
У него же прощенья просил,

Тосковал, задыхался слезами
И писал малограмотно он.
Но такой уже, видно, закон
Чтоб о самом о главном — стихами...

5.

Как круги на воде, расплывается страх,
Заползает и в щели и в норы,
Словно сырость в подвалах, таится в углах,
Словно ртуть, проникает сквозь поры.

Дверь на крюк. Но тебе не заклясть свой испуг
Конурою, как норы, понурой:
Он порочен твой круг, твой магический круг,
Нереальный своей квадратурой.

За окном, где метель на хвосте, как змея,
Вьется кольцами в облаке пыли,
Возвращается ветер на круги своя
И с решетками автомобили.

Горизонт, опоясавший город вокруг,
Застывает стеною сплошною...
Где-то на море тонет спасательный круг,
Пропитавшийся горькой водою...

А вдали, где полгода (иль более) мрак,
Где слова, как медведи, косматы:
Воркута, Магадан, Колыма, Ухтпечлаг...
Как терновый венец или Каина знак —
Круг полярный, последний, девятый.

6.

Он прожил мало: только сорок лет.
В таких словах ни слова правды нет.
Он прожил две войны, переворот,
Три голода, четыре смены власти,
Шесть государств, две настоящих страсти.
Считать на годы — будет лет пятьсот.

Николай Моршен

**
*

На самом дне в зелёном жбане
В перелицованном жупане,
Не говоря ни да ни нет
Сидит подстриженный поэт.

Над ним плывут по небу тучки,
Но он сложил спокойно ручки
И прикусил себе язык,
Сказав, что к этому привык.

И лебеди в порочном страхе,
И дева в ситцевой рубахе,
И розы, звезды, соловей
И с ними Дядька Чародей

Бегут в неистовом испуге
К уравновешенной супруге
Сказать, что стриженный поэт
Не говорит ни да ни нет.

**
*

Стоят в аптеке два шара:
Оранжевый и синий.
Стоит на улице жара
И люди в парусине.

Вхожу в аптеку и шары
Конечно разбиваю,
В участке нет такой жары
А цвет сейчас узнаю.

Горит оранжевый расцвет
На синей пелерине.
Отлично выспался поэт
На каменной перине.

**
*

Скрылись бесы под плащём зелёным
Над землёй застывшей навсегда
И пытаются железом раскалённым
Воскресить вчерашнее Ура!

Тучи ос — бесовская отрада —
Жалят мертвые сердца людей,
И во тьме церковная ограда
Шелестит как стая лебедей.

Черный бык, передними ногами
Упершись в полузарытый ров,
Сильными короткими рогами
Отрывает нужных мертвецов.

Месяц светит над невестой бывшей,
Освещает жёлтые поля
И в пространстве звездочкой остывшей
Вертится озябшая земля.

**
*

Как нежно ветер над полем стелится.
На нем равноправные лежат мертвецы.
Слегка по утру завеет метелица.
Рцы, Господи праведный, рцы!

Никто не верует да и не молится
Тебе, о Господи, лишь мертвецы.
Над ними месяц на землю клонится.
Рцы, Господи праведный, рцы!

Юрий Одарченко

**
*

На заре вернувшись с бала
Я усталая легла.

В снежной пене, в лунных стружках
Застилая зеркала,
Легкий сон на одеяло
Наплывает из угла.

От усталости в подушках
Догорая вся до тла —
До чего-же я устала,
До чего я весела!..

Если б жизнь начать сначала
Я такой бы не была:
Никому бы я не стала
Делать ни добра, ни зла.

А была бы я лягушкой,
Квакающей у пруда.
(Спит вода, блестит звезда...)

Или в крапинку кукушкой,
Что усевшись на суку,
День деньской твердит ку-ку,
В средних числах сентября,
Не пророча, а для смеху
Рыжим листьям на потеху.

Или — если уж нельзя —
Соглашаюсь я — изволь,
Стать простушкою пастушкой
На которой, хоть и зря,
В сказке женится король.

**
*

Не правда, не правда, что прошлое мило,
Оно как раскрытая жадно могила
Мне страшно в него заглянуть.
Забудем, забудьте, забудь...

...По синим волнам океанится парус...
— Налейте вина и возьмите гитару,
Давайте о завтра мечтать...

О, спойте скорей Лебединую Песню,
Чтоб завтра казалось еще неизвестней,
Еще безнадежней, печальней, прелестней,
Чтоб завтра не стоило ждать...
Про черные очи,
Про жгучие ночи...

А парус белеет навек одинокий,
Скользя по волнам в байроническом сплине,
В пучине стихов от шампанского синей...
И вот наконец исполняются сроки,
И эти мои полупьяные строки...

— Прощайте, прощайте, пора...
Прощайте.
Желаю вам счастья...
Но разве так поздно?
Нет, здравствуйте, здасьте.
Уже не сегодня, еще не вчера,
Еще далеко до утра...

**
*

Дни лучезарней и короче,
Полны сияньем звездным ночи,
И снова наступает осень
Золототканным торжеством.

О, до чего же мир несносен
В однообразии своем.

Однообразие веселья,
Бессмыслицы однообразья,
Тюльпаны вянущие в вазе,
Взлёт и падение качелей,
Круговращенье карусели...
Часы, минуты, дни, недели
Сгорают точно мотыльки
На белом пламени похмелья,
На черном пламени тоски.

— Ты знаешь, как люблю я жизнь,
Да, несмотря на все потери,
Но ты ответь мне, ты скажи,
Пустынная моя душа,
Чем мне дышать?
Чему мне верить?

Ирина Одоевцева

ПОСЛЕ БУНИНА

Бывают смерти, когда оплакивать приходится не покойника, а остающихся в живых. Покойник прожил долгую творческую жизнь и совершил всё ему положенное. Он никогда не принадлежал к «властителям дум», не был писателем «создавшим эпоху», не возглавлял направления, не имел шумной толпы поклонников, которых удерживал на расстоянии исходивший от него аристократический холодок; его не столько любили сколько чтили. Но он был «последний русский классик», как сказано в одном объявлении о его смерти. Про него можно сказать то же самое, что Андрей Белый писал, когда-то про Брюсова. «Он — поэт рукоположенный лучшим прошлым. Только такие поэты имеют в поэзии законодательное право».

Очень хорошо это слово «рукоположенный». Оно выражает исконную, мистериальную черту русской литературы.

Старик Державин нас заметил
И в гроб сходя благословил.

Пушкин дорожил этим благословением, как родительским. Еще больше дорожил благословением самого Пушкина — Гоголь. А Достоевский признавшийся, что «все мы вышли из Шинели Гоголя» — указывает на продолжавшуюся из поколения в поколение хиротонию. Литературная благодать дошла до наших дней в лице Бунина и пресеклась. Кончается династия помазанников, начинаетя безблагодатный период. Русская литература чувствует себя сейчас так, как, вероятно, будет чувствовать последний человек на земле, когда останется совершенно одиноким перед лицом наступающих ледников. Говоря «русская литература», разумеем, конечно, литературу эмигрантскую. Что бы ни писали журналисты, — в СССР ее не существует. Там уже ледники. Большевики редко говорят о себе правду. Только когда меняется политический курс или низлагается крупный сановник, деятельность которого подвергается полному разоблачению, — их как бы прорывает. Тогда срываются завесы, обнажаются тайны, и «в порядке самокритики» сыплются ужасные признания и откровения. Совсем недавно, в

журнале «Знамя» появилась статья И. Эренбурга «О работе писателя», где среди обязательных славословий и превознесений советской литературы разбросаны пространные высказывания о ней, дающие образ такой деградации, такой пародии на искусство, нарисовать который мог позволить себе только крупный вельможа и то с благословения высшей власти. Статья Эренбурга — ценнейшее свидетельское показание, вернее — признание убийцей совершенного им преступления. Смысл его саморазоблачений ясен: большевики ищут способ гальванизировать труп ими же зарезанной русской литературы. Попутно выдается свидетельство в том, что она действительно зарезана[1].

Всё, что сохранилось от исторического древа российской словесности, о чем еще можно пещись и что можно спасать — находится здесь, заграницей. Мы не случайно употребили слово «спасать». Спасенное, в свое время, уходом от большевистского режима, оно нуждается ныне снова в спасении. Смерть Бунина обнаружила это с полной очевидностью. Умирая, скиптроносцы литературы оставляют ее один на один со стоглавым, стозевным, давно, казалось, исчезнувшим чудовищем грозящим ей полной гибелью. Как в американском фильме: от атомного взрыва, на далеком севере, пробуждается исполинский ящер пролежавший во льдах десятки тысячелетий в состоянии анабиоза. Оживленный, он начинает топить корабли, опрокидывать маяки, и добравшись до Нью Йорка, давит людей и разрушает дома. Год от года, всё отчетливее, проявляет свои очертания в нашей литературе такой дракон. Из всех Сцилл и Харибд подстерегающих российскую словесность — это самое страшное. Кто хочет понять о чем идет речь, должен перечитать знаменитую сцену в «Отцах и детях», где Аркадий Кирсанов, ласково отнимая у отца книгу Пушкина, подсовывает ему «Stoff und Kraft» Бюхнера. Этому предшествовал разговор с Аркадием Базарова: «Твой отец — добрый малый; но он человек отставной, его песенка спета. Он читает Пушкина. Растолкуй ему, что это никуда не годится. Ведь он не мальчик. Дай ему что-нибудь дельное». В этой, казавшейся когда-то курьезной, а ныне очень страшной сцене — завязка драмы русской литературы.

---

[1] Эти строки были уже написаны, когда появилась превосходная статья Глеба Глинки в № 35 «Нов. Журнала». Отсылаем к ней читателя. *Н. У.*

Тургенев ничего в ней не выдумал. Призыв вышвырнуть Пушкина за окно, как вздорное, ребяческое чтение, раздавался в его время со страниц толстых журналов. От печатного слова требовали «дельности». Нечесаные студенты, на своих вечеринках в накуренной комнате, произносили яростные речи против Фета, Пушкина и Гёте, именуя их не иначе, как «тунеядцами», «паразитами», даже «негодяями». Ставилась задача всемерного их развенчания и осмеяния. Писарев требовал «сделать так, чтобы русский человек, собирающийся вздремнуть или помечтать, постоянно слышал в ушах своих звуки резкого смеха, сделать так, чтобы русский человек сам принужден был смеяться над своими возвеличенными пигмеями — это одна из самых важных задач современного реализма. Вам нравится Пушкин? Извольте, полюбуйтесь на вашего Пушкина. Вы восхищаетесь «Демоном» Лермонтова? Посмотрите, что это за бессмыслица. Вы благоговеете перед Гоголем? Попробуйте понять сначала его изречения. Вам хочется уснуть под сенью общих авторитетов поэзии и философии? Докажите сначала, что эти авторитеты существуют и на что-нибудь годятся. Вот как надо поступать с русским человеком. Не давайте ему уснуть». Уснуть, в понимании Писарева, значит увлечься Пушкиным и Лермонтовым. Вальтера Скотта и Ф. Купера он прямо называет «усыпителями человечества», а исторический роман «одним из самых бесполезных проявлений поэтического творчества», потому что «в наше время, когда надо смотреть в оба глаза и работать обеими руками, стыдно и предосудительно уходить мыслью в мертвое прошедшее, с которым всем порядочным людям давно пора разорвать всякие связи».

Сколько знакомого в этой тираде! И подчеркивание какого-то особого значения «нашего времени», на котором исключительно следует сосредотачивать внимание (как будто искусство способно уйти от своего времени), и «мертвое прошедшее» с которым необходимо порвать связи (как будто оно не то же самое настоящее, только своеобразным путем воспринимаемое), и постоянная забота — не дать читателю уснуть, уйти в «чистую поэзию». Кто прожил два или три десятка лет под Советами, тому это знакомо, как «кошмар минувшей ночи». Фразеология шестидесятников отделена от нас почти столетней давностью, но получила в наши дни небывалое распространение. Она означает цельный, законченный взгляд на искусство и на литературу. Она — не специфически русское явление. Начали его проповедывать, кажется, французские

рационалисты типа Дидро, от которых он был воспринят идеологами революционного движения и социализма. Нечто подобное нашему шестидесятничеству наблюдалось почти во всех странах. В Германии, Людвиг Бёрне поносил Гёте, примерно в тех же выражениях, в каких у нас поносили Пушкина. Но нигде, кроме России, эта идеология не доведена была до своих логических пределов и не породила такого числа фанатических последователей. Европа пережила ее, как сравнительно легкую болезнь, тогда, как в России она просуществовала до большевистской революции, сделавшей ее своим знаменем. Правильнее всего было бы определить ее, как утилитаризм.

У нас сейчас всё более ширится взгляд на 60-е годы, как на реторту, в которой зарождался гомункулюс большевизма. Читателям «Нового Журнала» известна интересная статья Н. Валентинова «Ленин и Чернышевский», где прекрасно показано, как эстетические воззрения 60-х годов впитаны были Лениным вместе с политическими и философскими учениями того времени. Они сделались таким же обязательным признаком большевистского мировоззрения, как экономическая и социалистическая доктрина Маркса. Хотя у большевистских руководителей искусства чаще всего наблюдается превознесение трудов Чернышевского и Добролюбова, но тайной их любовью является самый крайний из шестидесятников — Писарев. В этом убеждает анализ их политики и все высказывания об искусстве. Чего стоит один термин «социалистический реализм»! Рассказывают, что когда И. Эренбург приезжал (до «измены» Тито) в Югославию для собеседования с тамошними литераторами, зашел разговор о социалистическом реализме. «Вы знаете, что такое социалистический реализм?» — спросил кого-то высокий гость. Тот смиренно сознался, что не знает. «И я не знаю», — признался, в свою очередь, Эренбург. В СССР нет и не существовало человека, включая самого автора лозунга — Сталина, который бы мог толком объяснить, что это такое. Если социалистическим может быть реализм, то почему не мог бы быть таковым импрессионизм, романтизм или натурализм, зачем понадобилось отстранить эти направления от служения социализму? Фактически они и не отстранены. Из устава союза советских писателей видим, что в задачу социалистического реализма входит показ «революционной романтики социалистической действительности». Тот же Эренбург свидетельствует, что «социалистический реализм не литературная школа, он допускает множество различных художественных приемов». Социализму, как известно, служат вче-

рашние футуристы, имажинисты, сохраняя все особенности старой своей формы. Это не мешает именоваться им социалистическими реалистами. Постичь загадочный термин исходя из обычного понимания слова «реализм», как всем известного направления в искусстве, невозможно. Есть только один путь: попытаться установить, не употреблялось ли когда-нибудь это слово в ином смысле? Стоит задать такой вопрос, как положительный ответ сразу последует. Употреблялось. Писарев в 60-х годах вкладывал в него такой смысл, без которого разгадка пифического бреда Сталина невозможна. Под реализмом он разумел не литературное направление, а скорее неотъемлемый признак всякого искусства вообще. «Кто не реалист, тот не поэт, а просто даровитый неуч или ловкий шарлатан, или мелкая, но самолюбивая козявка». Искусство не может не быть реалистичным, если хочет, чтобы его признавали, как ценность. Этот тезис прочно воспринят большевизмом. Возьмите любую советскую энциклопедию, любой терминологический словарь, тот же устав союза советских писателей, и везде под словом «реализм» прочтете: «основной метод искусства и литературы».

Основной. Это значит — вне реализма не может быть ни искусства, ни литературы. Большевики с молоком матери всосали эту идею еще в дореволюционный период своего существования и пришли к власти убежденными «реалистами». В первый год своего владычества, когда им было не до искусства, они терпели бросившихся к ним на шею «левых» — Альтмана, Татлина, Пуни, Маяковского, Асеева и всех эпигонов футуризма, но потом твердо и решительно дали им отставку. Кто не реалист, тот не художник.

Но что такое реализм и реалисты? На это у Писарева можно найти такие ответы: «Вполне последовательное стремление к пользе называется реализмом и непременно обусловливает собою строгую экономию умственных сил, т. е. постоянное отрицание всех умственных занятий, не приносящих никому пользы». «Реализм, сознательность, анализ, критика и умственный прогресс — это равносильные понятия». Об искусстве, как видим, здесь даже не говорится. Широта писаревских определений такова, что обнимает не одно искусство, но все «умственные занятия». Эпитет «умственный» особенно подчеркивается. «Реалистами могут быть, в настоящее время, только представители умственного труда». Отсюда, совершенно очевидно, реализм означает господство ума, мысли. Произведения, в которых не обнаружено рационального начала, при-

знаются пустыми, ненужными побрякушками. Так, басни Крылова забракованы Писаревым, как «робкие намеки на сильный ум, который никогда не может и не осмелится развернуться во всю свою ширину». За Шекспиром, Байроном, Шиллером, Гейне и Мольером признаны кое-какие достоинства, единственно потому, что у них можно найти «несколько дельных и умных мыслей». «Мысль и только мысль может переделать и обновить весь строй человеческой жизни». Художнику-реалисту и задачи ставятся своеобразные: «реалист должен думать только о тех людях, которые могут проснуться и превратиться в реалистов». Реалистами, значит, могут быть не только пишущие. Писарев мечтает о таких временах, «когда реализм войдет в действительную жизнь» т. е. когда подавляющее количество населения станет реалистами. К этому «светлому будущему» (тоже писаревское выражение) должны вести человечество современные реалисты. Не будем увеличивать количество цитат; смысл их ясен: реализм — не течение в искусстве, не школа, а умонастроение, мировоззрение, политическая доктрина, преследующая «идею общей пользы или общечеловеческой солидарности». Скажем сразу: реализм Писарева как две капли воды похож на социализм. Конечно, этот социализм, по всем признакам, — утопический, но ведь и мы постепенно приходим к мысли, что иного социализма, кроме утопического, пожалуй, и не существовало. Писарев не мог, по цензурным условиям, открыто заниматься его пропагандой, не мог даже называть его по имени; он дал ему псевдоним популярного в то время литературного течения. Вот почему большевики и все наши революционеры очарованы были словом «реализм». Присовокупив к нему эпитет «социалистический», они превратили всё выражение, с точки зрения Писарева, в тавтологию, а простого смертного заставили ломать голову над его загадочностью. Сталин вряд ли читал самого Писарева и вряд ли знал шестидесятнический смысл «реализма», но он усвоил это слово в социал-демократическом подполье в том туманном, но сакраментальном смысле, в каком оно дошло до начала XX века от 60-х годов. Он успел усвоить идею близости этого термина к политическому движению, которому посвятил жизнь, и когда провозгласил реализм «основным методом искусства и литературы» — снабдил его, для большей прочности, эпитетом «социалистический».

***

И вот, в СССР происходит воскрешение идеологического монстра шестидесятых годов со всем его глубоким презрением к искусству, как таковому, с подчиненностью его практическому знанию и политической мысли, с признанием за ним чисто служебной роли. Усваивается мысль Писарева, выраженная в свое время в откровенно циничной форме — воспитывать народ с помощью искусства, как малых ребят. Ведь дети «читают только то, что их забавляет». Надо забавное чтение использовать для преподнесения им серьезных идей: «увидело дитя малое червонец — давай его сюда! Цаца! Увидело золоченый орех и к ореху потянулось. Тоже цаца! Ну, вот и надо, чтобы научные идеи всегда были размалеваны, как цацы. Пускай дитя малое играет этими цацами. Они помогут ему расти». И есть у него еще одно высказывание, глубоко запавшее в душу нашим преобразователям общественного строя: «Капля долбит камень non vi, sed saepe cadendo (не силой, но часто повторяющимся падением), и романы незаметно произведут в нравах общества и в убеждениях каждого отдельного лица такой радикальный переворот, какого не произвели бы без их содействия никакие философские трактаты и никакие ученые исследования». Не заключен ли в этих отрывках весь смысл литературной политики советской власти?

Что литература обязана служить задаче преобразования общества, сделалось аксиомой не у одних большевиков. В пореформенной России, вся прогрессивная интеллигенция ревностно ее преследовали. Издательство «Посредник» в 80-х годах печатало специальное обращение «ко всем лицам стоящим близко к народу», в которых, между прочим, просило ответа на вопрос: «В окружающей вас местности — какие из самых грубых предрассудков или суеверий требуют настоятельного и немедленного разъяснения и возможно ли разъяснение их или, по крайней мере, помощь в разъяснении их путем литературы»? Здесь «литературное обслуживание» населения близко к своему административному воплощению на манер земского школьного дела или организации медицинской помощи.

Всякий вступающий на такой путь понимания задач литературы, попадает в полный и неизбывный плен к писаревщине и к большевизму — ее логическому завершению. Он уже не имеет права протестовать против того, что Ленин писал в 1905 году в «Новой жизни»: «Литературное дело не может

быть индивидуальным делом, независимым от общего пролетарского дела. Долой литераторов беспартийных! Долой литераторов сверх-человеков! Литературное дело должно стать колесиком и винтиком одного единого великого социалдемократического механизма». В чем угодно, но в логике этому рассуждению отказать нельзя. Раз искусство призвано служить обществу и преобразовывать его, то оно и должно находиться под контролем и руководством преобразователей. В этом залог наиболее целесообразного его использования.

Нельзя возражать и против требования Маяковского — «разбить вдребезги сказку об аполитичном искусстве», против его же утверждения: «поэзия начинается там, где есть тенденция». Как известно, это привело к взгляду на искусство, как на агитацию. Стихи: «Выхожу один я на дорогу...» представляются Маяковскому «агитацией за то, чтобы девушки гуляли с поэтами. Одному, видите ли, скушно». Лермонтов, по мнению Маяковского, прекрасно справился с своей агитационной задачей, и мастерству его следует поучиться. Пролетарское дело сразу бы подвинулось, если бы дать такой же силы стих, но «зовущий объединяться в кооперативы».

Усвоивший идею служебного назначения искусства не может не согласиться с большевистским учением о его классовой природе, о том, что оно всегда кому-нибудь служило — в дворянском обществе — дворянству, в капиталистическом — буржуазии, а в наши дни должно служить пролетариату. По Ленину, «свобода буржуазного писателя, художника, актрисы, есть лишь замаскированная зависимость от денежного мешка. Мы, социалисты, разоблачаем это лицемерие, срываем фальшивые вывески, не для того, чтобы получить неклассовую литературу и искусство (это будет возможно лишь в социалистическом внеклассовом обществе), а для того, чтобы лицемерно свободной, а на деле связанной с буржуазией литературе противопоставить действительно свободную, открыто связанную с пролетариатом литературу».

Утилитаризм не обязательно приводит к большевизму. Любая другая доктрина, в том числе антибольшевистская, может его исповедывать и может разработать такую же стройную, законченную систему применения искусства в своей политической борьбе. Все небольшевистские тоталитарные режимы обнаружили к этому склонность. Присущ утилитарный

взгляд на искусство и некоторым очень почтенным институтам в демократических странах. Только степень культурности и особые общественно-политические условия были причиной того, что нигде кроме СССР искусство не претерпело такого жестокого ущемления. Но, несомненно, всякий поддавшийся бесу утилитаризма, теряет душу; он — потенциальный убийца искусства. Он — «большевик навыворот».

Эта опасность и грозит сейчас последнему очагу российской словесности здесь, за рубежом. На эмиграцию ползет тот самый ящер, что погубил литературу в советской России. Пушкина у нас еще не вырывают из рук и не подсовывают вместо него Бюхнера и Либиха, но проповедь применения литературы для политической борьбы уже раздается настойчиво, с напором, с темпераментом, с употреблением характерной фразеологии. Примеров тому немало, на них указывалось в печати. Были конкретные предложения поэтам — вдохновиться тем-то и тем-то. Когда появился протест против таких чисто РАПП-овских замашек, покойный И. Л. Солоневич выступил с громыхающей передовицей в их защиту[2]. Со свойственной ему «широтой» и «прямотой» он отказался от какого бы то ни было деликатного обращения с литературой заявив, что если в эмиграции есть смысл ею заниматься, то только в связи с политическими задачами. Эмиграция, по его мнению, такая дыра, что в ней ничего вообще быть не может. Существует здесь не более двух-трех писателей, кое-как живущих, «доедающих свою дореволюционную славу», всё остальное — дрянь нестоющая внимания. В среде новой эмиграции «писателей нет и быть не может». Чтобы писать, надо иметь «Ясную Поляну», либо «Село Михайловское». Свой собственный «настоящий» роман, начатый им лет двадцать тому назад, где-то под Москвой, Солоневич считал возможным закончить только в будущей монархической России. Сейчас «для чистой литературы нет ни времени, ни пространства, ни денег». Какая там литература, когда люди проходят через ужаснейшие испытания, через войны, тюрьмы, пытки, расстрелы! Когда царит такой ужас, то гораздо охотнее, по его словам, читают «Беспризорников» Н. Воинова, чем воспоминания А. В. Тырковой.

Солоневич, конечно, не одинок, он и выступил, как было сказано, в защиту своих единомышленников. А единомышленников у него много. Нам, по крайней мере, известно, что

[2] См. «Наша Страна» № 140, 20 сент. 1952.

молодые писатели, так же как и он, кипели и бурлили: «нам не позволяют бороться с большевизмом!». Это были, по преимуществу, так называемые новые эмигранты, Писарева, может быть, в руках не державшие, ругающие, вероятно, его, как предтечу большевизма, но воспринявшие его учение че-рез советскую школу, через советское искусствоведение, че-рез самую советскую литературу. Большинство из них не только не знают дореволюционной литературной среды, но и нэповский период, с его значительными остатками прежней российской культуры, им неизвестен. Они взошли на статьях Лелевича, Зонина, Ермилова, Киршона, Кирпотина, на искусствоведческих трудах Маца и Зивельчинской. Иной взгляд на искусство, кроме сугубо утилитарного, им не известен. Они воспитаны на расписывании «цац».

Было бы, однако, несправедливо приписывать этот грех одной только новой эмиграции. Людей с шестидесятническим складом немало и среди «старых». Причину надо искать в той школе, которую они прошли в молодости — либо как земские деятели и журналисты, либо как члены либеральных групп и партий, либо как участники революционного подпо-лья. Все они пили когда-то из одного и того же источника. Литературное credo Чернышевского, Добролюбова, Писарева дошло до них, если не в подлиннике, то в переводе — в критических статьях Н. К. Михайловского, в трудах А. Пыпина, даже в лекциях по литературе С. А. Венгерова, не говоря о тысячах других источников. Когда Ленин, в 1905 году, написал в «Новой жизни» цитированную выше статью о партийности в литературе, никто из левого стана ему не возражал и от него не отмежевался. Ему позволили говорить от имени всей социал-демократии. Даже из кадетского лагеря, к которому тяготели некоторые деятели «Мира Искусства» — не последовало отпора. Ответ ему дан был на страницах «Ве-сов»[3], где некто писавший под псевдонимом «Аврелий», на-звал Ленина и ему подобных «врагами прогресса». Обращаясь к ним от имени всего писательского и артистического мира, он высказал настоящее пророчество: «Если бы осуществилась жизнь социального, «внеклассового», будто бы «истинно свободного» общества, мы оказались бы в ней такими же отверженцами, такими же poètes maudits, каковы мы в обществе буржуазном». Многие из теперешней эмиграции были в то

[3] № 11. 1905 г. По справке, полученной от А. М. Ремизова, «Аврелий» был — В. Я. Брюсов. *Н. У.*

время врагами того журнала и той литературы, к которым принадлежал автор отповеди Ленину. Эта литература, дерзнувшая заявить о своих правах, сбросить ярмо политики и «общественности», действие которых, по всеобщему признанию ощущалось сильнее действия цензуры — прозвана была в отместку «декадентской». С нее начался ренессанс нашей поэзии. Ни Брюсов, ни Блок, ни Иннокентий Анненский, ни Ахматова, ни Гумилев, ни Георгий Иванов, ни Мандельштам, ни Клюев и Есенин, ни Маяковский и Пастернак невозможны были бы без «декадентства». Все эти имена, однако, не пользовались и сейчас не пользуются симпатиями того поколения интеллигенции, чьи вкусы сложились на всевозможных «Песнях о буревестнике», на Гарине-Михайловском, Шеллере-Михайлове, Якубовиче-Мельшине и всей унылой плеяде писателей с двойными фамилиями, которых давно кто-то назвал «недоразумениями в прозе».

Шестидесятническая эстетика породила не только писателей, старательно вытравлявших и заглушавших в себе художника, но и соответствующего читателя, равнодушного к культуре слова, к сделанности литературного произведения, и чуждого какого бы то ни было понимания символичности искусства. Наш брат «новый эмигрант», прошедший РАПП-овскую школу и очутившийся заграницей, оказался здесь не одиноким, он нашел много родственных душ, склонных похваливать за общественную полезность такие его рассказы и романы, которые в более требовательные литературные времена не имели бы шансов попасть ни в один журнал.

Но это пассивное, так сказать, поощрение — ничто в сравнении с активными попытками некоторых эмигрантских политических групп «использовать» литературу, как якобы мощное орудие борьбы с большевиками.

***

Не переоценивается ли, однако, роль искусства в политической борьбе?

Пока оружия не сложит
Раздутый спесью швабский гном,
Пусть каждый бьется тем, чем может —
Солдат штыком, поэт-пером!

Такое разделение труда, предложенное Н. Агнивцевым в 1914 году, как мы теперь знаем, не оправдало себя. Настоящие поэты, вроде Гумилева, предпочли, попросту, пойти на

войну и биться штыком. Оставшиеся в тылу бойцы пера, несмотря на груды патриотических стихов, ни в какой мере победе не способствовали. До тех, кто бился штыком, их стихи попросту не доходили; они не дали русской армии даже достойной песни. Солдаты шли на войну и умирали под «Соловей, соловей, пташечка!» и «Цыганочка черноока». Столь же мало способствовали победам Красной Армии — пролетарские поэты. В дни гражданской войны, красноармейцы пели песни старой царской армии, в которых лишь несколько неподходящих слов были заменены или переставлены. Песни со сколько-нибудь новым содержанием стали появляться в самом конце гражданской войны, да и то виной тому были не поэты, а само красноармейское творчество, вернее, творчество безвестных политруков и комиссаров.

Ты, конек вороной
Расскажи дорогой,
Что я честно погиб за рабочих.

Песня написанная профессиональными поэтами и музыкантами появилась в советской армии не раньше 30-х годов. Для второй мировой войны она была уже устаревшей. В этом есть своя закономерность. Не только искусство, но сама военная мысль не в силах поспевать за темпами борьбы. «Мы узнаем стратегические правила, когда война уже окончена», заметил Гёте. В войнах, революциях, переворотах, во всех крупных событиях, искусство физически неспособно участвовать. Только несколько случаев можно отметить, когда нужные для борьбы слова и музыка поялялись во́-время и играли какую-то действенную роль. Но это случалось раз в несколько столетий. В новое время, мы вряд ли можем назвать что-нибудь, кроме хорала Мартина Лютера и «Марсельезы» Руже де Лиля. Все другие войны и революции сопровождались случайными произведениями искусств, возникшими не для данной цели и не выражавшими сущности события, либо настолько примитивными, что мерка искусства к ним совсем неприложима. Нам известна, например, огромная роль боевой песни в войнах древних германцев; римские писатели свидетельствуют, что трудно было устоять против этих варваров, когда они ее затягивали. Но эта песня состояла всего из одного слова, повидимому, совершенно случайного, которое повторялось без конца в такт напева. Его выкрикивал сначала один человек, к нему присоединялись другие голоса, потом, подхваченное всем войском, оно росло, усиливалось, превращалось в рев

бури. Видимо, песня в борьбе не столько воспламеняет, сколько сама является результатом воспламенения. Отсюда ее неприхотливость. Если вспомнить, чем вдохновлялось русское революционное подполье — все эти «Рабочие марсельезы», «Варшавянки», «Смело товарищи в ногу», которые по своему художественному достоинству, не многим выше прежних солдатских песен, то возникает вопрос: так ли уж важно искусство для целей политической борьбы? За немногими исключениями, она всегда обходилась без него. Товарищи Кржижановские или запевалы первой роты, кропавшие стишки и клавшие их на популярные опереточные мотивы, либо на мотивы народной песни, делали ненужным участие в борьбе Брюсовых, Блоков, Мандельштамов и Маяковских. Что-то жалкое и трагическое чувствовалось в судьбе тех больших художников, которые подобно Брюсову и Маяковскому пытались участвовать в борьбе, как поэты. Те, кого они собирались осчастливить своим гением, в глаза им говорили о бесполезности усилий, о недоходчивости их стихов до рабочего и крестьянина. Всем соловьям, желавшим петь для социализма и революции, Троцкий предлагал познакомиться «с нашим петухом» — Демьяном Бедным и поучиться у него. Брюсов и Маяковский так и умерли, не сравнявшись с этим бесподобным поэтом.

Их постигла судьба соловья из Щедринской сказки «Орел меценат» не выдержавшего состязания со скворцом Василием Кириловичем Тредьяковским. Тематика у соловья была «правильная». «Пел он про радость холопа, узнавшего, что Бог послал ему помещика; пел про великодушие орлов, которые холопам на водку не жалеючи дают... Однако, как он ни выбивался из сил, чтобы в холопскую ногу попасть, но с «искусством», которое в нем жило, никак совладать не мог. Сам-то он сверху донизу холоп был, да «искусство» в холопских рамках усидеть не могло, безпрестанно на волю выпирало. Сколько он ни пел — не понимает орел, да и шабаш! Что этот дуралей бормочет — крикнул он наконец — позвать Тредьяковского! А Василий Кирилыч тут как тут. Те же холопские сюжеты взял, да так их явственно изложил, что орел только и дело, что повторял: имянно! имянно! имянно! И в заключение надел на Тредьяковского ожерелье из муравьиных яиц, а на соловья сверкнул очами, воскликнув: убрать негодяя!»

Некрасов бывший у нас всегда образцом поэта-борца, поэта-гражданина сделал перед смертью характерное признание:

Мне борьба мешала быть поэтом,
Песни мне мешали быть борцом.

Шеренге эмигрантских писателей, оскорбленных в своем святом порыве служить делу свержения большевизма, небесполезно было бы заняться судьбой тех прославленных произведений, которым приписывается исключительное влияние на политические события своего времени — хотя бы, «Записок Охотника». До сих пор не существует ни одного монографического исследования, посвященного вопросу о практическом воздействии этой книги на падение крепостного права в России, и загадкой остается по сей день — на каком основании решили, что она такое воздействие оказала?

«Героический» характер русской литературы, столь превознесенный С. А. Венгеровым, в значительной степени — легенда созданная публицистикой 60-х—70-х годов, носившей в те времена скромное название «критики». В упомянутой статье Н. Валентинова приводятся исключительно любопытные признания Ленина о том, как он читал Тургенева и Добролюбова. Роман «Накануне» прочел он еще до знакомства со статьей Добролюбова об этом произведении и отнесся к нему «по-ребячески». В устах Ленина это означает, что ничего особенного с точки зрения общественной, революционной в этом романе он не усмотрел. Но вот ему попадаются статьи Добролюбова — одна посвященная «Накануне», другая — «Обломову». Они его «ударили, как молния». «Из разбора «Обломова» — (Добролюбов *Н. У.*) сделал клич, призыв к воле, активности, революционной борьбе, а из анализа «Накануне» настоящую революционную прокламацию, так написанную, что она и по сей день не забывается». Ленин, по его признанию, и «Обломова» и «Накануне» «вновь перечитал, можно сказать, с подстрочными замечаниями Добролюбова». То был настоящий переворот. «Добролюбов выбил из меня такой подход», — говорит он о своем прежнем аполитичном «ребяческом» восприятии Тургенева.

Перед нами ключ к пониманию происхождения легенды. Читая в наши дни то же «Накануне», диву даешься, что когда-то оно воспламеняло сердца жаждой общественного подвига. Какой материал находили в нем для столь высокого горения? Разгадка простая: никто и не горел при чтении Тургенева, — горели при чтении Добролюбова о Тургеневе. Публицистика наделяла литературу тем, чего в ней не было. Триста лет освещение на групповом портрете амстердамских стрелков Рембрандта считалось, по чьему-то почину, — ноч-

ным, и только недавно пришли к заключению, что оно дневное, солнечное. Десяток Добролюбовых могли так «осветить» всю нашу беллетристику, до такой степени «выбить» из читателя нормальный «ребяческий» подход к ней, что целыми поколениями солнечный свет ее принимается за свет фонаря.

Публицистика второй половины XIX века, как клещ, как микроб въелась в нашу литературу, превратив ее в питательную среду для себя. Когда открылась Гос. Дума К. Чуковский облегченно вздохнул: наконец то «критики» уйдут в парламент и избавят литературу от своего присутствия. «До сих пор им некуда было итти, и они поневоле все свои парламентские дебаты о лошадных и безлошадных вели под видом критики Фета и Достоевского».

**
*

Если уж говорить о героическом характере, так его надо отнести не к литературе, а к этой самой «критике», т. е. к публицистике. Она действительно оказывала на общественное мнение колоссальное влияние. Один герценовский «Колокол» сделал неизмеримо больше, чем все «Антоны Горемыки» и «Записки Охотника». Б. Н. Чичерин — политический противник Герцена, писал ему в 1858 году: «Вы — сила, вы — власть в русском государстве». «Искандер теперь властитель наших дум, предмет разговоров — писала в своем дневнике Е. А. Штакеншнейдер, дочь известного архитектора. — «Колокол» прячут, но читают все... его боятся и им восхищаются... И имеем мы теперь две цензуры и как бы два правительства, и которое строже — трудно сказать».

Можно ли что-нибудь подобное сказать хоть про одного беллетриста?

Фактом своей деятельности Герцен наглядно опроверг писаревскую теорию. Никакое расписывание «цац» не способно заменить талантливой статьи, памфлета, фельетона или другой чисто пропагандной формы. Если бы было иначе, то И. Эренбург, поставленный советским правительством во главе пропаганды в самый трудный для большевизма момент, не избрал бы этих форм, а продолжал писать романы. Герцен может быть первый показал, чего стоит хороший публицист. Но он показал также, что хорошим публицистом не менее трудно сделаться, чем хорошим поэтом или прозаиком. Не потому ли так мало полноценных публицистов, но очень много плохих романистов помешанных на «живых вопросах современности»?

Наши эмигрантские газеты и журналы, за небольшим исключением, столь убоги, что их читать невозможно; потребность не только в талантливой, но попросту грамотной статье — самая настоятельная. Между тем, мужи посвятившие свои перья делу борьбы с большевизмом, не обнаруживают ни малейшего желания улучшать нашу публицистику. Когда им случается снисходить до этого жанра, получается нечто более дубовое, чем их беллетристические опыты. Трудно бывает отделаться от подозрения, что беллетристическая форма, для очень многих, служит средством маскировки их неспособности к публицистической деятельности. Плохой рассказ или роман «с тенденцией» написать гораздо легче, чем хорошую статью. Для статьи нужен острый ум, острое перо, прекрасное образование, эрудиция, глубина и дисциплина мысли, убеждение, темперамент. Для рассказа или романа на «животрепещущую» тему ничего этого не надо, надо только облюбовать какой нибудь затасканный литературный штамп и набить в нем руку. Считается, что для невзыскательного читателя этого достаточно, а на взыскательного можно прикрикнуть, как на человека политически отсталого.

У выходцев из советской России существует благодарнейшее поле деятельности, в смысле общественно-политического служения — рассказ о лично пережитом и наблюденном в СССР. И западный мир, и русская эмиграция жаждут таких рассказов. Трудно переоценить их значение, с точки зрения антибольшевистской борьбы. Обстоятельные, хорошо написанные очерки и мемуары способны были бы сыграть такую роль, на которую никакие романы не в состоянии претендовать. Как же воспользовались этой возможностью наши литераторы-борцы? Задача им оказалась явно не по плечу, да они ее и не поняли. Свой драгоценнейший опыт, свои ни с чем несравнимые переживания и знание загадочного для Запада мира, они начали облекать в плохую беллетристическую форму, в форму вымысла. Написать «роман о пережитом» — таков был порыв каждого «борца». Прочно привившаяся писаревская идея о неотразимости «художественного» рассказа совлекла наших людей с пути честных и искренних повествователей на путь расписывания «цац». Если они иногда отказывались от формы романа, то никогда не могли отказаться от «художественности», вследствие чего появлялись произведения ни на роман, ни на мемуары, ни на автобиографию непохожие, но и репортерским очерком их назвать нельзя.

Лучшие книги об СССР, появившиеся после войны, книги Кравченко и Марголина. Всё остальное — исключительно слабо, и слабо как раз по причине своей «художественности». Обнаружилось полное неумение обращаться с фактом, делать его самым выигрышным моментом своего произведения. В этом, надо думать, сказалась школа советского фельетониста-корреспондента. В советской России, факт — вещь очень опасная, он никогда не может быть подан в чистом виде, но подлежит сложной обработке, а то и прямой замене вымыслом. К сожалению, даже эта последняя традиция занесена сюда. В нашей печати подвизается несколько неразоблаченных еще Остапов Бендеров, сочиняющих фальшивки с вымышленными фактами и событиями. Но и у более честных правдивость и документальность понимаются весьма своеобразно. Существует, повидимому, убеждение, что подать голый факт может всякий, а мне литератору Божией милостью, не к лицу скрывать от мира свое дарование. Уж я его принаряжу так, что все ахнут! И принаряжают. И убивают.

Писательское-то мастерство заключалось, как раз, в том, чтобы не принаряжать. Когда человек уверяет, что видел лицо Горгоны, он не имеет права впадать в вульгарную декламацию и блистать какими бы то ни было литературными приемами. Ему никто не поверит. Рассказ должен быть воплем неподдельного ужаса и отчаяния. Между тем, редкое воспоминание о Соловках и Колыме свободно от литературничанья. Некоторые прямо подражают какому-нибудь известному образцу, например, «России в концлагере» Солоневича, имевшей в свое время большой успех, как первая книга в этом роде. И какое это бывает унылое и скучное чтение! Надобно было столько пережить и перестрадать, чтобы сделать из своих мук серенькое, неоригинальное произведение! Воспоминания пишут не кровью сердца, не переживая заново свои страдания, но становятся в литературную позу рассчитанную на эффект. Тут и увлечение «блатным» жаргоном, и характерная для некоторых советских писателей «уркомания», и предельный натурализм в описаниях. А самое главное — подача собственной персоны, как героя лагерной эпопеи. Один автор даже пострадал на этом деле — расписал свою особу столь ярко, что она выступила в несовсем выгодном свете. Пришлось писать «письмо в редакцию»: я не я. Вот уже к кому пристали слова: «Друг Аркадий, не говори так красиво!». Есть воспоминания смахивающие на беллетристику очень древней формации, сплошь наполненные лирическими отступлениями и ламен-

тациями. Человек, побывавший в святом святых НКВД — в Смерше — имел возможность преподнести читателю захватывающую книгу. Вместо этого появилась поэма в прозе о личных переживаниях автора-энкаведиста. Факты описываются из рук вон плохо. Все лица, события, самую обстановку Смерша мы видим, как бы сквозь кисейную занавеску — расплывающимися, с неясными очертаниями, точно описаны они с чужих слов, да еще не от непосредственных наблюдателей. Couleur locale страшного учреждения невозможно почувствовать. Книга воспринимается с недоверием и сразу по прочтении забывается.

О чем бы ни писали — стараемся непременно романсировать. Манеру берем у самых провинциальных школ и авторов, нередко у тех, которых сами же браним за их «отрыв от жизни», за пристрастие к «калашным рядам далекого прошлого». В результате, Апокалипсис нашего времени превращается в развязный фельетон или в стилизованный анекдотически-бытовой рассказ. Своими хождениями по мукам нам так и не удалось тронуть сердца читателей. Сотни наших страниц не стоят коротенького отрывка из Протопопа Аввакума: «Привезли в Брацкой острог и в тюрьму кинули, соломки дали. И сидел до Филиппова поста в студеной башне; там зима в те поры живет, да Бог грел и без платья! Что собачка в соломке лежу: коли накормят, коли нет. Мышей много было, я их скуфьей бил — и батожка не дадут дурачки! Всё на брюхе лежал: спина гнила. Блох да вшей было много».

Где у нас эта искренность, простота и сила? Они съедены писательскими замашками, тем, что мы горим не страстным желанием поведать миру о неслыханных ужасах, а жаждой литературного успеха, восхищения, аплодисментов. Лавры плохого прозаика нам дороже подвига честного публициста. Благодаря нашей манерности, скверному литературному вкусу, мир так и не узнал правды ни о большевистском аде, ни о безмерных страданиях народа во времена гитлеровского пленения.

**
*

У Чехова есть рассказ, в котором бабы плачут за обедней при словах «аще» и «дондеже», не понимая их значения. Примерно такой же магией обладают у нас слова: «наше время» и «современность». Произнося их, писатели вырастают на целую голову, в голосе появляется не то набат, не то благовест, а лицо приобретает высокую мину, как на известном

портрете Кузьмы Пруткова. Современность! Недавно один роман подвергся критике за свои слабые литературные качества. Это вызвало нападки на рецензента; как мог он так отзываться о произведении, в котором отражена современность. Там, где она «отражена» — всякий роман хорош, даже если он плох. Это ничего, что еще Маяковский заметил: «Описание современности действующими лицами сегодняшних боев всегда будет неполно, даже неверно, во всяком случае однобоко». Текущие политические события (а ведь о них идет речь, когда говорят «современность») — редко поддаются сколько-нибудь глубокому осмыслению; для этого надо, почти всегда, отойти от них на некоторое расстояние. Нужен исключительно большой ум и большое сердце, чтобы совершающееся на наших глазах воспринять эстетически и сделать предметом художественного произведения. До сих пор это удавалось только гениям. Остальные даровитые, но менее сильные люди, не решались на это покушаться. Не потому ли текущая политика так редко фигурирует в произведениях крупных писателей? Они брали современность уже отстоявшуюся. Те же, что набрасывались на каждое новое политическое событие, как на свежую редиску, всегда были отмечены знаком литературного казачества и вызывали брезгливое к себе отношение.

Просили мы тогда, чтоб помолчали
Поэты о войне,
Чтоб пережить хоть первые печали
Могли мы в тишине.
Куда тебе! Набросились зверями:
Война, войне, войны!
И шум и крик и хлопанье дверями.
Не стало тишины.

Эта жалоба З. Гиппиус на поведение литературной братии в 1914 году — не единственный случай протеста. После второй мировой войны, известный литературовед Б. М. Эйхенбаум (ныне, «проработанный» и куда-то задвинутый) — писал о таком же, примерно, поведении советских поэтов. Великие испытания, подобные только-что пережитому, повергают людей либо в молчание, либо в чрезмерную болтливость. Всё глубокое молчит, всё мелкое, пустое — скачет и играет.

А после вдруг — таков у них обычай —
Военный жар исчез.
Изнемогли они от всяких кличей,
От собственных словес,

И юное безвременно состарив,
Бегут, текут назад,
Чтобы запеть в тумане прежних марев
На прежний лад.

Здесь верно отмечена не только оскорбительная для человеческой души суета вокруг великого события, но и вред ее для литературы. Она несет опасность «юное безвременно состарить» — захватать, залапать неискусными руками народившееся явление и затруднить обращение к нему, как к сюжету, более крупным людям. Исступленное требование «отражать», во что бы то ни стало, современность служит безошибочным признаком «социального заказа». Исходит оно не от литературы, а от политики. Это вовсе не означает недостатка поэтов и романистов выступающих с подобными декларациями. Курьезны их выступления.

Казалось бы, задача романиста — поменьше требовать романов от других и побольше писать их самому. Если человеку удастся написать хорошее произведение о «нашем времени», так это и будет лучшей агитацией за данный род литературы. Но у нас предпочитают писать очень плохие романы и рассказы, зато грозно требовать чего-то от других. Не трудно рассмотреть за подобными требованиями простой призыв к литературе второго сорта. У Горького в «Достигаеве» спрашивают монаха: — «Коньяка хочешь?» «Где уж там коньяка! — отвечает тот — Самогону бы!» Когда среди литераторов появляются люди подхватывающие клич и лозунги политиков, в этом надо усматривать не общественно-политическое горение, а брожение самогона — бунт низкопробной литературы против ее высокого образца.

Такой бунт начинается у нас в эмиграции. Шеренга борзо настроенных графоманов всеми силами стремится снизить зарубежную литературу до своего уровня, совлечь ее с тех высот, на которых она стояла благодаря сохранившейся здесь свободе творчества и наличию крупных имен выросших в эпоху расцвета российской словесности. Эти имена, в том числе покойный И. А. Бунин, были предметом их постоянного раздражения и насмешек. Весь лагерь И. Л. Солоневича «лягал» их чуть не в каждом номере «Нашей Страны». Они для него были скучны, неинтересны, затхлы, пахли нафталином и не отвечали тому, что требовало от них «наше время». Некоторые враждебные этому лагерю течения, проявляли полное с ним единодушие в оценке старых зарубежных писателей.

Между ними наблюдалось нечто вроде разделения труда. Если Бунин отдан был на съедение Солоневичу, то враждебный политически, но дружественный литературно лагерь, занимался поношением последнего нашего большого поэта Георгия Иванова. Делается это дерзко, вызывающе, с сознанием своей силы или, по крайней мере, безнаказанности. Чувствуется присутствие руки готовой всегда поддержать и заступиться. И эта рука появляется всякий раз, когда «наших бьют». Объективная литературная критика и оценка произведений стала невозможной. Попробуйте сказать про какого-нибудь автора, что он плохо пишет, — сразу же вступается его партийный патрон. Этот уже разговаривает по своему, «вручную». Он вам сразу докажет, что сами вы — порядочная дрянь, что если вы и смыслите сколько-нибудь в писательском ремесле, то никаким ощущением действительности не отличаетесь, оторвались от «живой жизни», исповедуете упадочную теорию искусства для искусства, и не таким мелким козявкам, как вы, судить о произведениях людей чувствующих наше время, несущих в себе «социальный момент». Зарождается традиция террора против литературной критики.

Отдельные люди и целые партии ведущие такую литературную политику должны отдавать себе ясный отчет в последствиях своей деятельности. Они губят остатки высших ценностей сохранившихся от старой России. Если это делается во имя спасения и освобождения родины, то ни один подлинно русский человек не примет России из рук таких освободителей. Н. Клюев когда-то писал: «Не хочу Коммуны без лежанки!». И мы тоже не хотим России без ее культуры, без «возвышенного чела», которым она отличалась, без того, что делало ее Россией. Такие «освободители» — наши величайшие враги. Мы можем сказать им тоже самое, что полстолетия тому назад Аврелий говорил по адресу Ленина: если совершится такое освобождение, и если в новой России они придут к власти — литература будет так же порабощена и упразднена, как упразднена она сейчас в Советском Союзе.

***

Эмигрантской литературе предстоит, повидимому, скорая гибель под соединенным напором партийно-политических дельцов и вульгарного писательства драпирующегося в тогу гражданственности. Вот когда по-настоящему ощущается утрата таких людей, как Бунин. Лет пятьдесят с лишним тому

назад Чехов писал: «Когда в литературе есть Толстой, то легко и приятно быть литератором». Бунин, конечно, не Толстой, но его фигура, после смерти всех наших корифеев, приобрела огромное символическое значение. К ней вполне приложимы слова А. Блока о том же Толстом: «Гений одним бытием своим, как бы указывает, что есть какие-то твердые гранитные устои». Пусть Бунин последние годы жил не в ладах с общественностью и с некоторыми литературными кругами, всё же, пока он жив был — «легко и приятно было быть литератором». Существовала верховная литературная власть, возможность обращения на высочайшее имя. Не страшен был никакой напор враждебной стихии. Можно опять, словами Чехова о Толстом, сказать: «Пока он жив, дурные вкусы в литературе, всякое пошлячество, наглое и слезливое, всякие шершавые, озлобленные самолюбия будут далеко и глубоко в тени». Теперь всё это выползет из своих углов с торжеством, со своими знаменами, вождями, декларациями. И ничего нельзя будет сделать; литература превращается в беспастушное стадо. Истинных ее друзей осталось уже немного, зато перебежчиков во вражеский лагерь — сколько угодно. То немногое, что уцелело от бунинского поколения, от людей «рукоположенных лучшим прошлым» — либо доживает свой век на положении изгоев, либо само удалилось в тишину, чтобы успеть досказать задуманное. Должно произойти обратное призвание этих князей на свои уделы. Необходимо вернуть им право княжити и володети нами. Надо, чтобы они чаще выносили приговоры, чтобы в писательский сан посвящали они, а не редакторы шумливых газет и не косноязычные публицисты. Это — тяжкий крест, но это — достойное завершение их служения русской литературе. Всем остальным ее друзьям и ревнителям надлежит тесно сплотиться вокруг стариков образуя защиту от хаоса.

Не будем обольщаться; сопротивление вряд ли обещает быть длительным. Слишком сильна напирающая стихия, слишком незначительны ряды защитников. Темным силам повсюду в наши дни облегчена победа.

> Будет некогда день и погибнет высокая Троя,
> Древний погибнет Приам и народ копьеносца Приама.

Умрут последние «из стаи славных», порвется последняя связь с лучшим прошлым, цитадель литературы останется под защитой простых средних людей. Тем ответственнее их задача. В безнадежных условиях, обреченные на поражение, они

обязаны дать врагу такую битву, от которой остался бы яркий след.

У Клаузевица, в книге «О природе войны» есть замечательное место: — когда армия разбита и ей ничего кроме капитуляции не остается, у нее блестящий выход — героическая гибель. Такая гибель равняется победе, потому что несет в себе семена возрождения армии в будущем. Русская литература должна дорого продать свою жизнь, знамя ее до тех пор должно развеваться, пока не падет последний защитник. В этом — залог возрождения. Это борьба за будущее России.

Н. Ульянов

***

Гаснет ночь, и фонари желтеют.
Гулок час. В неясной вышине
Медленно светлеет, пламенеет
Путь к другой, неведомой стране.

Вот сейчас за серым небоскребом
Запоет звенящий водопад
Над седым, неубранным сугробом
Расцветет голубоватый сад.

На востоке возникают башни
И плывет неспешный бой часов.
Передвинул стрелки страж вчерашний.
Новый ангел в новый путь готов...

Мария Толстая

ЯЗЫК ВОЙНЫ И ПОСЛЕВОЕННОГО ПЕРИОДА

Глава из книги «Русский язык при советах»

Светлой памяти В. М. Зензинова

Советские книги и газеты, так-же как и радиопередачи военного и послевоенного периода, свидетельствуют о том, что за годы войны и после ее окончания в русском языке не произошло никаких радикальных перемен. Но всё же новый курс на возрождение в народе патриотических чувств, призыв к следованию предкам в их героическом служении родине, сама обстановка войны, а в послевоенное время всё более углубляющаяся изоляция от Запада и ряд других моментов не могли не сказаться на русском языке последнего десятилетия.

Обогатившись за время войны множеством интересных и подчас остроумных батализмов, распространившихся за пределы военного обихода, русский язык во многом возвратился в старое дореволюционное русло, и даже больше того — запестрел архаизмами.

В защиту архаизмов, с подчеркиванием роли устаревших слов в процессе разогревания патриотических чувств советских граждан, выступил журнал «Звезда», где редактором и неусыпным блюстителем «правильности генеральной линии» после разгрома «идеологически-невыдержанной» редакции в августе 1946 г. был назначен А. Еголин, с сохранением за ним должности заместителя начальника Управления пропаганды ЦК ВКП(б):

«...Наши критики часто порицают поэтов за употребление архаизмов... Но изничтожением некоторых, на первый взгляд, устаревших слов заниматься тоже не следует, они бывают необходимы, они обладают способностью вновь становиться полнокровными, как это было например, со словом «священная война» в недавние годы. Вообще надо более осторожно подходить к словам, о которых полтораста лет говорят, что они устарели...

...А. Тарасенков, критикуя Прокофьева за употребление архаизмов, напрасно нападает на такие слова, как «стольный город»,

«пресветлая», которые, конечно, в бытовой речи не употребляются, но всегда были милы сердцу русского человека». (А. Чивилихин, «О языке литературных произведений», *Звезда,* №11, 1950)

Если-бы десять-пятнадцать лет тому назад советский гражданин начал употреблять эти «милые русскому сердцу слова», его обвинили-бы в «великодержавных тенденциях», «поповщине» и пр. и сочли-бы вообще «чуждым элементом», но «возрождение религии» в СССР или, вернее, ее лицемерная легализация привели к появлению в литературе не только бытовых архаизмов, но и так называемых церковно-славянизмов, ранее в советском языке немыслимых. Это коснулось не только поэзии, по своему характеру более склонной к выспренности, чем проза:

Верю: ныне и присно
Жить тебе, как легенде
И в граните, и в гипсе,
И в литом монументе.

(С. Испольнов, «Псхотинец», *Огонек,* № 35-36, 1946)

но даже очерка:

Где вы работаете, я вас спрашиваю... в Донбассе или на небеси...

(Б. Галин, «В одном населенном пункте», *Новый Мир,* № 11, 1947)

Такое явление объясняется стремлением советов мобилизовать все силы для победы над врагом. Неудержимое продвижение немецких армий достаточно ясно показало, что народ не собирается защищать «достижения советской власти», и руководители партии и правительства спешно обратились к тому, что могло тронуть сердце русского человека, вдохновить его на борьбу.

Зазвонили давно умолкнувшие колокола церквей, десятки тысяч пропагандистов закричали о славном боевом прошлом русского народа, вытаскивая из «запретного фонда» библиотек описания подвигов русских полководцев. Советским поэтам спешно было приказано писать патриотические стихи, связывающие героическое прошлое с безрадостным настоящим. Подобная «новая идеологическая политика» чрезвычайно наглядно отражена в стихах Николая Тихонова:

Растет, шумит тот вихрь народной славы,
Что славные подъемлет имена.
Таким он был в свинцовый час Полтавы

И в раскаленный день Бородина.
Все тот же он, под Тулой и Москвою,
Под Ленинградом, в сумрачных лесах...

и патриотических песнях В. Лебедева-Кумача:

...Навеки слилась величаво
Под сенью советских знамен
Былая российская слава
Со славою новых времен.

Массы в течение многих лет слышавшие, что «у пролетариата нет отечества», теперь призывались понести величайшие жертвы во имя победы России во «Второй Отечественной войне». Для придания этому славному прошлому еще большей ощутимости были введены ордена Александра Невского, Кутузова и Суворова, а на Украине — Богдана Хмельницкого. Интересно, что слово «Россия» повсеместно вытеснило «РСФСР» и даже стало синонимом Советского Союза в целом. Леонид Леонов, быв. председатель Союза советских писателей, написал в 1943 г., несомненно выполняя социальный заказ, специальную статью «Слава России», где отождествление России и СССР выступает необыкновенно выпукло:

«С вершин истории смотрят на тебя песенный Ермак и мудрый Минин и русский лев Александр Суворов, и славный, Пушкиным воспетый, мастеровой Петр I, и Пересвет с Ослябей, что первыми пали в Куликовском бою... Взгляни на карту мира, русский человек, и порадуйся всемирной славе России. Необозрима твоя страна». (Леонов, Избранное; Москва, Гослитиздат, 1946, стр. 593-4)

Это подтверждает и Г. Климов, рассказывая, что

«...В оккупированной Германии, все как один, русские солдаты и офицеры неожиданно стали употреблять слово «Россия»... Иногда мы по привычке говорим «СССР», затем поправляемся — «Россия». Нам это самим странно, но это факт.

В течение четверти века употребление слова «Россия» влекло за собой обвинение в шовинизме и соответствующую статью в кодексе НКВД. Даже читая классиков, это слово нужно было произносить торопливым шепотом. Этот, казалось-бы, мелкий факт бросается в глаза, когда слово «Россия» сегодня звучит в устах поголовно всех солдат...» («В Берлинском Кремле», *Посев*, № 40, 1949)

Даже в государственном гимне, заменившем «Интернационал» (оставшийся гимном партии) и исполнявшемся впервые в новогоднюю ночь 1944 года, появились неожиданные строчки:

Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь.

Слово «русский», ранее употреблявшееся чрезвычайно редко и неохотно в отношении современности, за исключением определения национальности в паспорте, начало применяться на каждом шагу.

В этом отношении чрезвычайно показательно знаменитое стихотворение Константина Симонова «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...», пользующееся большой популярностью, где слово «русский» повторяется чуть-ли не в каждой строке. Если-бы это прекрасное и искреннее стихотворение появилось на несколько лет раньше, оно обеспечило бы автору длительное пребывание в дальних лагерях по обвинению в «великодержавном шовинизме». Однако, во время войны оно удачно выполняло «социальный заказ». Увлечение всем русским повело и к возрождению презрительных кличек других народов Советского Союза, находившихся под запретом в течение десятилетий, в частности «хохлы»:

А кто ее знает, русская она или хохлушка.
(Вершигора, *Люди с чистой совестью*, Роман-газета № 11-12, 1946, стр. 36)

Хохол, а терпения не имеешь...
(Лидин, *Изгнание;* Советский писатель, 1947, стр. 20)

Казалось бы, что при подобном выпячивании роли героического прошлого, творчество новых слов не могло быть особенно интенсивным. Тем не менее, в военный период родился ряд слов, отображающих новые понятия.

Знаменитая немецкая тактика окружений, когда железными тисками зажимались многотысячные армии, породила новое слово «окруженец», т. е. человек, попавший или побывавший в окружении:

...в лесах много окруженцев, недавно пробилась целая часть...
(Эренбург, *Буря;* Советский писатель, 1948, стр. 324)

Окружение-же — Einkesselung, Kessel по немецки — дало и русскую кальку:

«Котел» под Бродами. (*«Известия»*, 22 июля, 1944)

К этому же тематическому кругу можно отнести и такие выражения, как «Большая земля» и «Малая земля»:

На Большой земле наши товарищи отражают удары врага.
(Эренбург, *Буря;* см. выше, стр. 335)

В то время, как Большой землей называлась территория

на восток от линии фронта, т. е. свободная от немецкой оккупации, под Малой землей подразумевались районы действия партизан в тылу врага.

На Большой земле были организованы специальные школы для подготовки будущих партизан. Лица, прошедшие такой курс, «забрасывались» воздушным или иным путем в тыл врага:

Три месяца назад, после ранения, его вывезли с «Малой земли», куда он был заброшен в первые дни войны.

(Капусто, *Наташа;* Сов. Писатель, 1948, стр. 149)

— Я — заброшенная — добавила она, помолчав, и вздохнула, как-будто слово это означало именно покинутость, сиротство ее, а не просто способ, каким она очутилась здесь, в недавнем глубоком тылу немцев.

(А. Твардовский, «Поцелуй», *«Известия»*, 30 дек. 1945)

Так как партизаны основную свою деятельность направляли на нарушение коммуникаций противника — подрыв мостов и железнодорожных путей — возникли выражения: «отремонтировать мост» и «рельсовая война»:

Первый раз вижу Ковпаковцы переходят под мостом и не пытаются его «отремонтировать».

(Вершигора, *Люди с чистой совестью,* Сов. Писатель, 1951, стр. 453)

Тогда никто из нас еще не знал слов «рельсовая война».

(Там же, стр. 343)

Сами же партизаны делились на организованных из центра и «диких», действовавших по своему усмотрению:

Вы не думайте, мы не «дикие»[1]... мы с обкомом связь держим, да и в штабе армии о нас сведения есть. (Лидин, *Изгнание,* см. выше, стр. 63).

Человек, присланный для «приручения» партизан, т. е. осуществления связи между ними и партийным центром, назывался «хозяином». Бывали случаи, когда лицом, осуществляющим партийное руководство, являлась женщина. Так, в пьесе Л. Леонова «Ленушка» мы находим в перечне действующих лиц:

ТРАВИНА Полина Акимовна — инструктор райкома, хозяйка.

...Да мы и тебя, Полина Акимовна, — толком не знаем. Откуда

---

[1] Термин «дикие» не нов в Советском Союзе. Еще задолго до войны он применялся к курортникам, не имевшим ни «путевок», ни «курсовок».

ты к нам хозяйкой в темную ночь свалилась. (Леонов, Избранное; см. выше, стр. 559)

Эта лексическая деталь, звучащая парадоксально при коммунистическом режиме, является в то же время и очень показательной. Еще недавно слово «хозяин» почиталось чуть-ли не архаичным, ассоциируясь с понятием ликвидированного «классового врага» — фабриканта или зажиточного крестьянина. В последние годы оно стало обозначать в первую очередь, правда неофициально, неограниченного властителя СССР — Сталина, а за ним и местных крупных партийных работников вроде секретарей крайкомов, обкомов ВКП(б) и т. д.:

По принятой в московских верхах манере, он прибегает к расплывчатому обозначению «хозяева», за которым подразумевается Сталин и Политбюро.

(Г. Климов, «Диалектический цикл», *Грани,* изд. «Посев», Германия, № 10, 1950)

Иногда для создания новых слов используются уже такие далеко не новые для советского языка формы образования как абревиатуры разных видов:

Смерш (Смерть шпионам) — особый отдел при военных частях; дзот — дерево-земляная огневая точка и др., как например: Вчера ушли уровцы — укрепрайон, забрали все свои пулеметы.

(Некрасов, *В окопах Сталинграда;* Москва, Воен. изд-во, стр. 17)

Некоторые старые русские слова стали применяться в новом значении.

Так, «зажигалка» повсеместно обозначала зажигательную бомбу:

... Как насыпал раз немец зажигалок.

(Тихонов, *Девушка на крыше;* Стихи и проза, Москва, Гослитиздат, 1947, стр. 231)

Слово «щель» стало обозначать примитивное бомбоубежище, вырытое в земле:

Носилки не влезли в узкую «щель»...

(Полевой, *Повесть о настоящем человеке;* Москва; Гослитиздат, 1952, стр. 81)

«Ломовиками» стали именовать транспортные самолеты:

...гоняясь за «ломовиками» он расстрелял весь боекомплект.

(Там же, стр. 15)

«Ястребок» стал синонимом советского самолета-истребителя.

Не меньшая образность проявилась и в ряде других названий:

...еще один «У-2» прожужжал над оврагом.

— Кукурузник.

— А у нас на Северо-западном «лесником» звали.

— Ну, это как где. Где какая природа, — рассудительно сказал третий голос. — Где кукуруза, — там кукурузник, где огородов много, — там огородник, а где лес, — там лесник. Главная причина, что летает низко, землю любит.

(Симонов, *Дни и ночи;* Советский писатель, стр. 196)

«Кукурузник»... В газетах его называют «легкомоторный ночной бомбардировщик». (Некрасов, *В окопах Сталинграда,* см. выше, стр. 206)

...маленькая эта машина, похожая на стрекозу, ласково именованная на северных фронтах «лесником», на центральных — «капустником», на юге — «кукурузником», всюду служащая мишенью для добродушных солдатских острот... (Полевой, см. выше, стр. 234)

«Костыль», «рама» и пр. на фронтовом языке обозначали различные типы немецких самолетов:

Это был ненавистный «костыль», «Кривая нога» — немецкий разведчик. (*Известия»,* 15 янв. 1943)

По утрам появлялась «рама» — двухфюзеляжный разведчик «фоккевульф». (Некрасов, *В окопах Сталинграда,* см. выше, стр. 15)

В воздухе появлялся «горбач» — корректировщик.

(Гроссман, *Годы войны;* Гослитиздат, 1945, стр. 76)

...летала фашистская «керосинка», потрескивающий шумливый самолет. (Там-же 188)

Таким образом мы видим, что народная фантазия особенно изощрялась в наименованиях самолетов, не ограничиваясь сухими сокращенными обозначениями вроде «як», «лаг» и «ил».

Лексическая изобретательность русского солдата распространяется и на другие виды вооружения и боеприпасов:

Накануне Вороненко достал у мальчишек две ручные гранаты «Ф-1». Он обменял «фенек» на стакан фасоли... (Гроссман, *Годы войны;* см. выше, стр. 158)

...в присутствии самоходных орудий, тридцать-четверок и танкеток, что в просторечии войны зовутся малютками...

(Леонов, *Избранное;* см. выше, стр. 124)

Командир улыбнулся и сказал:

— «Пешечка» вернулась.

«Пешечка» оказалась пикирующим бомбардировщиком.

(*Известия,* 8 мая 1942)

Слово «катюша», ранее обозначавшее самолет типа «К-7», теперь приобрело новое, вытеснившее первоначальное, зна-

чение. Ею стали называть многоствольный миномет, прозванный немцами «Stalinsorgel»:

Вслед за «катюшами» с левого берега заговорила артиллерия.
(Симонов, *Дни и ночи;* см. выше, стр. 197)

Очевидно, немецкое значение этого слова стало известным и в советских войсках, что породило соответствующий глагол:

— Ну, как, сыграем по рву?..

— А нука, светик-катюша, пропой-ка разочек...
(Капусто, *Наташа;* см. выше, стр. 198)

Командир пехотного подразделения позвонил по телефону на батарею гвардейских минометов (официальное наименование «катюш»-Ф.) стоявшую неподалеку и попросил «сыграть разок».
(Смирнов, *В боях за Будапешт;* Воен. изд-во, стр. 74)

— Катюши заиграли — сказал Каюткин...
(Фадеев, *Молодая Гвардия,* см. выше, стр. 452)

В свою очередь и вооружение врага получило ироническое прозвище в армии:

Где-то за курганом противно скрежещет «ишак» — шестиствольный миномет. (Некрасов, *В окопах Сталинграда;* см. выше, стр. 186)

...начинал свою работу пронзительный шестиствольный немецкий миномет (разведчики называли его «скрипуном»)
(Капусто, *Наташа;* см. выше, стр. 180)

Война 1941-45 гг., несмотря на свой трагизм, породила некоторые выражения с внутренним юмором, свидетельствующие о том, что народ даже в лихую годину не переставал придавать шутливую образность языку военной действительности.

Так, чрезвычайно распространенным стало выражение «голосовать» — поднятием руки останавливать попутную машину, — позже перешедшее и в общую лексику:

..они ехали из армии способом «голосования», пересаживаясь из машины в машину... (Полевой, см. выше, стр. 261)

Им выгоднее ехать порожняком, вон сколько баб голосуют на дорогах! (Рыбаков, *Водители;* Москва, Гослитиздат, 1952, стр. 27)

«Проголосовав» на выезде из городка, он скоро устроился в кузове порожней трехтонки... (Павленко, *Счастье;* Воен. изд-во, 1948, стр. 44)

Ежедневное соприкосновение со смертью рождает не только фатализм, но и шутку, скрывающую трагическую суть под веселящей оболочкой:

...сегодня жив, а завтра в земотдел или здравотдел.
(Г. Климов, «В Берлинском Кремле», *Посев,* № 45, 1949)

Цел санитар-то, не пригрело его? (Полевой, см. выше, стр. 83)

Не было наркотических средств — ничтожную дозу новокаина, которая приходилась на каждого оперируемого, недаром называли «крикаином». (*Известия*, 11 июня 1944)

Если налит спирт в «чарочку», летчики называют его «антигрустином». (*Известия*, 29 апр. 1943)

Народность фронтовой лексики лучше всего можно почувствовать в ее «животной» образности. Мало наименовать что-либо на войне иносказательно; красочная солдатская речь часто пытается и оживить названия. Так создаются многочисленные семантические неологизмы, представляющие собой целый животный мир — «фауну» фронта:

— Вот тут... во время войны стоял слон! — говорит Юра и тычет пальцем в бульвар.

— Живой слон?

Юрий смеется: — Нет, дядя Федя, не живой. Не зоологический, а резиновый. Их только так называли — слонами.

— Кого их-то?

— Аэростаты воздушного заграждения.

(Л. Ленч, «Старые москвичи», *Крокодил*, № 24, 1947)

Так и есть: это противопехотная «лягушка». Самая страшная для человека, взрывающаяся дважды мина. Первым взрывом она выбрасывается из земли. Подпрыгнув на уровне полутора-двух метров, разрывается. (Вершигора, см. выше, стр. 572)

...препятствие состоит из тяжелых рельсовых ежей...

(Смирнов, *В боях за Будапешт;* см. выше, стр. 77)

А может они и для наших ястребков сгодятся. (Там-же, стр. 50)

Летать предстояло на «утенке» (учебно-тренировочном самолете-Ф.) (Полевой, см. выше, стр. 239)

Над головой пролетают наши легкие бомбардировщики. Бойцы узнают их:

Опять стрекозы пошли немцев щекотать.

(*Известия*, 12 марта 1942)

...в последние дни у немцев появились самолеты старых образцов, их называют «коровы». (*Правда*, 2 окт. 1941)

Одновременно над полем боя появляется «рама», немецкий самолет... От него отделяется черный, удлиненной формы предмет.

— «Краба» сбросил, — констатируют на наблюдательном пункте.

«Краб» разрывается в воздухе. Из него вываливаются мелкие бомбы... (*Известия*, 19 янв. 1944)

Как мы видим из двух последних примеров, образно называется не только то, что связано с отечественной военной машиной, но и то, что относится к врагу; наблюдается даже синонимичность в названиях:

Автоматчиков повсюду раскидали, наши только и говорят, что о «кукушках». (Эренбург, *Буря;* см. выше, стр. 219)

...разведчики прочесывали дома, вылавливая «сверчков» — автоматчиков, оставленных немцами в нашем тылу.

(Смирнов, *В боях за Будапешт;* см. выше, стр. 82)

Первый из этих синонимов старше, т. к. появился еще в позорную для Советского Союза Финскую кампанию, когда закамуфлированные в белое невидимые снайперы — «кукушки» снимали из своих «гнезд» на высоких соснах десятки попавших в чужую страну красноармейцев.

Не только в период самой войны, но уже в процессе ее подготовки, в период «дружбы» с Германией, с сентября 1939, в лексику, связанную с военным строительством, начали проникать обозначения, оживляющие, в прямом смысле, военную терминологию. Так, Г. Климов указывает в «В Берлинском Кремле» (П о с е в, № 28, 1949) на то, что

...в Кронштадт приходили купленные в Германии подводные лодки. Немецкие опознавательные знаки «U» перекрашивались в советские «Щ». Их так и прозвали моряки «щуками». По этим образцам спешно строились десятки «Щук» на советских верфях подлодок.

Охотно воспринимаются во время войны и немецкие «зоологические» названия вооружения:

На улицах появились «тигры» и «пантеры».

(Смирнов, *В боях за Будапешт;* см. выше, стр. 96)

Показательно, что орудию борьбы с этими «тиграми» и «пантерами» было дано соответствующее наименование:

— Пришлите, да поскорее, парочку ваших «зверобоев»...

Тогда я впервые услышал новое название советских орудий. Смысл этой клички был ясен: пушка, прозванная «зверобоем», предназначена уничтожать все бронированные чудовища, которым немцы для устрашения противника понадавали звериные клички.

(Л. Кудреватых, Пушка-«зверобой», *Известия,* 18 ноября 1945)

Любопытно отметить, что представители настоящей фронтовой фауны, наоборот, получили образное «неживотное» прозвище, связанное, видимо, с трудностями борьбы с ними:

При коптилке ищут «автоматчиков» — так называют насекомых. (Эренбург, *Буря;* см. выше, стр. 367)

Этими-же причинами объясняется, очевидно, и шутливое

наименование насекомых, распространившееся в немецкой армии — «Partisanen».

Очевидно по аналогии с водяной птицей «нырком» возникло и слово «нырик», бытование которого в языке засвидетельствовано советским журналистом, участником Второй мировой войны, М. Коряковым, в его очерке «16 октября» (Новый Журнал, Нью-Йорк, XX, стр. 199):

...Появились «нырики». Немцы наступали волнами. В тот момент, когда наши войска оставляли населенный пункт, нырики уходили, прятались в подвалах, погребах; это называлось «нырнуть под волну».

В образных наименованиях самолетов, бомб и орудий мы видим как-бы развитие «военных диалектов». В то время, как официальная печать давала унифицирующие, но лишенные народной образности и остроты военные термины, простые солдаты, учитывая рельеф местности (как видно из приведенного выше разговора), подчеркивая форму («рама»), или основную функцию («зажигалка»), или характерную особенность («певуны», «музыканты»), или приближая к знакомым именам («катюша», «ил(ь)юша» — по фамилии конструктора Ильюшина) создавали сочный лексикон военного времени.

Как можно наблюдать в примере с «катюшей», некоторые слова переживают в пределах послереволюционной эпохи свое дополнительное осмысление; это видно и в слове «времянка», возникшем в начале Революции для обозначения железной печки, затем временно-оборудованного цеха строющегося предприятия, при частичном пуске последнего, а позже, во Второй Отечественной войне доосмысленном понятием временного окопа. И после войны, в мирной обстановке, продолжает развиваться полисемия этого слова. Огромные разрушения, произведенные войной, привели к строительству временных жилищ (по большей части землянок) или к временному восстановлению полуразрушенных домов:

В маленькой хате-времянке не уместилось и половины собравшихся. (*Правда*, 2 февр. 1950)

...даже добрая половина вновь отстроенных домов и домишек, в конце-концов, тоже не больше, чем времянки...

(Симонов, «Дым отечества»; *Новый Мир*, № 11, 1947, стр. 94)

Были доосмысления, произошедшие и на более узком отрезке времени. Так, абревиатура «КП», обозначавшая во время войны «командный пункт»:

Ширяевский КП находился в подвале...

(Некрасов, *В окопах Сталинграда;* см. выше, стр. 18)

непосредственно после войны стала означать «контрольный патруль», т. е. патруль по проверке «военных трофеев», перевозимых из побежденных стран в СССР. Отсюда и производное **«капешник»**:

На пятнадцатой версте, у одного поворота, машину остановили капешники. (*Эхо*, 25 ноября 1948)

Наряду с обычными официальными и неофициальными терминами появились и такие, где абревиатура, благодаря ее буквенной зашифрованности несла и функцию эвфемизма:

Светлана горько усмехнулась.

— В общем я эн-бэ. Знаете. Немецкая... — она на мгновение запнулась, — немецкая барышня...

(Павленко, *Счастье;* см. выше, стр. 124)

Кстати, для обозначения близкого понятия в советской армии прибегали также к абревиатуре:

Таких жен — на месяц или на год — называли «ППЖ» («походно-полевая жена» — Ф.), над ними обидно посмеивались.

(Эренбург, *Буря;* см. выше, стр 517)

Интересно, что слово «бомбежка», считавшееся раньше нелитературным, приобрело теперь права гражданства и стало относиться к сбрасыванию бомб с самолетов, тогда как слово «бомбардировка» сузилось до понятия артиллерийского обстрела:

Бомбежки сменились бомбардировками. Это было не так шумно.

(Тихонов, *Стихи и проза;* Гослитиздат, 1947, стр. 231)

Вошли в обиход и просторечные названия станкового и ручного пулеметов: «станкач» и «ручник»:

...вдали, начинаясь отдельными выстрелами, сухим треском автоматов, барабанным боем станкачей, разворачивалась прелюдия ночного боя... (Вершигора, *Люди с чистой совестью;* см. выше II, 10)

...застучали ручники... (Там-же, 52)

Нужно отметить, что и само слово «автомат» только со времени этой войны стало связываться в сознании широких слоев населения с автоматической винтовкой.

С развитием автоматизации и механизации вооружения появляются и соответствующие полные и сокращенные слова, связанные, главным образом, с артиллерией и противотанковой обороной («самоходка» — самоходное орудие — и производные, «иптап» — истребительный противотанковый артиллерийский полк — и производные, «ПТР» — противотанковый район, равно как и противотанковое ружье — и производные):

Среди них, в синих комбинезонах, примостились самоходчики. (Казакевич, *Весна на Одере;* см. выше, стр. 282)

Это же наши бьют, иптаповцы. (Там же, стр. 269)
— Петеэровцы, к бою! (Там же, стр. 269)

Новые методы ведения войны, уделение особого внимания идейно-психологической стороне, рождали и соответствующие термины, отображающие новые виды боеприпасов:

Как раз тогда в полк прибыла партия агитснарядов и агитмин.
(Некрасов, *В окопах Сталинграда;* см. выше, стр. 275)

Отметим также, что преобладание в современной войне маневренных форм над позиционными привело к вытеснению существовавшего выражения «передовая позиция» новым — «передний край». Чуткий к семантическим сдвигам язык подчеркнул разницу между относительно стабильной в Первую мировую войну окопной передовой позицией и современным подвижным передним краем:

Рядом, в десяти километрах... шел передний край, гремели бои, ухали пушки.
(Кочетов, «Под небом родины», *Звезда,* № 11, 1950, 34)

...на фронте, попав во вторые эшелоны армии, трудно судить о размерах и ожесточенности битвы на переднем крае...
(Фадеев, *Молодая Гвардия;* см. выше, стр. 83)

В связи с крайне усилившейся деятельностью авиации в этой войне и ролью воздушных налетов, наряду с наземной командой-эллипсисом «Огонь!», обычно связывавшейся с наступлением, появился и новый эллипсис «Воздух!», предупреждавший об опасности воздушного нападения врага, и носивший, таким образом, чисто оборонительный характер:

«Воздух!» — протяжно крикнул шедший впереди лейтенант.
(Гроссман, *Годы войны;* см. выше, стр. 5)

С американской помощью — с пресловутым «ленд-лизом» — связано заимствование названий многих автомобилей:

А то вдруг на виллисе майор какой-то в танкистском шлеме.
(Некрасов, *В окопах Сталинграда;* см. выше, стр. 258)

Здоровенный додж преградил нам дорогу. (Там-же, 55)
Форды, газики, зисы, крытые громадные студебекеры... (Там-же, 48)

Очень показателен цитируемый ниже отрывок, где отечественные марки автомобилей тонут в «железном потоке» машин с Запада, как полученных от союзников, так и трофейных:

Двигались «газы», «се-те-зе», «эмки», «вилисы», низенькие жукообразные «пежо» и высокие, колченогие, задом наперед «татры» с запасной шиной впереди и мотором сзади, сражались «доджи», «шевроле», «мерседесы», «ганзы», «ДКВ», любовно прозванные «Дерево-Клей-Вода», «хорхи», «вандереры», «ганемаки», «адлеры», «штейеры» «фиаты», «ягуары», «автоунионы», «изото-фраскины»,

«испано-суизы» и еще многое другое безымянное, сборное, чему давно уже нельзя было подыскать названия и определить тип и марку. (Павленко, *Счастье;* см. выше, стр. 244)

С помощью союзников связаны такие новые слова, как «тушонка» — один из видов мясных консервов, очень популярный в армии, «открывалка» — прикрепленное к банке приспособление для открывания ее:

Ел вашу тушонку, говорил по вашему полевому телефону.
(Эренбург, *Буря;* см. выше, стр. 640)

Сбоку была припаяна аккуратная открывалка.
(Симонов, *Дни и ночи;* см. выше, стр. 63)

Конечно, не только союзники, но и враги дали русскому языку лексическое пополнение. Здесь можно отметить два канала, по которым эти заимствования у врага поступали в язык военного времени: во-первых, фронт, где широко распространилось просторечное название немецких солдат и где часто в русский язык переходили названия вражеского оснащения:

Вырвавшись вперед к машинам, возле которых лежали мертвые и раненые фрицы, я подбежал к легковой...
(Вершигора, *Люди с чистой совестью;* см. выше, стр. I, 25)

Проклятые фрицы. Он теперь говорил, как его бойцы, «фрицы».
(Эренбург, *Буря;* см. выше, стр. 282)

Их выбивали гранатами, захваченными фаустпатронами.
(Там-же 759)

Немецкие гранатометчики (или, как их называют наши бойцы, «фаустники» — от названия крупной немецкой гранаты «фауст»)...
(*Известия*, 14 марта 1945)

Пехота указывала самоходным пушкам скрытые в зарослях «фердинанды» (немецкие самоходные пушки — Ф.).
(Гроссман, *Годы войны;* см. выше, стр. 385)

во-вторых, тыл, где в язык населения занятых немцами областей входили некоторые слова административно-оккупационного лексикона и название неизбежного спутника должностных лиц «дольметчер», а еще чаще «дольметчерка» вместо «переводчик», «переводчица»:

Все мужское население фольксдейчев было вооружено винтовками. (Вершигора, *Люди с чистой совестью;* см. выше, стр. 27)

Потом приехал зондерфюрер...
(Эренбург, *Буря;* см. выше, стр. 410)

Навидался он предателей, старост, полицаев. (Там-же, 337)

Своеобразное значение приобрело и давно существовавшее в языке слово «контингент»:

...ночью немцы ходили по домам собирать «контингенты» — обя-

зательные поставки. «Контингентов» было много: на зерно, молоко, кур, шерсть, яйца...

Существовали «контингенты» и на людей... (т. е. разверстка на рабочую силу, отправляемую принудительно в Германию — Ф.).

(*Известия*, 15 авг. 1944)

В то время, как большинство «оккупационных слов» явилось чистыми варваризмами, механически пересаженными в русскую речь, изредка с приданием им русской морфологии, некоторые моменты оккупационной жизни породили или расширили полисемию существовавших уже ранее русских слов, как, например, «немецкая овчарка» — стала обозначать женщину, находящуюся в близких отношениях с немцами; «душегубка» — явилась названием передвижной газовой камеры:

...название этого невиданного транспортного средства, изобретенного в Германии для отправки в вечность — душегубка...

(Леонов, *Избранное;* см. выше, стр. 609)

Вне сомнения, военные неологизмы, как отечественного, так и иностранного происхождения, недолговечны. Их возраст определяется возрастом самой войны, они рождаются и умирают вместе с последней. Особенно это касается варваризмов, связанных с моментами оккупации, это «проходящие тени» в языке, не более.

Но немногое, то ли нашедшее себе применение после войны, то ли оказавшееся достаточно ярким или типичным для периода великой схватки, задержалось в языке ее участников, а через них проникло и в общий язык. Недаром один из героев повести Бабаевского «Кавалер Золотой Звезды» замечает:

Войны нет, а слова не забываются, нет, нет, да и вспомнишь. Сколько новых слов мы выучили на войне.

(Изд. Молодая гвардия, 1947, стр. 281)

Действительно, война создала множество новых слов, но фразеология ее довольно бедна. Некоторые существовавшие ранее сочетания завоевали себе более широкую популярность, оставаясь в живом языке и после войны, и утверждая себя даже в литературе:

...громыхал на стрелках угольный эшелон. Ему дали «зеленую улицу» — право обгонять скорые и пассажирские поезда, его не задерживали на станциях. (*Литературная Газета*, 10 ноября 1948)

«Зеленую улицу» — грузам социалистического земледелия.

(*Гудок*, 15 июля 1949)

Это выражение, очевидно, возникшее благодаря зеленым огням семафоров, указывающих, что путь свободен, было введено в литературу А. Первенцевым, в его повести «Испытание»

(1942). В дальнейшем, становясь все более популярным, оно послужило названием повести Н. Сурова, получившего за нее сталинскую премию.

Не меньшей образностью отличается и другое, порожденное уже войной, выражение:

На автомобилях продефилировали десантники — «небесной пехотой» прозвал их народ. (*Литературная Газета,* 10 ноября 1948)

***

Но отгремела война. Началась мирная жизнь. И всё же, как в хозяйстве страны остались глубокие следы от военного времени, так и в языке многомиллионной массы демобилизованных еще крепко держалась укоренившаяся за годы войны фронтовая лексика, теперь несущая (так же как и в ранний период после гражданской войны) образно-метафорическую функцию, и подчас придающая речи, может быть, и несколько наивный, но в то-же время и выразительный характер. Подтверждением вышесказанному может, например, служить следующий разговор мирных сплавщиков:

...Ну, слушайте, я буду говорить по военному. Игнат и Никита, вам поручаю оборудовать огневую позицию, разведать вот тот кустарник, нарубить хворосту и хорошенько замаскировать материальную часть. Постройте командный пункт: имеется в виду шалаш из хвороста.

(Бабаевский, *Кавалер Золотой Звезды;* см. выше, стр. 282)

Или — название полезащитных лесных полос, насаждаемых по пресловутому «Сталинскому плану преобразования климата в СССР» — «зеленый редут»:

Тогда-же появился в степи и Федор Михайлович Касьянов... ныне ученый комендант зеленого редута...

(М. Рогов, «Зеленый редут», *Известия,* 10 авг. 1950)

Конечно, подобно тому, как они это делали в период после гражданской войны, большевики, очевидно, попытаются и теперь искусственно задержать военную лексику в литературе мирного периода, имитируя этим якобы воинственный энтузиазм советских трудящихся. Это и подтверждается рядом примеров. В. Юрезанский (У города вечной славы, Москва, Молодая гвардия, 1951, стр. 43), говоря о строительстве гидроузла, употребляет военный термин, привившийся в языке мирного времени:

У Сталинграда — один из передних краев борьбы за переустройство природы.

Директор совхоза, в рассказе Н. Дороша «Тихая профес-

сия» (Знамя, № 7, 1948), ходит с шершавыми, покрытыми царапинами руками:

...работники райкома, здороваясь, спрашивают, что у него с руками.

— Мы-ж, средний комсостав, сами людей в атаку водим, — отвечал Илья Адамович.

Подобная тенденция отображена и в поэзии. В том-же номере журнала «Знамя» мы находим стихи некоего Вяхирева — «Производитель работ»:

Полярных сражений солдаты
Сошлись в командирской палатке,
Слова по военному сжаты,
И речи отрывисто кратки.

Недавним фронтовикам трудно отвыкнуть от военной обстановки:

— Должно быть для «гражданки» я уже пропащий человек, — говорит в романе сержант Козаков, ведя речь о гражданской работе, работе не в армии. (*Правда*, 30 янв. 1950)

Незначительное соприкосновение Советского Союза с внешним миром через фильтр советской цензуры дало в послевоенный период немного неологизмов западного происхождения: — Коминформ, квислинг, денацификация, маки (зар), резистанс, Бизония, Бенилюкс (в Советском Союзе последнее слово имеет в середине «и», так как эта абревиатура производится от совмещения русских названий: Бельгия, Нидерланды, Люксембург). Сюда-же относится и иронический термин «маршаллизация» (т. е. включение в план Маршалла):

...в результате маршаллизации Италии...

(Радио-Москва, 21 марта 1949)

Новые образцы марок для маршаллизированных стран.

(*Крокодил*, 30 мая 1950)

Наряду с вышеприведенными словами — производными от имени генерала Маршалла, всегда имеющими презрительный оттенок, после войны появилось и слово «атомщик». Это слово в профессиональном диалекте обозначает специалиста по атомной энергии, но из-за исключительной засекреченности этой области в СССР подобная семантика не может быть популярной. Однако, большевики стараются популяризировать слово «атомщик» в другом его значении, а именно как синоним американского военного, государственного деятеля и т. д., «проповедующего атомную войну» с Советским Союзом, перенося,

по сути; этот термин на всех своих политических врагов в США:

Пособники американских атомщиков разоблачены.

(*Правда*, 28 мая 1950)

***

Если в предвоенный период была теденция очищения русского языка от «блатной» шелухи, что определяло здоровое начало в языке, то, теперь, после войны, наблюдается настоящий поход против всего западного, в том числе и слов иностранного происхождения. Здесь, большевики походят на наци, которые в свое время пытались заменить интернациональные слова специально изобретенными немецкими. Но большевикам это удается с большим трудом, главным образом, по двум причинам: во-первых, русский язык, никогда не чуждавшийся полезных иностранных терминов, очень уж сросся с массой слов иностранного происхождения, во-вторых, особенность большевизма, построенного на интернациональной политической терминологии, проникающей во все поры советского бытия, никак не способствует такой перестройке языка. Иногда советам приходится итти на ухищрения, так, например, в новом «Кратком словаре иностранных слов» (Огиз, 1947) отсутствует множество слов иностранного происхождения («адрес», «паспорт» и др.), что свидетельствует о их переключении в разряд исконно-русских. Зато, не видя возможности искусственно руссифицировать научную и техническую терминологии, советы, полностью обрушиваются на... кулинарию. Из этой кампании советской прессы приведем фельетон «Эскалоп с гарниром» (К р о к о д и л, № 11, 1949), в котором Варвара Карбовская рассказывает, как она с мужем отправилась в столовую, где им подали «длинный перечень блюд, отпечатанный на машинке»:

— Слушай, а что такое потафе? — кротко спрашивает муж.

Мне приятно, я чувствую превосходство: я изучала иностранные языки, а он нет. Поясняю охотно:

— Видишь-ли, тут не совсем правильно написано. Это по французски. По — горшок, фе — огонь. Пот-о-фе — горшок в огне.

— Та-ак, — задумывается муж. — Что-то мне не хочется этого супа из горшка. Что еще? Суп консоме. А как это по русски?

— Собственно, консоме — значит потреблять.

— Ага, значит суп ширпотреб.

Далее идет, с резкими выпадами против Запада, разбор, и перевод названий различных блюд — беф буйи, беф бризе, эскалоп с томатным соусом, крем брюле и др. Даже общеиз-

вестные «шницель» и «бифштекс» вызывают возмущение автора.

Непонятно, неаппетитно, обидно... — так заканчивает свой фельетон В. Карбовская.

Впрочем, акад. Терпигорев идет еще дальше: осуждая употребление в русском языке иностранных слов и выражений, он предложил создать в химии, физике и биологии «советскую терминологию в социалистическом духе»!

Призыв академика — «патриота» подхвачен уже многими научными работниками, а главное соответствующая директива уже «спущена» по распоряжению Кремля во все издательства. Не имея возможности затронуть все отрасли научной литературы, где происходит ожесточенная борьба с заимствованной у Запада терминологией, позволим себе сослаться только на один, но достаточно яркий пример такого изгнания из языка «презренной иностранщины». Так в предисловии к книге Я. М. Пиковского и др. «Эксплоатация дорожностроительных машин» (Дориздат, Москва, 1950) говорится:

«В соответствии с принятой Дориздатом терминологией, в данном учебном пособии вместо старых названий дорожностроительных машин использованы следующие: тракторный отвал (бульдозер), элеваторный плуг (грейдер-элеватор), струг и автоструг (грейдер и автогрейдер), тракторная лопата (скрепер), автораспределитель битума (автогудронатор), экскаватор автоковшевой (драглайн), экскаватор со створчатым (самосхватным) ковшом (грейфер)....».

С легкой руки А. Жданова (доклад о «Постановлении ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 г. — О журналах «Звезда» и «Ленинград», «Правда» от 21 сент. 1946 г.), пустившего в ход выражения «угодничество перед иностранцами» и «низкопоклонство перед Западом», большевики развернули кампанию и против космополитизма. Это слово давно было отнесено большевиками к чисто-буржуазным терминам и ему всегда противополагалось слово «интернационализм», как понятие солидарности мирового пролетариата.

Но теперь в слово «космополитизм» стало вкладываться еще новое содержание — оно превратилось в антоним слова «патриотизм», подобно тому, как словосочетание «буржуазный космополитизм» — в антоним словосочетания «советский патриотизм, кстати, введенного незадолго до Второй мировой войны. С «космополитизмом» возродилось и слово — «космополит». Последнее образовало целое фразеологическое гнездо, где оно являлось постоянным компонентом с варьирующимися

эпитетами: «безродный», «презренный», «прожженный», «оголтелый» и т. п. Сюда-же можно отнести слово «ура-космополит», попутно отметив, что слово того-же стилистического ряда, но с обратным значением — «ура-патриот» не появляется теперь на страницах советской печати.

Кличка «безродный космополит» стала применяться даже ретроспективно. В стихотворении, посвященном Пушкину (Новый Мир, июнь, 1949), К. Симонов, говоря о Дантесе, преподносит читателю такие неожиданные строки:

...Барьер. Наемный пистолет
Безродного космополита.

Из синонимов ко всевозможным «космополитам» следует назвать наиболее распространенную метафору — «беспачпортный бродяга». Как это ни парадоксально звучит, но этот-же «бродяга» клеймится так же как «буржуазный эстет» и «эстетствующий злопыхатель», а кроме того он еще оказывается «лазутчиком буржуазной реакции», носителем «творческого загнивания», «морального разложения» и «ущербного мировоззрения».

При всех официальных призывах к очищению языка и использованию, так называемого, наследства классиков, большевики культивируют в языке все те же чужеродные тела — политические штампы.

Именно эта категория слов, к сожалению, не подвергается никаким гонениям и ограничениям, а она то лишает, главным образом, великий русский язык присущей ему сочности и красоты.

А. и Т. Фесенко

ИСТОКИ БЕЛОРУССКОГО ИСКУССТВА

АРХИТЕКТУРА И ЖИВОПИСЬ

Культура Белоруссии, достигшая высокого уровня в период Великого Княжества Литовского (XIV-XVI ст. ст.) испытала затем падение, и только в нашем столетии последовало её возрождение. Культурные ценности Белоруссии, исскуство в том числе, часто рассматривались, как явления польской или русской культуры. Но находились ученые, которые в своих трудах проливали немало света на действительный характер культурных процессов, происходивших в Белоруссии.

К числу таких исследователей белорусского искусства принадлежал известный немецкий искусствовед д-р Иппель, давший в свое время несколько ценных статей на эту тему и, в частности, замечательную статью в сборнике «Weissruthenien», изданном в Берлине в первые годы после первой мировой войны[1]. Доктору Иппелю принадлежит заслуга определения того самостоятельного места, которое белорусское искусство занимает в истории мирового искусства. Последовавшее за этим оживление в творческой жизни Белоруссии в 20-х годах нашего столетия во многом подтвердило мнение немецкого искусствоведа.

Белорусская архитектура

Со времени распространения христианства в Белоруссии большое влияние на белорусское искусство оказала Византия. Прежде всего это сказалось в архитектуре. Уже в конце XI и начале XII ст. ст. в византийских формах строятся каменные церкви в Смоленске — развалины Смедыни, церкви — Петро-Павловская, Иоанно-Богословская и Свирская; в Витебске — Благовещенская церковь; в Полоцке — храм св. Софии, развалины Борисо-Глебского монастыря и Спасская церковь, в Гродно — Колоская церковь и др. Для всех них характерен кубический стиль каменного строительства.

Но здесь же особое внимание необходимо обратить на то, что белорусское искусство, подвергаясь влиянию того или иного

---

[1] Dr. Albert Ippel, «Zur Weissruthenischen Kunst» («Weissruthenien», herausgegeben von Walter Jäger, Berlin).

стиля, по-своему перерабатывало его, придавая ему местные особенности и вырабатывая собственный стиль. Так, например, уже во 2-й половине XII столетия смоленская архитектура создает самостоятельный упрощенный стиль четырехсводчатого трехабсидного храма. В Витебске и Полоцке воздвигаются оригинальные шестисводчатые, одноабсидные строения. В связи с этим некоторые исследователи признают влияние Витебско-Полоцкой архитектуры описываемой поры на Новгородское строительство. Упрощение византийской сложности, которое появилось в Новгороде в XIII-м и XIV-м ст. ст., в Белоруссии было раньше.

Влияние византийского архитектурного стиля на строительство Белоруссии почти совсем прекращается с XIII-го ст., когда на пожарище борьбы возникает Великое Княжество Литовское и интересы обороны выдвигают на первый план строительство замков. С этой поры сильнее чувствуется влияние западно-европейское. Замковое строительство в Новоградке, Троках, Лиде, Кревe и других местностях заимствует архитектурные формы немецкой готики. Вместе с тем, в пору европейского Возрождения и своеобразного ренессанса в Белоруссии — в XIV ст. определенное влияние на белорусскую архитектуру имеет и архитектура итальянского Возрождения. Все эти стили и влияния приобретают на белорусской почве своеобразный характер. В строительстве замков вся декоративная часть выдерживалась в чисто местной восточно-славянской традиции и удачно пользовалась орнаментальными мотивами, которые возникали из накопленных уже в крае навыков, западных и восточных художественных форм и собственных местных традиций. На основе немецких образцов белорусские архитекторы вырабатывали свой особый тип белорусской готики. А когда в XVI ст. на смену готики явилась архитектура романского ренессанса, то в Белоруссии и этот процесс приобрел особый характер. Возобновляется церковное строительство в виде оригинальных четырехбашенных поздне-готических конструкций, но на основании переработанных византийских планов. Так складывается оригинальная попытка объединения архитектурных типов церкви и замка-крепости, — так называемый цитадельный храм. Наиболее ярким типом этой белорусской готики проф. Щекотихин[2] признает Бернардинский костел в Вильно, который отображает в себе все традиции истории белорусской архитек-

[2] Подробно об этом в его «Очерках по истории белорусского искуства», том 1, Минск, 1928.

туры, существовавшие до того времени. В его основе лежат не схемы готических замков, а конструкция белорусско-готического замка с 4-мя башнями на углах. Происходит поворот к давно уже, казалось бы, погибшей традиции XII-го столетия, к византийским формам, но уже в новом, творчески переработанном виде — строительство укрепленных церквей, на подобие Синьковической в Слонимщине, Мало-Можейковской в Лидчине и Благовещенской при Супраслевском монастыре в Белосточчине.

С XVI-го столетия начинается господство дворцового строительства. Его формы под влиянием итальянской архитектуры и собственных традиций архитектурных школ в Полоцке и других городах приобретают характер спокойного целостного и строго-классического стиля. Под знаком торжественного величия проходит почти всё монументальное строительство в Белоруссии тех времен. Создается распространенный в Белоруссии тип двухбашенной базиликовой постройки с трансептом или без него, в один или три нефа. Сохранились и белорусские деревянные церкви того времени, двух, трех и пятисрубовые, с оригинальными системами перекрытий (трехскатные, шатровые, купольные) в Витебщине, Могилевщине и в Слуцке.

Позже, в XVII и XVIII ст. ст., на белорусской архитектуре времен падения Великого Княжества Литовского сильно отразилось влияние стиля барокко, но и здесь можно найти особенности, которые отличают его от польского и других вариантов.

С конца XVIII-го ст. самостоятельное развитие белорусской архитектуры сильно падает и только в народе, в его деревянном строительстве, сохраняются целиком самобытные строительные традиции. Со времени религиозной борьбы в Белоруссии православные белоруссы, объединенные в братства, строят много церквей. Большое распространение имели деревянные церкви и часовни. Среди этих строений имеются неплохие образцы народного архитектурного искусства, ибо их строили преимущественно мастера из народа. В Волковыске есть такая церковь, построенная из дуба еще 300 лет тому назад. Это прямоугольный сруб. Колокольня составляет сочетание куба с восьмиугольником наверху. Последний еще поддерживается восьмиугольными деревянными столбами. На них же опирается и тесаное перекрытие. Расположенные на расстоянии одного метра один от другого столбы вместе с зонтом перекрытия создают впечатление своеобразной архитектуры. Все части колокольни соединены исключительно народным способом — с помощью рубки или деревянных гвоздей.

Во второй половине XVIII-го ст. в Гомеле построили деревянную однонефную церковь пятиугольным простостенным срубом. Алтарь помещен в восточной половине, квадратной с восьмиугольным барабаном и верхом, он вынесен в пятиугольную абсиду. Паперть и служебные помещения помещены в первой половине под колокольней. Стены отделаны рубанком и окрашены. Наверху — росписи. С двух сторон церкви — галлерея с арками между деревянными столбами.

Все деревянные церкви в Белоруссии построены в этом белорусском национальном стиле. Если даже и крестьянская изба — обыкновенная четырехстенка — имеет в себе много художественного — расписные оконницы, украшенный резьбой карниз, фронтон, ворота и т. д., — то в строительство церквей народ вложил всё свое вековое стремление к красоте.

Современный белорусский инженер-архитектор г. Мозголевский в газете «Голос деревни» от 14 августа 1942 г. (№27) в статье «Белорусский стиль в строительной архитектуре» высказывает несколько интересных мыслей по этому поводу. Он отмечает, что в Белоруссии вообще многие строения кладут не из бревен с внутренним обтесыванием, как это принято в Великороссии, а из плотно пригнанных брусьев. Углы ровно выпускаются, если же строение не имеет выпускных углов, тогда они обшиваются досками. С помощью зарисовок с фотографии одной старой Слуцкой деревянной церкви, Мозголевский иллюстрирует особенности этого белорусского строительного искусства. Оказывается, и купол, и обработка колокольни, крыльца и окон, решетки для поручней и дверей имеют свои национальные особенности. Например, в постройке колокольни есть уклон к тройному делению пролета. Столбы и прогон окрашиваются в светло-зеленый и светло-желтый цвет, а обработанные доски в серый или светло-синий. Столбы на крыльце имеют свою оригинальную форму, которая нигде более не встречается. Столбы перил и решеток окрашиваются в разные цвета, ибо в белорусской архитектуре дервянные части никогда не окрашиваются в один цвет, как в Великороссии.

О художественной ценности народных строительных традиций свидетельствуют высказывания и немецкого искусствоведа д-ра Иппеля, который в своих статьях о белорусском искусстве писал следующее о крестьянских постройках: «В некоторых хозяйственных постройках мы находим здесь основные формы греческого театра и храма. Также встречаются крестьянские дворы, как напр., в окрестностях Рогачева, расплани-

рование которых напоминает эллинистические римские виллы».

По художественной пропорции и гармоничности, разукрашенности резьбой и национальной орнаментикой, а также по своеобразности в постройке и распланировании, белорусские крестьянские селения могут послужить образцами для создания современного деревянного белорусского строительного стиля, а также и создания монументального белорусского стиля в каменном строительстве. Отдельными белорусскими искусствоведами, как Щекотихин, Касперович и др., уже сделаны значительные вклады в изучение этого вопроса.

Белорусская живопись

Вместе с возникновением архитектурного искусства в Белоруссии еще в древние времена возникло и искусство росписи церковных стен. На этой почве росла белорусская живопись. Ее памятники известны с XII столетия. Фрески Полоцкого Борисо-Глебского монастыря и Смедынские росписи в Смоленске, как наиболее древние, свидетельствуют, что уже тогда существовали белорусские живописцы. Орнаментальные формы смоленских Смедынских фресок напоминают рисунки восточных и византийских тканей, а полоцкие фрески занимают промежуточное место между киевскими и новгородскими стенными росписями с уклоном к западно-европейским формам в орнаментальных деталях.

XIV ст. дает несколько памятников белорусской живописи в виде фресковых росписей в замке в Троках. Следы сформировавшейся белорусской школы живописи уже более выразительно видны в ряде фресковых росписей белорусских художников на территории Польши в XIV и XV ст. ст. Известно, что целый ряд костелов на территории этнографической Польши, как Вислицкий, Сандомирский и Гнезненский, во времена короля Ягайло были расписаны стенными фресками византийского стиля, в то время, когда там везде господствовал готический стиль. Дело в том, что король Ягайло до своего избрания на польский престол всю жизнь провел в Белоруссии и сохранил к ней особые симпатии до конца своих дней. Поэтому, когда явилась надобность разрисовывать костелы в его государстве, Ягайло приказал пригласить мастеров с его родины — Белоруссии. Счетные книги двора Владислава Ягайло дают сведения об этом. Из них видно, что виленские художники в Кракове в 1393-94 г. г. делали настенные росписи королевской спальни в Вавельском замке, а также костелов св. Креста на Лысой

Горе. Мастера-живописцы были окружены большим вниманием, им обеспечивалось безпрепятственное возвращение на родину после окончания работ. В счетах они назывались «pictores Ruthenici», что указывает на их белорусское происхождение. В одной записи имеется фамилия маляра «Владыка», которая была известна в те времена среди виленских фамилий. К сожалению, их работы целиком не сохранились. Однако, сохранились росписи в Сандомирском кафедральном соборе, фрески Люблинского замка с надписью на старо-белорусском языке, из которой видно, что они были исполнены мастером Андреем в 1413 г. От позднейших времен Казимира-Ягелончика сохранились фрески в часовне св. Креста Краковского кафедрального костела. Они так же, как и люблинские фрески, имеют длинную на древнем белорусском языке кириличную надпись и дату — 1478 г.

Польские историки — Длугош, Бельский, Кромер, Ваповский и др. в своих работах дают сведения о целом ряде живописных работ белорусских (виленских и других) живописцев в Польше. Это свидетельствует, что белорусское живописное искусство во времена Ягеллонов было очень распространено и что в то время существовала в Вильно белорусская школа живописи, возможно в форме отдельного специального цеха. Приемы упомянутых росписей имеют в себе много общего и создают единый белорусский живописный стиль XIV-XV ст. ст.

Установившиеся в те времена живописные традиции представляют белорусскую живопись, как отдельное направление, построенное на византийских формах, но отмеченное свободой в трактовании традиционных тем. Византийские каноны передавались в свободной натуралистической трактовке, более близкой к натуральности, чем к новгородской живописи, с которой, однако, тоже есть некоторое сходство. Особенности белорусской школы живописи XIV-XV ст. ст. позднее, когда центр живописных школ и традиций перенесется из полонизированной в XVII-ом и XVIII ст. ст. Вильны на восток Белоруссии — в Витебск, Могилев, Слуцк, — станут еще более своеобразны.

О факте распространения и признания белорусской живописи в XIV-XV ст. ст. за границами Белоруссии свидетельствуют польские историки искусства. Войцеховский в своей монографии «Kościoł Catedralny w Krakowie» (Краков, 1900) пишет: «В XIV ст. нет никаких сведений о краковских польских художниках. Упомянутые в краковских городских актах

«pictores» могли быть только позолотниками или лакировщиками, ибо если в Кракове нет никакого следа польской живописи и никаких сведений о ней, то это нужно объяснить тем, что краковские живописцы того времени умели только окрашивать стены и золотить звезды на них, икон же еще не писали. Если бы они знали и умели больше, тогда Ягайло не обошел бы их и не был бы вынужден вызывать чужих мастеров».

Это свидетельство хорошо иллюстрирует значение белорусского искусства, которое уже в далеком прошлом создавало признанные художественные ценности. Белорусское живописное творчество в XVI ст. дало много фресковых росписей с тонкой орнаментальной разработкой в Благовещенской церкви Супраслевского монастыря в Гроденщине (роспись 1551 г.).

Старые школы белорусской живописи

В XVII и XVIII ст. ст. развитие белорусской живописи получает новый размах. Рост населения и благосостояния городов, расцвет, благодаря Магдебургскому праву, ремесленных цеховых объединений способствовали и выделению художников в отдельные цехи: золотых дел мастеров-ювелиров, резчиков, древообрабатывателей и живописцев. Вместо прежних монументальных форм искусства и больших настенных росписей и фресок теперь пишутся в большом количестве небольшие картины, чаще на деревянных досках. Из небольших рисунков иногда составляются большие композиции, которыми украшаются иконостасы. Отдельные росписи иногда еще встречаются на стенах деревянных построек.

Имеются основания допустить существование специальных художественных цехов в Витебске, Могилеве и Слуцке. Живописное творчество того времени в этих городах дает все основания поставить вопрос о белорусской живописной школе. Ибо именно здесь ярко выразился отход от византийских образцов и приближение к некоторым западно-европейским школам. Происходило освобождение от иконописных канонов в сторону живописного натурализма и декоративной стилизации. С стилистической стороны здесь можно отметить некоторое сходство с немецкой живописью XVI ст. Знакомство с западно-европейскими образцами живописи во время возможных экскурсий на Запад представителей белорусских живописных цехов имело влияние на технические приемы и формальные особенности старо-белорусской школы живописи, на что обращал внимание еще д-р Иппель.

Могилевская школа живописи

Могилевская белорусская живописная школа определилась на целое столетие раньше, чем Витебская. Уже в половине XVII ст. для могилевских живописцев была характерной техника золоченых фонов, частично гладких, но чаще — мережистых со стилизованным растительным орнаментом, вложенным в рамки, или проложенным рельефом[3]. Этот последний в древности назывался «искусством, исполненным по золоту» и встречался в XVI ст. в памятниках испанской и нижнерейнской школ. Но в отличие от них белорусская живопись могилевской школы широко использовала и позднейшие ренессансные и барокковые формы орнаментальных мотивов, и, усложнивши ими свою орнаментальную декоративность, дала богатые образцы самостоятельных живописных приемов. Лучшие произведения могилевской школы отличаются живописным реализмом. В них можно найти характерные детали обстановки быта, натуралистическую композицию, характерный для Белоруссии коренастый тип человека, органическое сочетание красок в единство приятного, обычно мягкого и сумрачного, колорита. Отход от каноничности и привлечение к обработке темы живой природы позволяют всё больше вводить бытовые элементы, белорусскую народную одежду, в особенности орнаментальные узоры ткани, пейзаж и т. д. (Иконы: Рождение Марии — 1649 г. Воздвижение Креста — конец XVII ст., Рождество — конец XVII ст., Сретение — 1731 г.).

В конце XVII-го и начале XVIII-го ст. живописная работа могилевской школы проходит на той же реалистической основе, но уже с бóльшим уклоном в сторону декоративности. С течением времени, не без влияния белорусского ксилографического искусства, особенно гравюр Ктеинской и Могилевской братских типографий, происходит процесс перехода живописного принципа в графический, что особенно бросается в глаза уже в работах XVIII-го ст. Правда, они остаются в своей концепции произведениями той же могилевской живописной школы с ее свободой от условных традиционных канонов. Однако, здесь формы приобретают более ровный характер без передачи светотеней. Вместе с этим внимание живописцев переносится на композицию, которой придается еще бóльшая гармония

---

[3] М. Щекотихин, «Белорусская живопись в XVII и XVIII столетиях» («Каталог отдела древнего искусства 1-й Всебелорусской художественной выставки». Минск. 1926 г.).

в общем размещении фигур и обработке орнаментального фона. (Успение — XVII ст., Вознесение — XVII ст., Троица — XVII ст., Троица — 1675 г., Крещение, Сретение и Юрий — конец XVII).

Интересно, что вместе с отходом от общих византийских канонов вырабатывались собственные белорусские каноны, непохожие на соседнюю живопись великороссов и поляков, и сближавшие белорусское живописное искусство общими приемами и направлением с немецкой живописью, с одной стороны, и украинской иконописной живописью XVII-XVIII ст. ст. — с другой. Это нашло своеобразное проявление и в орнаментальных фонах в могилевской живописи XVII-XVIII ст. ст.[4]. Сам фон вокруг орнамента заполнен вложенными зигзагообразными полосками, иногда вертикальными, а временами и горизонтальными. Орнамент бывает рельефный, вылепленный из левкаса, но чаще орафированный по краям выложенной в фон тонкой линией. Мотивы исключительно растительные и различные по типам: 1) асиметричный, из неправильных, прямых и кривых линий; 2) из стилизованных листьев и стеблей, правильный, мягкий и загибающийся; 3) сломанный, с угловатыми концами, отдельные части которого свободно расходятся во все стороны; 4) округленный орнамент с стилизованным стволом.

В заключение обзора живописи могилевской школы нужно сказать несколько слов о найденном искусствоведом М. Щекотихиным белорусском живописце конца XVII ст., — Григории Медвецком[5]. Найденная икона работы Григория Медвецкого в Ильинской церкви в Журавичах свидетельствует о нем, как о выдающемся представителе могилевской живописной школы конца XVIII ст., а именно живописного реализма, известного в позднейших произведениях этой школы. Икона изображает фигуру Христа с поднятой для благословения правой рукой и круглой зеленовато-голубой державой — земным шаром — в левой. Фон картины коричнево-серый. На нем — красный цвет одеяния, украшенного

---

[4] Т. Ржевуская, «Орнаментованные фоны в могилевской живописи XVII-XVIII ст.» («Записки Отдела Гуманитарных наук Института Белорусской Культуры, книга 6. Работы Комиссии Истории Искусства», Т. 1, тетрадь 1, Минск, 1928 г.).

[5] М. Щекотихин, «Рыгор Медвецкий — неизвестный белорусский живописец конца XVIII-го столетия». (Упомянутые «Записки Отдела Гуманитарных Наук»).

матовым золотым орнаментом, и синий цвет плаща с пластично переданными складками. Тонко нарисованное лицо, с большими глазами хорошо оттеняется живописной одеждой с постепенным переходом от сумрачного света к глубокой тени, которая сливается с фоном. Картина отмечена свойственной этому художнику манерой свободного понимания живописных задач, ломанием омертвелых традиционных схем и канонов. Григорию Медвецкому в большой мере была свойственна особенная любовь к сдержанной темной цветной гамме, точность рисунка и пластичность трактовки, но без излишних мелочей. Это был опытный мастер с хорошим вкусом и усовершенствованной техникой. К сожалению, большинство имен старых белорусских живописцев неизвестны, сохранившиеся до настоящего времени картины и иконы чаще без имен.

Витебская живописная школа

Переходя к краткому обзору другой белорусской живописной школы — витебской, надо сразу же отметить, что она возникла на целое столетие позже — только в половине XVIII ст. На ее форфмирование оказали большое влияние живописные навыки могилевской школы. Витебская школа, это, прежде всего, направление, характеризующееся той же, что и в Могилеве, техникой золотых орнаментованных фонов, но с бóльшей яркостью красок и лучшим выполнением. Это преимущественно памятники образов с иконостасов Введенской (1740 г.) и Ильинской (1750 года) церквей, в Витебске. Здесь сохранилась и единственная подпись белорусского витебского живописца: на композиции на тему борьбы архангела Михаила с дьяволом сохранились инициалы: «T. O. M. roku 1750, Piotr Rutkowski».

Интересную статью о живописных работах витебской школы оставил упомянутый уже искусствовед М. Щекотихин — «Материалы к истории белорусского искусства XVIII столетия. Сборн. Витебского отделения Белорусского Государственного Музея» в первом томе непериодического издания Витебского Окружного Товарищества Краеведения — «Витебщина», Витебск, 1925 г. Автор этого исследования выделяет из общей массы иконописного материала интересную группу 22-х памятников из Латыговской и Введенской церквей и по особенностям письма и стилистическим отличиям разделяет их на три группы: 1) линейно-плоскостные композиции (8 образцов), 2) композиции живописно-декоративного характера (5 образцов), 3) композиции живописного (иногда живописно-мозаич-

ного) характера на орнаментованных, в большинстве золотых, а иногда серебряных фонах; — девять экземпляров (преимущественно из иконостаса Введенской церкви).

В напечатанной статье автор успел рассмотреть только первую группу — линейно-плоскостные композиции, а именно иконы «Рождество» — 1-й половины XVIII ст., «Вознесение пророка Ильи» — 1744 г., «Архистратиг Михаил и пророк Илья» — 1-ой половины XVIII ст., «Архистратиг Михаил и св. Николай», «Апостолы Петр и Иоанн», «Благовещение и св. Параскева», «Юрий и Василий», «Воскресение» — 1-й половины XVIII ст. Дав подробное описание композиции и живописной техники каждой из перечисленных икон, автор делает интересные обобщения. Во-первых, он отмечает их единство в смысле времени и места появления. Для всех них характерен линейно-графичный подход к созданию форм и равномерная трактовка цветной поверхности. Все картины здесь строятся на линейной выразительности и выдвижении графически-очерченных силуэтов на окрашенной поверхности. Роль красок здесь не имеет первенствующего значения, ею только затемняются цвета в спокойном сочетании, без красочных переходов и светотеней, ровным одноцветным слоем без всяких изменений и модуляций. Здесь происходило приближение к примитивной гравюре на дереве, в которой рисунок также строится исключительно на контрастах темных и светлых пятен в соединении с чистолинейными формами без цветных переходов от темного к светлому и т. п. Возможно, что здесь мы имеем влияние гравюрных узоров. Особенно можно отметить сходство этих латыговских композиций с гравюрами Кутеинского «Трифологиона» — 1647 г. Правда, это сходство наблюдается только в деталях, но м. б. здесь имело место влияние каких-нибудь других гравюрных образцов.

В своей композиции эти иконы обнаруживают полную самостоятельность от иконописных памятников Новгорода, Москвы и Польши. Интересно, что и некоторая зависимость от традиционных иконописных византийских канонов никогда не переходит в полную тождественность или подражание. Даже в иконах, которые исходят из общих византийских первоузоров, как «Николай», «Илья», «Василий», «Юрий» и «Параскева», несмотря на их традиционную каноничность типа и атрибутов, последние изменены рядом местных особенностей, отличающих их от других иконописных небелорусских школ: индивидуальные черты лица с национальным оттенком, национальные детали одежды, орнамента и т. д. Что же касается группы

икон — «Рождество», «Воскресение», «Вознесение Ильи», то они уже построены совсем самостоятельно. Это вполне оригинальная белорусская живописная разновидность общепризнанных христианских фигур, как «Архистратиг Михаил», «Ангел» и др. Так, например, интересно отметить в иконе «Рождество» такие детали, как типичная для белорусских композиций этой темы фигура младенца, спеленутого узким длинным свивальником или соломенная крыша на строении, наподобие крестьянских белорусских домов. Образ архистратига Михаила имеет общий тип лица с таким же образом на одной из гравюр Кутеинского «Трифологиона»: длинные, спущенные на плечи волосы, разделенные посредине простым расчесом; похоже и общее размещение фигур. Одежда Михаила также имеет бытовой характер, взятый с натуры. В образе Параскевы интересно отметить, что даже в трактовке головного убора выявилась белорусскость: под традиционной короной, на фоне золотого нимба, ясным белым пятном выделяется покрытие, повязанное на подобие белорусской косынки, т. наз. «наметки».

Всё это, вместе взятое, придает белорусскому древнему искусству живописи вполне самобытные черты.

Вл. Седуро

Не забуду — ночь была
Как из тусклого стекла.
Как из пакли, как из ваты,
Полумесяц желтоватый
Плыл над мыльною рекой.
А надежды — никакой...
В отраженном мутном свете
Целовались мы, как дети,
Крепко, долго, — целый час,
В первый и в последний раз.

Владимир Злобин

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПИСЕМ К Г-ЖЕ Х*

«Технические достижения современного искусства велики, но великого искусства и великих творцов нет. Мы вступаем в период коллективного, массового искусства. Красота человеческих чувств и красота души умирает.»

«Я всегда предпочитал рабочих буржуазии и всегда за них, но я не верю в высоту какой-либо массы. Обуржуазивание коммунистической России есть ни что иное, как требование среднего человека масс, чтобы для него была устроена более спокойная, устойчивая и приятная жизнь...»

«...Моя собственная эмоциональная жизнь складывается главным образом бессознательно, хотя со стороны это может быть и не видно. Я люблю порядок именно потому что в глубине моего существа шевелится хаос. Но это душевно-телесный хаос, дух во мне всегда сильнее. Ночь всегда представляется глубже и шире дня, этой маленькой полоски света. Но в ночи есть и дух, не только душевное, всё творчество коренится в ночной основе духа...»

«Ненависть к политике и ее подлой лжи принимает у меня болезненный характер. Главным злом жизни я считаю ложь. На это не обращают достаточно внимания. Всякий, кто стремится к силе и власти, кто во что бы то ни стало хочет реализовать свою цель в этом мире, обречен на ложь и даже принужден считать ложь добродетелью. На этом основана низость государства.»

См. кн. 35 «Нов. Журн.».

«Настроен я в последнее время тяжело. Меня мучит глубокое несчастье людей...»

«Теперь по отношению к человеку и вечности совершается предательство.»

«Когда христиане стали победителями, они перестали быть исповедниками распятой правды и начали утверждать правду распинающую...»

«Одинаково верно сказать, что место Сына Божьего в сердцах людей, и что место Его на Голгофе. В этом вся мировая трагедия. Крест есть парадокс — он есть порождение мирового зла и он есть спасение от зла. Потому сказано, что крест был для иудеев соблазн и для эллинов безумие.»

«Мы живем в одну из самых рабских эпох. В прошлом рабами были рабы, но у них пробуждалось чувство достоинства человека, и они возмущались. Теперь все стали рабами.»

«Любовь к толпе и преклонение перед ее мнениями и вкусами, конечно, самое низкое состояние, но наиболее высоко то сознание, которое свободно вбирает в себя и судьбу толпы, как и всего мира.»

«Меня не только беспокоит, но и мучит социальная проблема. Персонализм (признание верховной ценности конкретной человеческой личности) имеет социальную проэкцию. Общество может быть организовано персоналистически во имя каждой человеческой личности, ее достоинства, ее права на жизнь и на труд, на реализацию заложенных в ней возможностей. Персонализм требует преодоления власти денег, уничтожения классов, замены классовых различий индивидуальными призваниями профессий. Эта система ближе к Прудону, чем к Марксу. Впрочем, я во многом расхожусь и с Прудоном.»

«Господин, который говорил Вам о радикальном изменении психологии русских крестьян, ничего нового для меня не говорит. Я не раз писал о том, что в России появился новый

антропологический тип. Новое поколение крестьян, вероятно, в преобладающей своей части материалисты, атеисты, увлечены техникой. Но всё-таки они ничего общего не имеют с французской импотенцией; скептицизм *всегда есть импотенция,* — отсутствие витальной силы. Идут они совсем не к французскому рационалистическому гуманизму, к которому французы всё всегда сводят. Русский народ — народ апокалиптический.»

«Мне представляется презренно-жалким разговор бессильных скептиков о том, что всё относительно. Миром правит абсолютное, только абсолютное есть сила и жизнь. Ленин признал материю абсолютом и утверждал возможность абсолютного познания. Релятивизм он считал буржуазной идеологией. Релятивистически-скептические французские интеллектуалисты, сочувствующие коммунизму, суть порождение разлагающейся буржуазии. Французы не понимают, что в русском коммунизме поставлены последние вопросы духа и Бога.... Низан лепетал о достоинстве человека, как главной идее марксизма и коммунизма, как будто может иметь достоинство кусок материи. Изменники духа, предатели вечности — самые жалкие двухмерные существа, т. е. плоскостные существа, буржуа в глубочайшем смысле этого слова.»

«Я не могу Вам выразить, какое отвращение и брезгливость вызывает во мне конспирация, заговоры, секреты. В этом смысле, будучи революционером, я никогда не мог быть политическим революционером, как и политическим контр-революционером...»

«Свободный акт духа я противополагаю року. Он означает определяемость не круговоротом космической жизни, не тяготеющим над человеком магическим кругом, а внутренней силой, в которой человек не зависит ни от чего для него внешнего. Чувство тяготеющего рока означает, что человек зависит не от Бога, а от мира, от других людей. Свободный акт духа и значит, что человек не соглашается зависеть от косми-

ческих или человеческих сил. Вся моя религиозная жизнь связана с тем, что я не соглашаюсь ни от чего и ни от кого зависеть. Бог и есть эта моя независимость...»

«Меня возмущает Ваша защита советской власти. А вот в газете «Возрождение» я прочел, что я «красный генерал», что я защищаю «Чека и Соловки», что за моей религиозной философией скрывается защита большевизма. Бывает парадоксальное положение!»

«Когда Вы описываете светский ужин с советскими «генералами», то во мне всё переворачивается. Я вспомнил о Чернышевском на каторге, о Желябове идущем на казнь. Правда лишь в этом. Победа, торжество, реализация всегда подлы и низки. Советские «генералы» живут нравственным капиталом, который был накоплен теми, которые превращали свою жизнь в подвижничество, жертву и

«В этом мире материя крепче, прочнее духа. Именно поэтому мир должен кончиться, такой мир не может существовать вечно».

«Моя реакция иная, чем Ваша. Ложь и бессмыслица мировой жизни не ослабляют, а укрепляют мою веру. Зло мира свидетельствует о том, что этот мир не самодостаточен.»

«Чувствовать постоянно разверзающуюся бездну небытия и есть нечеловеческая жизнь.»

«У меня трезвое чувство реальности, и я не верю в возможность обойтись без государства, этого «холодного чудовища», как говорил Ницше, но сердце мое принадлежит анархии...»

«Вы с трудом можете себе представить, до какой степени моя жизнь прошла вне всего того, что называют «жизнью», вне того, к чему стремятся — успехов, желания власти над современниками и светской жизни с ее ресторанами, приемами и пр. У меня отвращение к роли «в жизни». Всё это представ-

ляется мне «небытием». И это совсем не потому, что я считаю себя стоящим на особенной нравственной высоте. Во мне самом много плохого, но другого...»

«Я давно заметил, что когда человек чего-нибудь хочет, то являются препятствия в форме «случайного стечения обстоятельств». Как будто желание порождает препятствия. Случай, для которого нет закона, играет в человеческой жизни бо́льшую роль, чем закономерная необходимость.»

«Коммунизм одна из значительных сил, действующих в смертельных судорогах умирающего мира и в столь же судорожном возникновении нового мира.»

«Я думаю, что восприятие человека может быть лишь целостным, его духа, души и тела. Лицо человека более всего выражает человеческую душу. Выражение глаз, звук голоса, движения, лицо человека не только физическое лицо, это также и духовно-душевное лицо.»

«Не могу Вам выразить, до какой степени меня ранит атмосфера мира. Я совсем истерзан этой атмосферой. Воздух насыщен испарениями злобы, ненависти, жажды насилий и крови, лжи. Никогда еще люди не были так далеки от свободы духа.»

«Мне мучительно читать в романе описание любви и слова любви, мне мучительно слушать, когда в жизни рассказывают о любви тех или других людей. Как будто во мне запало воспоминание из иной жизни, из иного мира, из непонятного прошлого.»

«Я не хотел сказать, что лирика есть эгоцентризм. Чудесность лирики в том и заключается, что она обладает силой претворять эгоцентризм, который в жизни уродлив, в красоту. Эгоцентризм сам по себе тяжел, он давит, в лирике же есть освобожденность. Освобожденность от тяжести есть качество всякого искусства.»

«...Иногда кажется, что я более не в силах выносить непомерность страданий человеческих, а также непомерность лжи...»

«Я хорошо знаком с тем явлением женской природы, которое можно назвать одержимостью и которое называют «ведьминым» началом. Это есть большое несчастье, пребывание в мире призрачном, лживом. Человек одержимый, допустивший власть над собой чужой и враждебной всему человеческому силы, перестает владеть своим «я», и вместе с тем ничем кроме своего «я» не интересуется, всё относит к себе, как к центру мира...»

«Вам покажется странным, что человека, который оценивает жизненные явления и суждения согласно директивам политической полезности, я считаю нравственно падшим существом, потерявшим человеческий облик.»

«Я думаю, что человек в каждое мгновение своей жизни должен быть обращен к вечности. Отрицание вечности — хамство, столь сильное в наше время. Социальную справедливость надо осуществлять также во имя вечности...»

«Теперь должен раз навсегда объяснить Вам, что я называю быть политиком и участвовать в политической борьбе, и почему я не политик. Политикой я называю, когда в борьбе прибегают к лжи, обману и насилию. Сам я человек борьбы и совсем не равнодушен к социальной жизни. Но я борюсь духовным оружием, не прибегаю к лжи, обману, насилию.»

«Я очень сочувствую тому, чтобы в Россию возвратились те, которые могут там работать — инженеры, врачи, техники и т. д. Но я философ и притом самого неподходящего философского направления. Существовать я могу лишь при условии совершенной свободы мысли... Приспособляться и подчиняться я не могу. Я никогда этого не делал, живя 5 лет в сов. России, за что и был сослан.»

«Жуандо прислал мне свою книгу. Книга изумительная, очень глубокая. И в нее вложена мысль очень родственная и близкая мне — о зависимости Бога от человека. В ней ставится проблема более глубокая, чем проблема любви. Жуандо самый замечательный писатель и еще совсем неосознанный.»

«Русская литература 19 в. и начала 20 в. безмерно выше западной литературы того же времени. Она стоит на высоте греческой трагедии, Данте, Сервантеса, Шекспира, Гете. Русская культура никогда не подымется выше того, что создал русский гений 19 в. Мы вступаем в царство посредственности.»

«Когда читаешь советские философские и литературные дискуссии, то охватывает ужас беспросветной пошлости, это напоминает сатиру или пасквиль. В учебнике геометрии найдены троцкистские уклоны...»

«Меня очень удивило, что в своем письме Вы в виде возражения мне говорите, что справедливость нужно осуществлять не только в загробной жизни, но и в жизни земной. Но ведь я много раз в своих книгах и статьях говорил именно это. Если Вы внимательно читали мою книгу «Дух и Реальность», то Вам должно было бы быть ясно, что я вообще считаю ошибочным обычный взгляд, противополагающий так называемую земную жизнь и жизнь вечную. Это есть ложная объективизация вечности, выбрасывание ее во вне.

Думаю также, что у нас есть недоразумение, когда мы говорим о массах. Масса совсем не есть социально-классовая категория, совсем не есть народные массы, не есть рабочие или крестьяне. Существует буржуазная масса, даже профессорская масса (самая глупая из всех). Рабочий может быть менее человек массы, чем буржуа. Человек массы, лишенный всякого оригинального суждения, безличный, живущий подражанием, повторением, это именно классовый человек, подчиненный закону большого числа. «Чернь» у Пушкина совсем не означала народа, крестьян, это было дворянское, чиновничье, придворное общество. Большая часть современного буржуаз-

ного общества есть «чернь». Но рабочие такие же, как все, среди них есть большое число средних, массовых, безличных. Привиллегированных классов нет, есть замечательные люди, личности, а не классы. Масса есть обыденность, притягивающая вниз. Это не имеет никакого отношения к вопросу о справедливости. Справедливость должна быть и для самых ничтожных из людей.

По поводу чествования Пушкина могу сказать, что между новаторами прошлого и чествующими их в настоящем есть пропасть. Судьба гениальных творцов трагична не только при жизни, но еще больше после смерти (Ницше самый яркий пример)».

«Вы исповедуете самую банальную рационалистическую теорию прогресса, верите, что человек может вполне рационализировать жизнь, подчинить разуму. Это рационализм провозглашенный французской просветительной философией 18 в., углубленный Гегелем, унаследованный Марксом, ставший поверхностно-глупым у его последователей. Я не люблю оптимизма, считаю его издевательством над непосильными человеческими страданиями. Да и блаженство будущего, если бы оно могло быть достигнуто, не искупит страданий и несправедливости прошлого. Вопрос прогресса очень сложный. Я не отрицаю прогресса, но он не есть линейное восхождение. Возростает добро, но возростает и новое зло. Сейчас происходит огромный регресс нравственного сознания в отношении человечества, в отношении убийств, казни, жестокости... Сознание 18 и 19 вв. было выше. Надеюсь, что Вы не исключаете из «тоталитарных» государств советскую Россию. Это самая законченная форма тоталитарного государства, вполне фашистская. Это военно-полицейское, бюрократическое государство, догматически опирающееся на массы.»

«Когда Вы говорите, что есть разное «добро» и разное «зло», что у каждого свой Бог, Вы воспроизводите обычный аргумент скептиков против всякой веры. На это можно воз-

разить лишь одно: выйдите из мира скепсиса, в котором всё двоится, всё множится, и войдите в мир, в котором есть единый Бог, в котором «добро» и «зло» реальности бытия, а не человеческие чувства и мысли.»

«Откуда Вы взяли, что существуют непреложные законы «общества». Таких законов не существует, это корыстная выдумка или иллюзия людей. Маркс это отлично понимал. Поклонение «обществу», как верховной ценности и цели, есть самая отвратительная форма идолопоклонства. Общество существует для человека, а не человек для общества. Нельзя осуществить свободу и утвердить достоинство человека, попирая свободу и достоинство человека.»

«Путем тирании можно создать только тиранию, и больше ничего. Кровь порождает кровь, насилие насилие, злоба и ненависть злобу и ненависть и порождает навеки. Свобода не создается насильственной экономической организацией. Нужна персоналистическая революция, революция во имя всякой человеческой личности, которая свергнет все идолы и кумиры. Марксизм выражается в отвлеченностях, а не в конкретностях. Пролетариат есть абстракция, конкретны рабочие люди. Хлеб нужен не обществу, не коллективу, а людям, человеку.

Вы плохо поняли, что такое совесть. У Сталина и Гитлера одна и та же «совесть», оба определяют свою мораль не в отношении к человеку, а в отношении к обществу и государству. У английского премьера Болдвина та же «совесть», что у Сталина и Гитлера, для него так же государство и общество выше человека и человечности. Это вечный конфликт, изображенный Софоклом в «Антигоне» (читайте греческую трагедию). Вы тоже идете за Креонтом, а не за Антигоной, Вы за закон общества и государства против человека. Самый последний из людей больше и выше «мира» с его царствами, монархическими, демократическими, коммунистическими. Ничто «общее», ничто отвлеченное реально не существует, реально существует лишь конкретно-индивидуальное и единичное. Вот

это и есть настоящая революция, а не маскарад, как все политические революции. Есть вечная совесть, как откровение Бога в глубине человека. Не убий, не украдь, не лги, не обманывай, не ненавидь, не мсти, люби Бога и ближнего, человека, — это вечное, попираемое Гитлером, Сталиным и всеми людьми власти и всеми поклоняющимися «обществу».

Есть глубокое различие между *вечным* во времени и тленным, преходящим во времени. Пример: марксистско-коммунистическую литературу в будущем никто никогда не будет читать, разве только для исторических исследований, так в ней всё бездарно и незначительно. Но пока будет существовать человечество, будут читать пророков, греческую трагедию, Платона, Данте, великих философов, нашего Толстого и Достоевского. Ненависть к человеческой гениальности, к высоте и вечности есть пафос коммунизма.»

«Выдержки из речей на съезде писателей я читал в журнале. Кроме того я читал полностью речи А. Жида и Бенда. В общем речи произвели на меня впечатление довольно большого убожества мысли, неспособности понять всю глубину мирового кризиса. Всё остается на поверхности, употребляют старые слова и категории, в то время как всё изменилось. Для меня ясно, что между французскими писателями, всегда гуманистами, но сочувствующими коммунизму, и писателями советскими происходит недоразумение. В слово «свобода» советские писатели вкладывают совсем другой смысл, чем писатели французские и другие. Только вследствие этого разного смысла слова «свобода» можно говорить, что в России сейчас существует свобода мысли и слова, в то время как она отрицается нисколько не менее, чем в Германии. В существовании свободы меня трудно будет убедить, потому что для доказательства ее существования я потребую права напечатать свою книгу или ввезти какую-нибудь свою книгу в Россию. Сейчас вот запретили мою последнюю книгу в Германии. Это то же самое. А. Жид, к которому я впрочем имею симпатию, — гуманист и индивидуалист в старом смысле слова и пытается наив-

но соединить свой безграничный индивидуализм с коммунизмом. В действительности он интегрального коммунизма не принимает и гораздо ближе к моему «персоналистическому социализму». Самой талантливой и интересной речью на съезде была речь Мальро, в ней была свежесть. Но он гораздо более ницшеанец, чем марксист. Русские речи в выдержках мне показались совсем неинтересными, меня это даже огорчило. Меня поразило заявление Низана, что коммунизм эклектичен, это совсем нелепо. Но в общем у меня такое впечатление, что съезд не был достаточно свободен, что слишком большую роль играла политическая организованность. Свободное слово и свободная мысль должны чураться политической организованности и государства, как чумы. Никто не сказал о пророческой миссии слова и мысли. Пророческий же смысл свободен и есть вечный смысл.»

«Вы как бы с упреком говорите, что я смотрю на деньги как поэт, и потому вижу в них символ и мистерию. Вы недостаточно всерьез берете, что у меня мистическое чувство и понимание жизни и что я христианин. Для христианскаго философа всё в этом мире есть также символ иного, духовного мира. Когда я говорил, что власть денег не преодолена и коммунизмом, то имел в виду совсем не тот элементарный факт, что в сов. России существуют деньги и связанное с ними неравенство. Это объясняется тем, что в одной стране по настоящему осуществить коммунизм нельзя и нужно пройти «этап», в котором деньги еще сохраняются. Но коммунизм материалистического и атеистического духа при осуществлении своем, после всех «этапов», никогда не победит власти символа денег и власти денег, ибо деньги — символ власти «князя мира сего», которому коммунистический дух поклоняется, принимая соблазн «богатством». Символу денег противоположен символ Распятия, мистерии денег противоположна мистерия евхаристическая. Для Вас это мифы и поэзия (слава Богу еще, если поэзия), для меня же реальность, первореальность. И я не отрекусь от этих реальностей потому что от них отреклась боль-

шая часть современного человечества, поклонившаяся разуму этого мира.

Вы продолжаете серьезно оперировать словами «правый» и «левый», и интересуетесь тем, «левее» ли я или «правее», чем Вы думали. Но слова эти ничтожны, это уличные, газетные слова, лишенные всякого глубокого смысла и содержания. Нужно интересоваться не «левостью» и «правостью», а истиной и правдой. Но люди мало верят в существование истины и правды и потому подменяют критерий истины и лжи критерием «левости» и «правости». Что значит, когда Вы говорите, что считали меня более «правым», чем я оказался? Думали ли Вы, что я враг свободы, противник справедливости и человечности? И почему пошли слушать лекции такого «правого», почему вступили с ним в переписку? Почему захотели перейти из своего мира в мой мир? Всё непонятно. Поскольку я отрицательно отношусь к русским коммунистам (не к коммунизму вообще), я считаю их «правыми», т. е. врагами свободы и человечности. Французские коммунисты менее «правые».

Я с большим сочувствием отношусь к Л. Блюму и от всей души желаю ему успеха. Но боюсь, что настоящего успеха в своем деле он иметь не будет, и именно потому, что он очень порядочный человек, не демагог, не злобный, не пользуется методом лжи, как главным орудием. Современные демагоги и диктаторы, властители масс злобны и лживы. Слабость правительства Блюма в том, что он вряд ли сумеет справиться с банками. Коммунисты же производят совсем смехотворное впечатление, они говорят те же общие места, которые говорили все, даже Лаваль. Мир находится в ужасном духовном состоянии, это самое ужасное.

Я, конечно, ищу «смысла», но мне нужно не только понять «смысл», мне нужно и реализовать его в полноте жизни. Современный же мир ищет «благ» жизни, силы жизни, но не ищет «смысла». В этом он ниже древних египтян, индусов, персов, греков и евреев».

«По поводу Ваших замечаний скажу, что дух может от-

чуждаться от себя, что и происходит в объективации, и может умаляться и иссякать. Дух может быть отрезан от жизни мира. Материалист имеет дух, но он отчужден от него в своем сознании. Человек может быть выброшен на поверхность и его собственная глубина может закрыться. Утонченность страдания не есть счастье, значение его другое. И утонченность не всегда хороша.

Арривизм очень свойственен современным людям, вся современная жизнь к этому располагает. Но во все времена человеку свойственно было желание играть роль, хотя бы в малом, если не в великом. Это смешная и жалкая черта, она встречается и у людей большого духовного масштаба. Человек иногда примыкает к какому нибудь направлению, потому что ему легче в нем играть роль. Нет ничего более комического и уродливого, чем человеческий эгоцентризм и его трансформации.»

«Я неточно выразился, сказав, что принадлежу к третьему типу, не богемному и не семейственному. В действительности я думаю, что не принадлежу вообще ни к какому типу. Мне чужда всякая кристаллизовавшаяся среда, всякий тип общества. Ведь богема, несмотря на свой анархический характер, есть тоже кристаллизовавшийся тип. Мне иногда говорили, что я похож на средневекового феодала, который сидит в замке с поднятым мостом. Это лишь образно-символическое сравнение, но оно указывает на слишком для меня определенный тип, во мне есть и совсем другое. По правде сказать, у меня отвращение ко всякому быту. Не люблю ничего конечного, люблю бесконечное. Всё-таки самое мучительное — одиночество в обществе, чувство страшной чуждости, столь хорошо мне известное. То страшное одиночество без людей, о котором Вы пишете, есть не одиночество, а жуть, страх, ужас.

Павловым я мало интересовался. Он выдающийся физиолог, но применение теории рефлексов к психологии я считаю ошибочным. Но вот курьез. Коммунисты очень ценили Павлова и носились с ним, считая, что его учение о рефлексах благоприятно материализму. Но Павлов был не только ученым фи-

зиологом, Павлов был также православный христианин, ходивший в церковь, принимавший участие в таинствах Церкви. Это интересный факт, которого многие не знают, как не знают, что Клод Бернар (Достоевский материалистов называл «бернарами») был верующий католик.»

«Вы правы, что я очень молод. По вечному своему возрасту (каждый имеет вечный возраст) я юноша. У меня совсем нет чувства зрелого возраста, солидности, маститости, почтенности. Мне кажется, что я всё тот же юноша, который искал смысла жизни и правды, жаждал познания истины. Умственная и душевная буржуазность и есть чувство зрелости, солидности, почтенности. Я ненавижу все это.»

«Последнее письмо Ваше интересно. «Смысл» не то же самое, что «цель». Цель обыкновенно относится к будущему, настоящее же рассматривается, как средство для этой цели. Смысл же присутствует в каждом данном мгновении, он для каждого данного человека. Смысл признает целью каждую данную человеческую личность, а не будущие поколения.»

«Недавно вышла моя книга «Судьба человека в современном мире». Ее находят очень пессимистической и мрачной. Я думаю, что это не совсем верное восприятие. Человеку придется пройти через мрак и ночь, чтобы выйти к свету, умереть, чтобы ожить.»

«Испанский народ — народ трагический, еще более трагический, чем русский. Русская трагедия обратная, она в вечной тирании организованной империалистической государственности над народной жизнью.»

«Конечно, необходимо заниматься вопросами экономики и политики, но конкретно это должны делать другие, не я. Я и так для философа слишком много отдал социальной жизни. В старом режиме я дважды сидел в тюрьме, был сослан на несколько лет на север России и против меня был возбужден процесс, который должен был кончиться вечным поселением в Си-

бирь за мою статью в защиту свободы духа. В советском режиме я также дважды сидел в тюрьме и был изгнан из России. Для философа это слишком. Я много внимания уделил и земле.»

«Вы очень хорошо поняли, что Ungrund (выражение Я. Беме) есть граничная тайна всего, но Вас беспокоит вопрос, где же свобода. Это скрыто почти за всеми вопросами. Ungrund и есть свобода без дна, безосновность. Сама свобода и есть предельная тайна. Миф о первородном грехе упирается в предельную тайну свободы. Мы не видим того, что происходит в нашей глубине и потому свобода для нас непостижима.»

«...Эти «чудеса» я считаю вполне возможными. Жизнь биологически бессмертна, неистребима. Но это биологическое натуралистическое бессмертие не только не дает никакого ответа на вопрос о личном бессмертии, но даже не ставит этого вопроса. Это родовое бессмертие. Гений рода издевается над личным существованием. Я думаю, что у Вас слабое чувство личности, ее неповторимости и незаменимости. Жизнь и процветание целого рода нисколько не искупает гибели хотя бы одного существа, напр. Вашей гибели, и нисколько не утешает.»

«Недавно я прочел выписку из московской «Правды». В статье, которая представляет собой нападение на папу, между прочим говорится, что в доминиканском католическом журнале напечатана статья «белогвардейца» Н. А. Бердяева. Неправда, что напечатана моя статья в доминиканском журнале, неправда, что я «белогвардеец», неправда, что какая либо моя статья связана с походом против советской России, всё неправда. Я много лет веду борьбу против «белогвардейских» настроений и в международных отношениях всегда защищаю сов. Россию. Сотрудники «Правды» отлично всё это знают, но считают ложь и клевету полезным средством для своих целей. Но ложь и клевета, постоянно практикуемая, безобразнее убийства.»

«Сейчас мир стоит под знаком жажды убийства... Я снова думаю о проблеме истории, не о величии истории, а об ее необычайной низости и лживости.»

«Меня очень утомила наша полемика о коммунизме. Меня поражает, что вы берете под свою защиту не коммунистическую идею, не рабочие массы, что я вполне понял бы, а власть, правительство. Но власть в большинстве случаев всегда бывала отвратительна, так всегда было и, вероятно, всегда будет. Меня более всего возмущает, что сейчас нельзя определить своего отношения к коммунизму иначе, чем определив свое отношение к коммунистической власти, хотя это разные вещи. Прежде можно было напр. быть горячим сторонником монархии и находить, что монарх отвратителен и правительство его мерзко. Теперь же прежде всего требуют положительного отношения к власти и ее агентам. И Вы становитесь на сторону такого рабства...

Коммунизм, не коммунизм вообще, а вот *этот* коммунизм не есть путь к лучшему будущему потому, что не может быть этим путем абсолютное, всесильное государство, «Царство Кесаря»; не может быть таким путем ненависть и насилие. Что христиане в истории часто распинали Христа, об этом я писал и говорил больше, чем кто-либо. Но Христос не был с теми, которые ни во что не ставят человеческую душу, не знают милости и сострадания. Эти именно походят на тех «христиан», которые распинали Христа.»

Н. А. Бердяев

РОССИЯ НАКАНУНЕ ВОЙНЫ 1914 ГОДА

Культурный подъем[1]

Вернувшись в 1910 г. в Россию я застал в революционной среде, так враждебно встретившей меня в 1906-м году, довольно большие изменения. Ненависти к правительству было не меньше, чем раньше; презрения к отцам, либералам, было по крайней мере на словах, пожалуй, даже больше; о преддумской «банкетной» кампании 1905-го года вспоминали с такою же озлобленностью, как и о «кровавом воскресении», когда двинувшаяся под предводительством Гапона с иконами и хоругвями к Зимнему дворцу рабочая делегация была встречена ружейными залпами, но во всем этом оппозиционном кипении не было прежней героической наступательной воли. Подсознательно многие уже начали сдавать позиции. Радикальные кандидаты прав с не совсем чистою совестью записывались в помощники к знаменитым присяжным поверенным буржуазно-либерального лагеря. Радикальные сыновья серых купцов шли торговать в отцовские лабазы. Кое-кто из студентов-общественников, словно в монастырь, уходили в науку. Один из знакомых, принимавший деятельное участие в восстании 1905-го года на ответственном посту, сел где-то около Або в маленькую рыбачью лодку и выплыл, почти не умея управлять парусом, в шхеры, с целью раз навсегда (в стиле ибсеновского «Бранда», не сходившего со сцены Художественного театра) решить для себя вопрос: что делать и как жить. Через месяц он вернулся с неожиданным для всех решением стать скульптором. Свое решение московский «Бранд» осуществил на славу. Его работы, имевшие большой

---

[1] Мы печатаем главы из воспоминаний Ф. А. Степуна (до сих пор появившихся только в немецком переводе) по присланному нам автором русскому тексту. *РЕД.*

и заслуженный успех даже на международных выставках в Венеции и Берлине, украшают ныне площади и музеи России.

Конечно, чистые теоретики марксизма не садились в лодки и не отчаливали к новым берегам. Внимательно следя за нарастающей реакцией, они не без самодовольства утешали себя мыслью, что бегство в культурничество представляет собою вполне естественное явление революционного отлива. Выдержанные идеологи революции, они уверенно ждали новой, приливной волны и к общему нашему несчастью действительно дождались ее — многие себе на голову. Вопрос о том, могли ли бы они и не дождаться ее, празден и пуст. Тем не менее в сердце не убить веры, что не случись войны, Россия могла бы избежать революции: пробужденная в 1905-м году революционная энергия начала в годы реакции повидимому довольно благополучно сливаться с созидательным процессом жизни. Мне припоминается на первый взгляд как будто бы и не типичный, на самом же деле симптоматически весьма существенный случай.

На подмосковной даче, в которую мы ради здоровья сестры переехали на постоянное житье, у нас служили в качестве дворника и кухарки Сергей Масленников с женою Татьяной. Чета была не вполне обычная. Сергей — красавец с гневными, шалыми глазами — пьяница и бабник: жена мечтательная истеричка. Вспомнив во время жарения жаркого, что телятина — телок, «глаза ласковые, язык шершавенький», она сразу же вынимала противень из духовки и уходила из кухни, «приттить в себя».

Восстание 1905-го года произвело на супругов совершенно ошеломляющее впечатление, они словно с ума сошли, опьянели. Да и было с чего. Жили в серости, в бедности, никогда ни о каких партиях ничего не знали, ни о каких своих заступниках не помышляли... и вдруг — вся страна за них: встали фабрики, встали дороги и пошли пылать господские усадьбы. Этого на старом положении, в бездействии вынести было невозможно. Надо было наспех менять жизнь, выносить ее куда-нибудь на вершину. Как быть? Помог урядник. Под прикрытием полиции, а может быть и при ее прямом участии, Сергей с какими-то подручными ворвался к нам на дачу (мать была как раз в Москве, отец в это время служил на Кавказе) и разгромив в порядке народного гнева кое-какую мебель, заботливо вынес, уже в порядке строгого коммерческого расчета, всё ценное и портативное из дачи: серебро, деньги, меховые вещи и персидские ковры. Мать

подала, конечно, в суд, но делу хода дано не было — не такие были времена. Через несколько месяцев мы узнали, что Сергей Масленников вместе с урядником открыли большое прачечное заведение — «специальность крахмал и тонкое дамское белье».

Приехав в 1911-м году в ту же дачную местность, я как-то во время прогулки увидел масленниковскую вывеску. Захотелось зайти посмотреть, как процветают старые знакомые. Встретили меня Сергей со своей Татьяной без малейшего смущения, без малейшего чувства замешательства. Рассказали словоохотливо, что дело идет, слава Богу, хорошо. Даже откладывать кое-что начали. В себе я никаких неприязненных чувств к грабителям не ощутил. Темное дело прошлого оказалось каким-то образом осмысленным и потому высветленным. Помню, я еще подумал: как хорошо, что их не судили и не посадили в тюрьму, пропал бы впустую неудержимый порыв выбиться в люди. А так, с грехом пополам, всё же живут и процветают.

Мой случай, конечно, ничего не доказывает. Рассказывая о превращении революционеров разных масштабов и толков в маститых присяжных поверенных, оборотистых лабазников, ученых, скульпторов и прачечников, я хочу указать только на ту энергию, с которой русская жизнь в «темные годы» реакции боролась против интеллигентской революции. Как в межфронтовой полосе, под перекрестным огнем двух вражьих станов, каким-то чудом сажалась и выкапывалась насущная картошка, так и в России накануне войны 14-года наперекор смертному бою охранного отделения и боевой организации, на жалкой почве как-никак добытой 1905-м годом свободы, вырастала какая-то новая, с году на год всё крепнувшая жизнь.

Москва росла и отстраивалась с чрезвычайной быстротой. Булыжные мостовые главных улиц заменялись где торцом, где асфальтом, улучшилось освещение. Фонарщиков с лестницею через плечо и с круглою щеткою за пазухой для протирания ламповых стекол, я по возвращении в Москву уже не застал. Когда керосиновые фонари уступили место газовым, я так же не могу сказать, как и того, с какого года газовое освещение стало заменяться электричеством. Помню только, что молочно-лиловые электрические шары, горевшие поначалу лишь в Петровских линиях, на Тверской и Красной площадях, стали постепенно появляться и на более скромных улицах городского центра. Ширилась и разветвлялась трам-

вайная сеть. Уходили в прошлое милые конки с пристёгом где одной лошаденки а где, как например на Трубной площади или под Швивою горкою, и двух уносов. Становились преданием парные разлатые линейки, что в мои школьные годы ходили в Петровский парк и Останкино, может быть и в другие окраины — не знаю.

Всюду как грибы вырастали дома. Недалеко от Красных ворот забелела одиннадцатиэтажная громада дома Орлика. У Мясницких ворот высоко подняла свои круглые часы башня нового почтамта. В тылу старенького «Училища живописи, зодчества и ваяния» загромоздились высокие корпуса с квартирами-студиями. На плоской крыше многоэтажного дома Нирензее с уютными квартирами для холостяков (комфорт модерн) раскинулось совсем по-европейски нарядное кафэ. Особенно быстро преображалась «улица святого Николая», интеллигентский Арбат. Едешь и дивишься — что ни угол, то новый дом в пять-шесть этажей. Нет, напрасно природные москвичи с пеною у рта ругают большевиков за то, что *они* стерли с Москвы ее стародавний облик. Облик этот начал меняться задолго до большевиков. Спору нет: большевизм проявил в своем коммунистически-государственном грюндерстве много бестактности и безвкусицы, но ведь и в вольном меценатски-купеческом строительстве не было недостатка ни в том, ни в другом. Достаточно вспомнить врубелевскую мозаику на Метрополе, громадные золотом окаймленные лиловые ирисы всем нам памятного особняка недалеко от Никитских ворот, неоготический замок Морозовой, глубоко во дворе на Спиридоновке, и знаменитый по своей нелепости особняк на Воздвиженке в мавритански-готическом стиле, с его усыпанными раковинами и окантованными каменными морскими канатами, башнями. Думается, что все эти стилистические изощрения подходили к старой Москве не больше, чем здание Моссельпрома. Единственное, что можно сказать в защиту вольного московского строительства, это то, что Москве всякая нелепая причуда всегда была больше к лицу, чем покорное послушание закону планового строительства. Иногда мне впрочем думается, что при внимательном рассмотрении советской столицы, образ которой, несмотря на сотни фотографий, мне всё еще как-то не видится, и в ней где-нибудь да и скажется исконный русский дар всё — хорошо ли, плохо ли, — переделывать на собственный лад.

Провинция преображалась пожалуй еще быстрее Москвы. У нас в Московской губернии шло быстрое перерас-

пределение земли между помещиками и крестьянством. (Известно, что накануне революции в распоряжении крестьянства находилось уже более 80% пахотной земли). Подмосковные помещики, поскольку это не были Маклаковы, Морозовы, Рейнботы, беднели и разорялись с невероятною быстротою; умные же и работоспособные крестьяне, даже не выходя на отруба, быстро шли в гору, смекалисто сочетая земельное хозяйство со всяческим промыслом: многие извозничали в Москве, многие жгли уголь, большинство же зимою подрабатывало на фабриках. Большой новый дом под железною крышею, две, а то и три хорошие лошади, две-три коровы — становились не редкостью. Заводились гуси, свиньи, кое-где даже и яблоневые сады. Дельно работала кооперация, снабжая маломочных крестьян всем необходимым: от гвоздя до сельско-хозяйственной машины.

Под влиянием духа времени и помещики перестали отказывать крестьянам в пользовании своими молотилками и веялками. Ширилась земская деятельность. Планомерно работал земский случной пункт под надзором двух дельных ветеринаров, к которым я часто ездил в гости. Начинала постепенно заменяться хорошею лошадью мелкая, малосильная лошаденка — главный старатель крестьянского хозяйства. Улучшились больницы и школы, налаживались кое-где губернские и уездные учительские курсы. Медленно, но упорно росла грамотность.

Было бы конечно большою ошибкою утверждать, что хозяйственный и культурный подъем в одинаковой степени охватывал всю Россию. Равномерным он мог бы быть лишь в результате планомерной, правительственной работы. Но правительство, во всяком случае в культурно-просветительной области, не работало, а в лучшем случае не мешало работать общественным силам: земству, городским самоуправлениям и отдельным талантливым личностям. Там, где такие личности находились, работа кипела и жизнь цвела; там же, где их не находилось, жизнь хирела и прозябала. Но таких «медвежьих углов» становилось в России, как мне помнится, из году в год всё меньше и меньше. Из своих четырехлетних лекторских разъездов по провинции я вынес впечатление, что за восемь лет, отделяющих революцию 1905-го года от начала войны, всё, если и не изменилось в России, то всё же начало видимо меняться в ней.

Исчезли пригородные кварталы, в которые нужно было ходить со своим фонарем, даже в небольших провинциальных

городах начало появляться электрическое освещение. Появились автомобили, которым в иных захолустных городах приходилось выдерживать атаки возвращающегося с поля стада. Помню рассказ о позорном водворении такого пионера культуры на двух волах в ближайший пожарный сарай какого-то уездного украинского города.

Юг развивался быстрее центра. В Херсонской губернии вместо привычных ярмарок начали ежегодно устраиваться сельско-хозяйственные выставки, которые с большим интересом посещались крестьянами. Мне рассказывали, что на одной из таких выставок можно было выиграть в лотерею верблюда, подаренного выставочному комитету передовым помещиком в качестве особенно сенсационной рекламы нового дела. В Николаеве, где я читал дважды перед очень живой аудиторией, значительная часть вывоза хлеба уже велась кооперативами. Украинские деревни, опасаясь пожаров, начинали покрываться черепицею, великорусские — железом. Не только в уездных городах, но и в больших селах начали появляться женские и мужские прогимназии.

На ряду с ростом хозяйственного благополучия росла и культурная самодеятельность. Расширялась сеть провинциальных театров, учащались разъезды по большим провинциальным городам столичных актеров, писателей и лекторов. В городах с большою примесью еврейского населения быстро размножались частные музыкальные школы. Перед самой войной по югу России разъезжал со своим оркестром учитель математики из Александрии, Ахшарумов, исполнявший, впрочем кажется довольно плохо, симфонии Моцарта, Гайдна и Бетховена.

Я знаю, мои сведения и наблюдения над хозяйственным и культурным ростом довоенной России случайны, отрывочны и малосущественны. Всё это я видел лишь мельком, из окна вагона. Будь я земцем, кооператором или наконец просто человеком с тем живым интересом к общественно-политической жизни, который во мне впоследствии пробудили война и революция, я безусловно мог бы сообщить гораздо больше интересного и важного, но всё же я думаю, что мои скудные и поверхностные впечатления по-своему показательны: как ни как они учат тому, что даже человеку с закрытыми на общественную жизнь глазами, нельзя было не видеть быстрого, в некоторых отношениях даже бурного роста общественных сил России накануне злосчастной войны 1914-го года.

Силовая станция всероссийской культурной работы на-

ходилась, конечно, в Москве, вдали от министерств и правительственных канцелярий. Как только я обосновался у себя на Балчуге, я сразу же без всяких особых с моей стороны стараний был вовлечен в налаживающуюся как раз в те годы широкую просветительную работу. К сожалению, не могу сказать каким образом и через кого я был приглашен в качестве лектора на «Вечерние пречистенские рабочие курсы». Лишь смутно помнится мне грязноватый кирпичный корпус, к которому меня еженедельно подвозили извозчики и те темноватые корридоры которыми я проходил к небольшой поначалу аудитории, состоявшей не только из интеллигентов, но и из настоящих рабочих. Могу сказать, что я к своему первому курсу, «Введение в философию», готовился с очень большим воодушевлением, движимый горячим желанием доказать рабочим, что над всеми людьми царствует единая в веках истина, которая и тогда единит нас борьбою за себя, когда, ослепленные ее отрицанием, мы озлобленно боремся друг против друга.

Моя идеалистическая проповедь начиналась, помнится, с живого беллетристического описания борьбы Сократа с софистами, которое я сознательно стилизовал в нужном мне политически-педагогическом направлении. Софистов я рисовал типичнейшими представителями господствующего класса, напомаженными, наряженными, праздными юношами. Сократа же — ремесленником пролетарием, еще по народному верующим в единую божественную правду. Маркс, которого я не называл, но на которого прозрачно намекал, выходил у меня типичнейшим представителем софистического рационализма, растлителем подлинной истины и народной души.

От исторического введения я, во многом следуя примеру своего учителя Виндельбанда, переходил к систематически-популярной разработке вопроса об истине-справедливости. Превращая ради наглядности искомую Сократом единую истину в некий, расположенный высоко на горе город, я тщательно доказывал, что считать нагорный город за монастырь, на том основании, что подходя к нему с востока, видишь только церкви, так же бессмысленно, как считать его садом, потому что подходя к нему с юга видишь одни сады, или наконец за фабрику, вид на которую открывается страннику с запада.

Так же, как с городом, поучал я, обстоит дело и с самой истиной. Конечно, пролетарий видит ее иначе, чем буржуй, буржуй — иначе чем служитель духа — ученый, художник, мыслитель. Но разве разница взглядов на единую истину и

многообразие подходов к ней опровергают ее существование, как некого положительного всеединства, восклицал я в духе Владимира Соловьева. Нет, надо только обойти истину, т. е. исконное и вечное бытие мира, со всех сторон и в том обходе сбросить все личные, классовые и национальные правды перспективно ущербленных мнений во всеохватывающую и целостную правду-справедливость.

Как по своему соглашательскому направлению, так и по своему идеалистическому пафосу, мой курс был конечно отнюдь не в духе организаторов и идейных возглавителей «Пречистенских курсов». Успех он однако имел и даже большой: аудитория увеличивалась от лекции к лекции, при чем увеличивалась не изменяя своего первоначального характера и состава. Очевидно интересы интеллигентных рабочих были всё же шире, чем то представлялось нашей лево-партийной интеллигенции.

К сожалению, после летних каникул моя лекторская деятельность на «курсах» была прекращена. Думаю, что причину надо искать в чьем-нибудь личном недоброжелательстве. Если бы я окончательно пришелся не ко двору у организаторов курсов и у полиции, мне вряд ли удалось бы уже в следующем году завоевать себе прочную позицию в «Бюро провинциальных лекторов».

Устроил меня в бюро популярный в те годы критик и лектор Юлий Исаевич Айхенвальд, плодотворную деятельность которого в «канунной России» было бы несправедливо обойти молчанием. Сын раввина, большой знаток Шопенгауэра, критик-индивидуалист, отрицавший традиционный в России социологический подход к искусству и не убоявшийся в печати ополчиться против кумира революционной интеллигенции Белинского, к тому же еще и страстный отрицатель театра в эпоху расцвета славы Комиссаржевской, Шаляпина и Станиславского, Айхенвальд не имел, казалось бы, никаких шансов на прочный успех у широкой русской публики. Тем не менее он его бесспорно имел. Ценила Айхенвальда не только Москва, любила его и провинция. Всюду, куда бы я ни приезжал, я слышал только положительные, иногда даже восторженные отзывы об его лекциях.

На кафедру Юлий Исаевич всходил как-то бочком с грустно склоненною на бок и как-то боязливо втянутою в узкоплечий сюртучек головою. Протерев очки белоснежным, всегда спрыснутым цветочным одеколоном платочком, он привычно ставил свои узкие локти на кафедру и, грустно

качнувши темнокудрою головою над сложенными как для молитвы руками, заводил свою негромкую речь. Юлий Исаевич не был оратором, но он был прекрасным лектором: говорил, словно читал скрытую от глаз слушателя рукопись, ни секунды не задумываясь над нужными для него словами.

Спрашивая себя, за что широкая публика любила Айхенвальда и ради каких преимуществ прощала ему его антиинтеллигентские выпады, я нахожу только один ответ: в канунной России была громадная жажда просвещения, не только в просвещенски-революционном, но и в подлинном смысле этого слова.

Широкие круги трудовой провинциальной интеллигенции, не исключая и «хорошо грамотных» рабочих, вовсе не были в такой мере захвачены исповеднически-политическим пафосом, как то казалось партийным «властителям дум». Помню, как я был удивлен тем, что страстные споры, кипевшие одно время в Москве вокруг покаянного сборника «Вехи», совсем не интересовали провинцию. Провинциальные представители свободных профессий, земские деятели, народные учителя и учительницы, не чувствовали себя виновными ни в «народническом мракобесии» (Бердяев), ни в «сектантском изуверстве» (Франк), ни в «общественной истерике» (Булгаков), ни в «убожестве правосознания» (Кистяковский), ни в «бездонном легкомыслии» (Струве). Но и Мережковского, гневно обрушившегося на «веховцев» целым рядом, по существу кое-в-чем верных, но по тону и стилю уж очень плакатно-звонких статей, своим призванным защитником не признали бы. Вся эта горячая полемика шла всего лишь по столичным верхам.

Читающая и думающая провинция была, как мне кажется, не только отсталее передовой столичной интеллигенции, но в известном смысле и здоровее ее. Она явно тянулась к хорошей, солидной книге и питательной научно-популярной лекции. По собственному опыту могу сказать, что небольшие, хорошо построенные курсы на такие темы как «Введение в философию», «История греческой философии», «Россия и Европа, как проблема русской философии истории», «Основные проблемы эстетики Возрождения», имели в Нижнем Новгороде, Астрахани и других городах не только не меньший, но скорее больший успех, чем отдельные миросозерцательные, остро публицистические лекции. Вот эту здоровую и горячую жажду знания и утолял Айхенвальд своими не слишком глубокими, но всегда хорошо продуманными и хорошо

сформулированными, исполненными подлинной любви к литературе, лекциями.

В защиту скончавшегося в Берлине критика и эссеиста, недостаточно ценимого собратьями по перу, должно впрочем сказать, что он вовсе не был тем беспринципно-привередливым, лишь индивидуалистически смакующим художественные произведения импрессионистом, за которого его почти всегда принимают. Хотя у Айхенвальда действительно не было законченной эстетической системы, (он не защищал ни «символического реализма» Вячеслава Иванова, ни «идеалистического символизма» Валерия Брюсова, ни «теургического искусства» Соловьева, ни «народнически-интеллигентского» искусства школы Короленко и Горького) в его статьях всё же нетрудно найти те принципы, что лежат в основе всей его писательской и критической деятельности.

«Талант никогда не лжет», «у слов и у дел один корень», в «самой форме человеческого стиха есть нечто жизнеутверждающее», «истинный поэт служит жизни, а не поэзии», «в основе своего духа мы невинны» — вот главные положения того оптимистически-гармонирующего, поэтически-аркадского миросозерцания, которое делало Айхенвальда страстным защитником «ее. величества жизни» и непримиримым врагом всякой конструктивной выдумки.

«Бюро провинциальных лекторов» организовалось при «Обществе распространения технических знаний», основанном в 70-х годах прошлого столетия и упорно распространявшем свою деятельность на утоление «духовного голода рвущейся к свету провинции», как любил выражаться доктор Грацианов, незабвенный председатель Нижегородского народного университета, процветавшего под странным названием «Секции воспитания, образования и гигиены».

Организованный при этом обществе учебный отдел, разбитый на двенадцать комиссий, ставил себе с каждым годом всё новые и новые задачи. Он издавал дешевые книги и брошюры по всем областям знания, а также и всевозможные подспорья и пособия для читателя: заботливо составленные «программы домашнего чтения» для начинающих серьезно заниматься самообразованием и «библиографические сборники» для преуспевающих. Дело велось широко, горячо, с подлинным идеалистическим подъемом и в том прогрессивном духе, которые были всегда характерны для добрых начинаний «отзывчивой русской общественности». На доме по Большой Кисловке, принадлежавшем, если я не ошибаюсь,

госпоже Азанчевской, должна быть со временем прикреплена мраморная доска с выражением глубокой благодарности всем тем, кто бескорыстно в нем трудились на пользу России.

В 1908-м году к двенадцати комиссиям общества прибавилась тринадцатая, возглавленная графиней В. Н. Бобринской, комиссия по организации образовательных экскурсий. Так началось паломничество неимущей русской интеллигенции, и прежде всего учительства, заграницу. Уверен, что если бы кому-нибудь из ничего не видевших кроме Советской России «шкрабов» попался бы в руки отчетный сборник тринадцатой комиссии, у него глаза полезли бы на лоб от удивления пред той свободой, что допускалась в царской России. Из учительских отчетов видно, что провинциальные путешественники не только коллективно осматривали музеи и памятники Западной Европы, но и вполне самостоятельно знакомились с постановкою школьного вопроса в передовых странах Европы. Просматривая случайно попавшийся мне под руку сборник, я удивился количеству объявлений о книгах и педагогических журналах. К таким заслуженным изданиям, как «Русская школа» и «Вестник воспитания», после 1905-го года сразу же присоединился специальный «Журнал для народного учителя», ставивший своею целью «обновление школы на началах, диктуемых современной научной педагогикой и новыми задачами русской жизни». Одновременно была открыта подписка на пятнадцатитомное издание «Педагогической академии».

Еще десять-двадцать лет дружной, упорной работы и Россия бесспорно вышла бы на дорогу окончательного преодоления того разрыва между «необразованностью народа и ненародностью образования», в котором славянофилы правильно видели основной грех русской жизни. К величайшему, лишь в десятилетиях поправимому, несчастью России этот оздоровительный процесс был сорван большевистской революцией, что в своем заносчивом стремлении создать подлинно-народную, рабоче-крестьянскую культуру напялила на хмельную голову умницы Есенина ту марксистскую шляпу, которой ему уже в 1924-году было некому поклониться в родной деревне:

«Но некому мне шляпой поклониться,
Ни в чьих глазах не нахожу привет».

Широкая просветительно-педагогическая деятельность

Москвы была, как оно всегда бывает, лишь одним из проявлений господствовавшего в столицах горячего, творческого подъема. Вспоминая те времена, удивляешься, с какою легкостью писатели и ученые находили и публику, и деньги, и рынки для своих разнообразных начинаний. Одно за другим возникали в Москве всё новые и новые издательства и журналы. Одним из первых органов новой, аполитичной мысли, возникли «Весы», издаваемые и редактируемые выбившимися из колеи отпрысками серокупеческих, московских родов — Поляковым и Брюсовым. Богатейший меценат Поляков был впрочем уже типичным, неряшливо одетым интеллигентом, с лицом живо напоминавшим Достоевского, у которого было несколько лиц. Брюсов же иногда выглядел форменным лабазником. Люди его обыденной внешности часто встречались за кассами охотнорядских лавок. В барашковой шапке и с фартуком поверх шубы, они с молниеносною быстротою подсчитывали на счетах огромные суммы за забранные московскими хозяйками товары.

В пику «Весам», находившимся под односторонним влиянием французских символистов, зародился на Пречистенском бульваре, против памятника Гоголя, определенно германофильствующий «Мусагет»: тут царствовали тени Гёте, Вагнера и немецких мистиков. Главный редактор «Мусагета» Эмилий Карлович Медтнер, брат знаменитого композитора, подписывал руководимый им отдел «Вагнериана» псевдонимом Вольфинг.

В противовес обоим европейским, но отнюдь не западническим в старом смысле этого слова, издательствам, сразу же выдвинулся на старые, но заново укрепленные славянофильски-православные позиции морозовский «Путь» с Булгаковым, Бердяевым и Трубецким в качестве редакторов и главных сотрудников. Позднее, уже кажется перед самой войной, появились в витринах книжных магазинов необычно большие желтые обложки «Софии», богато иллюстрированного, роскошного журнала, ставившего своею задачею ознакомление русской публики с Россией 14-го и 15-го веков, «более рыцарственной, светлой, легкой, более овеянной ветром западного моря и более сохранившей таинственную преемственность античного и первохристианского юга». Наряду с этими, во всех отношениях высококачественными, бескорыстными издательствами и журналами начали появляться и более конъюнктурные органы — купечески-модернистическое «Золотое руно», формалисти-

чески выхолощенный петербургский «Апполон» и наконец «На перевале», орган первой встречи старого натуралистического искусства с новым, модернистическим.

Все эти издательства и журналы, не исключая даже и последних, не были подобно издательствам Запада, коммерческими предприятиями, обслуживающими запросы книжного рынка. Все они осуществлялись творческим союзом разного толка интеллигентских направлений с широким размахом молодого, меценатствующего капитала. Поэтому и зарождалась в них и распространялась вокруг них живая атмосфера зачинающегося культурного возрождения. Редакции «Весов» и «Мусагета», «Пути» и «Софии» представляли собою странную смесь литературных салонов и университетских семинариев. Вокруг выдающихся мыслителей и выдвинувшихся писателей здесь собирался писательский молодняк, наиболее культурные студенты и просто интересующаяся московская публика для заслушивания докладов, горячих прений по ним и ознакомления с новыми беллетристическими произведениями и стихами.

В годы этой дружной работы облик русской культуры начинал видимо меняться. Успокоенная психология воспитанного на Чернышевском и Михайловском старотипного русского интеллигента начала постепенно перерождаться. Не только в столицах, но и в провинции начали появляться группы людей нового углубленного и расширенного сознания. Параллельно с обновлением литературы шло обновление и русской живописи. Грязноватые по колориту, иллюстративно-тенденциозные картины «Передвижников» уже без боя уступали место воздушно-красочным, эстетически самодовлеющим полотнам «Мира искусства» и «Голубой розы». Крепли музыкальные дарования Скрябина, Рахманинова, Медтнера, Ребикова, Лядова и других. На еще невиданные высоты поднимался театр. Имена Станиславского, Дягилева и Шаляпина гремели на всю Европу. Могли бы греметь, если бы их сумели соответственно показать, и имена Еромоловой и Комиссаржевской.

С гордостью показывая в Европе свои достижения, Россия с радостью и свойственным ей радушием принимала у себя иностранных гостей. Еще недавно мой дрезденский коллега, сын знаменитого Артура Никиша, рассказывал мне до чего его отец любил дирижировать в Москве: он находил, что более чуткой, восторженной, но и требовательной публики нет во всем мире. Очевидно мнение Никиша разделялось мно-

гими артистами Запада. Кто только ни приезжал к нам! Не буду перечислять имен пианистов и скрипачей — имя им легион. Из актеров я видел в Москве: Дузе, Сарру Бернар, Сальвини, Тину де Лоренцо, Грассо, Моисси, Поссарта, Дюмон и др. Перед войной в Москву стали наезжать не только артисты, но также и писатели, художники и философы. Маринетти, Верхарн, Вернер Зомбарт, Герман Коген и др. читали доклады и свои произведения.

Через все сферы этого культурного подъема, свидетельствуя о духовном здоровьи России, отчетливо пролегали две линии интересов и симпатий: национальная и обще-европейская. С одной стороны, по-новому входили в жизнь тщательно изучаемые специалистами произведения Пушкина, Баратынского, Гоголя, Тютчева, Достоевского и Соловьева, музыка Мусоргского (на сцене Шаляпин, на эстраде Оленина Д'Альгейм), апокрифы в переработке Ремизова для «Старинного театра» и, наконец, впервые по-настоящему оцененная русская иконопись. С другой стороны переводились, комментировались и издавались германские мистики (Яков Бёме, Эккехард, Рейсбрух, Сведенберг), Энеады Плотина, гимны Орфея, фрагменты Гераклита, драмы Эсхила и Софокла, провансальские лирики 12-го века и французские символисты 19-го. Всего не перечислить.

В театрах, и прежде всего на сцене Художественного театра, в замечательных постановках шли Гамсун, Ибсен, Стриндберг, Метерлинк, Гауптман, Гольдони и другие; классики: Шекспир, Шиллер и Мольер никогда не сходили с русской сцены.

Что говорить, не всё обстояло благополучно в этом подъеме русской культуры. В московском воздухе стояло не только благоухание ландышей, украшавших широкую лестницу морозовского особняка, в котором под иконами Рублева и панно Врубеля бесконечно обсуждались идеи «Пути» и «Мусагета», но и попахивало тлением и разложением. Несчастье канунной России заключалось в том, что в общественности и культуре цвела весна, в то время, как в политике стояла злая осень. Власть лихорадило: она то нерешительно отпускала поводья, то в страхе бессмысленно затягивала их. Не только революционерам, но и умеренным либеральным деятелям приходилось туго: всякого народного учителя поинтеллигентнее, всякого священника, не водившего дружбы с урядником, наровили перевести в город без железной дороги. Ясно, что трупный запах заживо разлагающейся власти, от-

нюдь не столь злой и жестокой, как в те времена казалось, но уж очень малограмотной в делах государственного управления и окончательно безвольной, не мог не отравлять самых светлых начинаний предвоенных лет.

Федор Степун

**
*

Мой вечер тих. Невидимых ветвей
Невнятный шорох следует за мною,
Воспоминанья робкий соловей
Вполголоса томится за спиною.
Я не вздохну. Неосторожный жест
Нарушит, может быть, очарованье, —
Офелия, как много в мире мест,
Где назначают призраку свиданье.
Меж двух домов беззвездная река,
В ней грозный факел отражен тревожно,
А ты плывешь, как облако легка,
Как водоросль слаба и невозможна.
О, ты плывешь, в бессмертье заперта,
За четырьмя замка́ми иль веками, —
Лишь с фонарей венчальная фата
Летит в лицо туманными клоками.
Поет тростник на темном берегу,
Дает сигнал к отплытию, и скоро
Я дымную звезду мою зажгу
Над рухнувшей твердыней Эльсинора...
И вот сосед, мечтательно жуя,
Проветриться выходит после чаю, —
— Да, это ночь, — он говорит, и я
— Да, это ночь, — как эхо отвечаю.

Вл. Корвин-Пиотровский

РАННИЕ ГОДЫ ЛЕНИНА

ЛЕНИН В КОКУШКИНЕ

В биографии В. И. Ленина, составленной в 1944 г. Московским Институтом Маркса-Энгельса-Ленина и одобренной правительством сообщается, что в декабре 1887 г. он был «выслан в деревню Кокушкино Казанской губернии под негласный надзор полиции». Читатель, которому ничего не говорит слово Кокушкино, должен страдать за 17-тилетнего юношу, бросаемого злющей царской полицией в неизвестную трущобу татарского края. Юный Ульянов был «deporté au village Kokouchkino» сообщает о том же факте R. Kovnator в брошюре «La mère de Lènine», изданной в Москве в 1945 г. и предназначенной для распространения заграницей. На французском языке сообщение приобретает, пожалуй, еще более зловещий оттенок. «Deporté» — звучит грозно, страшно вызывая в представлении производившиеся немцами «депортации». В действительности же, что превосходно знает и Ковнатор, и ему подобные, высылка Ленина в Кокушкино ничего страшного собою не представляла. В самом деле: что такое Кокушкино? По достаточно очевидным мотивам биографы Ленина, точно речь идет о дурной болезни, которую нужно скрывать, отыскивают темные формулы, чтобы не ответить ясно и прямо на вопрос. Выяснить же его весьма полезно. Это даст хорошее представление об обстановке, в какой протекали детство и юность Ленина.

Двоюродный брат Ленина, Н. Веретенников в маленькой памятке, посвященной «Володе Ульянову», говорит: — «Наш дед — Александр Дмитриевич Бланк — был врачем. Он жил в деревне Кокушкино и лечил крестьян». Подобной фразой советскому читателю внушается, что дед Ленина был только простым деревенским врачем и, очевидно, должен был вести более чем скромную, почти бедную жизнь, так как какие могли быть заработки у врача, да еще в эпоху крепостного права, от лечения крестьян? Другие внуки и внучки Бланка к сказанному Веретенниковым ничего не добавляют, приходится

Мы приступаем к печатанию новой работы Н. Валентинова — «Ранние годы Ленина». Н. Валентинов — автор книги «Встречи с Лениным», вышедшей в Изд-ве им. Чехова. *РЕД.*

искать дополнительных сведений о Бланке и Кокушкине не у них. Обратимся, например, к Крупской, жене Ленина, она что-то слышала об интересующем нас вопросе. В статье в «Большевике» (1938 г., № 12) она пишет: — «Бланк был крупным врачем-хирургом и, проработав 20 лет на медицинском поприще, купил *домик* в деревне, в 40 верстах от Казани, в Кокушкине и лечил крестьян».

Итак, что такое Кокушкино? Деревня, в которой Бланк купил «домик». Больше ничего. Видя, что Крупская, как и Веретенников, о чем-то умалчивают, что-то искажают — продолжим поиски. Вот статья в советской прессе, слывущая «исследованием» — «В. И. Ленин в Поволжье». Помещена она в «Историческом Журнале» (1945 г. № 4) и автор ее историк, профессор Б. Волин, один из редакторов этого журнала. Его положение давало ему возможность по разным архивным материалам в Казанской губернии и с помощью разных анкет собрать достаточно данных о Бланке и Кокушкине. Подобно всем другим и он избегает углубиться в вопрос. Как бы внося поправку в слова Крупской, он пишет, что Кокушкино не «домик», а «небольшое именьице — хуторок».

«А. Д. Бланк, окончил в 1824 г. Петербургскую медико-хирургическую академию, работал в разных местах в Смоленской губернии, на Пермском и Златоустовском заводах (вероятно, военных?) и, наконец, в Лаишевском уезде Казанской губернии, где, еще до освобождения крестьян, купил этот заброшенный, без земли, хуторок и стал там постоянно жить и заниматься врачебной практикой».

Почему Бланк решил вести «врачебную практику» не в Казани, большом городе, а забираясь в «заброшенный хуторок» в 40 верстах от Казани, куда в грязь осенью и в снег зимою добраться было очень трудно, проф. Волин не объясняет. Это и не важно, так как всё дело о Бланке и Кокушкине в действительности представляется не под тем аспектом, который ему навязывают Веретенников, Крупская и проф. истории Б. Волин. На этот счет мы располагаем другими сведениями. После смерти жены, т. е. приблизительно в 1845-46 г. Бланк решил где-нибудь «осесть на землю», сделаться помещиком и вместо медицины заняться сельским хозяйством. Необходимые средства для этого, видимо, достались ему от покойной жены. За какую сумму и от кого к нему перешло имение Кокушкино, как велико оно было — мы ничего не знаем, но, конечно, абсурдно говорить, что Кокушкино «домик» или «без земли заброшенный хуторок». Судя по назва-

нию, оно принадлежало раньше каким-то господам Кокушкиным. Эту фамилию среди помещиков мы находим и в Казанской, и Симбирской губерниях. Об одной Кокушкиной упоминает поэт Д. Д. Минаев в смертельно-оскорбившем симбирское дворянство памфлете «Губернская Фотография»: «Беседовский с гривой черной живет с Кокушкиной в ладу». Так как имение было куплено Бланком в половине сороковых годов, еще до освобождения крестьян, нужно полагать, что крестьяне купленного Кокушкина, возможно и деревни Черемышева-Апокаево, почти соприкасающейся с ним, населенной в одной половине русскими, в другой — татарами, были в той или иной форме людьми, подчиненными или крепостными Бланка. Он жил не в деревне, а у себя в имении, к составу которого до 1861 г. была приписана деревня Кокушкино и жил там совсем не в качестве врача, а владельца земли, что, конечно, не мешало ему, когда он того хотел, заниматься, между прочим, и врачеванием. Идеологический штамп, цензура и крайняя осторожность, обязующая, например, Веретенникова окончить воспоминания о мальчике Володе Ульянове здравицей в честь «великого и любимого вождя И. В. Сталина», — не позволяют изобразить деда Ленина — создателя Советского Государства — таким, каким он был, т. е. владельцем крепостных или оброк платящих крестьян.

Бланк имел пять дочерей. Самая младшая — Мария Александровна, вышла замуж (в 1863 г.) за отца Ленина, а несколькими годами старше ее Анна Александровна за Веретенникова. Дочери, еще более старшие, вышли замуж — одна за Залежского, другая за Ардашева (старая дворянская фамилия), третья за Лаврова, имевшего поместье недалеко от Ставрополя на Волге. В письмах Ленина кое-кто из этих родных упоминается, но редакторы, собиравшие эти письма и другие биографы Ленина явно избегают давать указание — кто они, какова была их профессия, социальное положение, их судьба. Ни о ком из этих родственников мы не слышим в годы, когда Ленин правил Россией. В этом умалчивании, — не по политическим-ли причинам, ведь не все родственники разделяли коммунистическую веру Ленина? — уже цитированный Веретенников доходит до смешного. В своих воспоминаниях он четыре раза указывает на каких-то двоюродных братьев и не поясняет о ком идет речь. Впрочем, даже и тогда, когда он дает пояснения о своих родных, они весьма смутны. Так, говоря о своей семье, жившей в Казани, он сообщает, что его мать «работала стенографисткой». В 70-х и 80-х годах о стено-

графии в России совсем не было слышно, тем более в таком провинциальном городе, как Казань. Кому и на что она была там нужна? Да, и служба этой «стенографистки» была странная: она бросала ее как только у детей кончались школьные занятия и переселялась с ними на целое лето в Кокушкино.

Любимейшей дочерью Бланка была мать Ленина. Будучи в гостях у Веретенниковой — замужней сестры, в те времена жившей в Пензе, она однажды тяжело заболела. И Бланк был так встревожен этой вестью, что «прискакал к ней из Кокушкина, всю дорогу (430 километров) стоя в санях и погоняя лошадей». Несмотря на любовь к этой дочери, он, по словам А. И. Ульяновой, будто-бы, не мог дать ей желательного образования, «не мог приглашать к младшим дочерям учителей, как к старшим». Нужно-ли объяснить это тем, что ко времени, когда его старшие дочери вышли замуж и с ним в Кокушкине остались только две младшие, материальное положение их отца резко пошатнулось? Однако, из всего, что мы знаем о матери Ленина совсем не видно, чтобы от этого пострадало ее образование. В Кокушкине она очень много читала и самым основательным образом овладела немецким, французским и английским языками (читала Шекспира), научилась превосходно играть на рояле и петь. Плохо верится, что она достигла этого без учителей или учительниц в деревенской глуши 40-х и 50-х годов. По словам ее дочери, этому она обязана жившей в Кокушкине тете-немке, сестре жены Бланка. Будь это так, следовало бы заключить, что тетя, как и жена Бланка, принадлежали к состоятельной и культурной семье. В то отдаленное время, главным образом, в таких семьях могло быть знание музыки и иностранных языков. Любопытно, что биографы Ленина, вроде Ковнатор, ухватываясь за указание, что у Бланка, якобы, не было средств, чтобы окружить учителями мать Ленина, отсюда, спеша, выводят, что Бланк и его младшие дочери жили в столь стесненных условиях, что бедная Мария Александровна принуждена была носить простые «ситцевые платья» и выполнять такую грязную работу, как «мытье посуды». Относиться серьезно к этому нельзя. В крепостное время для мытья грязной посуды было, наверное, достаточно дворовых девушек.

При жизни Бланка было принято, чтобы все дочери его приезжали в Кокушкино. Для самой любимой его дочери Марии Александровны предназначалась особая комната в мезанине старого дома, которая так и называлась «ульяновской». Для остальных же его четырех дочерей с семьями, приезжав-

ших на лето, Бланком недалеко от этого дома был выстроен другой, обширный дом, так называемый, флигель. Вряд-ли были возможны постройка этого флигеля, слёт и кормление в Кокушкине такого многолюдного населения, как пять семей, если-бы материальное положение Бланка было очень плохим. После смерти Бланка (в 1873 г.) имение превратилось в летнюю резиденцию, по преимуществу, семей Ульяновой и Веретенниковой, ставших, очевидно, по завещанию Бланка его совладельцами. Ульяновы из Симбирска, Веретенниковы из Казани приезжали туда на всё лето. Обе семьи следовали примеру дворянских семей, на весну и лето, из города, переселявшихся в свои поместья. Выезды из Симбирска в деревню — были для детей Ульяновых, в том числе и Владимира Ленина, предметом громадной радости, и нетерпеливого ожидания.

Герцен в «Былом и думах» вспоминает каким большим событием в годы его детства и отрочества было путешествие на лошадях из Москвы на лето в имения отца Васильевское и Покровское. Таким же событием было путешествие из Симбирска в Кокушкино для мальчика Ленина. Нужно было почти день плыть на пароходе общества «Кавказ и Меркурий» по Волге до Казани, а оттуда, после остановки в квартире тети Веретенниковой, на лошадях, прибывших из Кокушкина, ехать дальше. Володе на всё было интересно смотреть: на причал и отчал парохода, на встречные плоты, мели, волны, бегущие за пароходом, на чаек, бородатых крестьян на пристанях, на татар в тюбетейках, мордвин и чувашей в расшитых рубашках. Маленький Володя Ульянов был восторженным, экспансивным, самым шумливым, самым крикливым пассажиром на палубе.

«— На пароходе нельзя так кричать! — останавливала его мать.

— Пароход сам кричит, — отвечал Володя».

Ездя в Кокушкино и возвращаясь оттуда в Симбирск, юный Ленин много раз совершал это путешествие по волжской речной дороге. На ней всё ему было знакомо. Вот — тридцать верст от Симбирска— живописное село Ундоры. Горы здесь отходят от берега. Волга тихо течет в плоских берегах. У Майны горы опять приближаются к реке. На хребте их высоко взбирается, еле видный с парохода, городок Тетюши. Еше дальше, 130 верст от Симбирска, на другом, низком берегу реки пристань Спасский Затон. За ним, позади в десяти верстах, развалины «Великого Булгара», в X-XIV веке всему Востоку, вплоть до Ирана и Византии, известной столицы бул-

гарского царства, разрушенного Тамерланом. Еще дальше на высоком берегу — гора Сокол, на ней тоже следы древних булгарских укреплений. Около 100 верст от Казани — водная ширь: в Волгу вливается, как сталь блестящая, могучая, полноводная Кама. Ближе к Казани село Антоновка с ее садами яблонь. А кому на Руси неизвестно душистое, зимнее, антоновское яблоко? А там Казань, бывшая столица татарского царства. Уже видны стены ее Кремля с собором XVI века, с минаретом, старинной, семиэтажной башней царевны Сумбеки.

Волгу и путешествия по ней Ленин никогда не забудет. В 1902 г. в Лондоне, получив от сестры Марии Ильиничны описание как она каталась в лодке по Волге, он пишет матери: — «Рассказ меня раздразнил! Хорошо-бы летом на Волгу! Как мы великолепно по ней прокатились с тобою и Анютой весной 1900 г.!».

В 1910 г. направляясь к М. Горькому на Капри, он пишет М. А. Ульяновой: — «Дорогая мамочка! Шлю большой привет из Неаполя. Доехал сюда пароходом из Марселя: дешево и приятно. Ехал как по Волге». На Капри, после посещения лазурного грота, Ленин говорил Максиму Горькому: «Грот, конечно, красив, только очень уж это театрально, точно декорация. Едучи к вам, всё Волгу вспоминал. Тамошняя красота другая, простая, мне милее».

В 1911 г. в письме к М. Т. Елизарову, мужу его старшей сестры, он признается: — «соскучился я по Волге». А в 1912 г. в марте запрашивает мать: «как то у вас весна на Волге?».

Каким было Кокушкино во времена Ульянова?

На высоком берегу речки Ушни, близко от нее, стоял дом с мезанином, верхним и нижним балконами, с излюбленными в прежних русских поместьях колонками и с прилепившимися к балконам пристройками. Обитатели Кокушкина называли этот дом «большим», «старым». Там, в угловой комнате внизу, обычно поселялась на лето мать Ленина Мария Александровна и ее сестра Анна Александровна. В другой комнате, прежде бывшей кабинетом Бланка, устраивался отец Ленина, а в соседней комнате — Володя Ульянов с двоюродным братом Колей Веретенниковым. В мезанине размещались другие дети Ульяновых. Комната, где поселялся Володя Ульянов особенно прельщала его тем, что в нее можно было входить чрез окно. Такой путь был узаконен. Мать Ленина и его тетя очень любили цветы и потому всюду около дома были клумбы с резедой, левкоем, душистым горошком, никотианой, настур-

циями, флоксами и георгинами, мальвами в средине клумб. Недалеко от «большого» дома через дорогу находился тот дом, который, как мы сказали назывался «флигелем», тоже с мезанином и с большим балконом. Он был достаточно обширен, чтобы вмещать съезжавшийся на лето многочисленный люд из двоюродных братьев и сестер. Как и старый дом его окружали клумбы цветов. За ним тянулся большой сад с прудом. Ручей, питавший пруд, позволял на нем устроить мельницу, недалеко от которой начиналась деревушка Кокушкина, как и барский дом, смотревшая с высокого берега реки. Весь этот уголок у реки и ручьев (один из них с болотными растениями, напоминавшими розы, дети прозвали «Притоком зеленых роз») — среди холмов и оврагов, густых лиственных и сосновых лесов, среди лугов и полей, кажется был, может быть и остался, действительно живописным.

В середине флигеля находилась большая комната с биллиардом. «Летним днем в этой комнате, — пишет Веретенников, — была сосредоточена жизнь всего дома. Вскочив с постели, мы с Володей бежали сюда. Нас привлекал не только биллиард, на котором всегда кто-нибудь играл, здесь обсуждались будущие прогулки, отсюда собирались итти купаться или кататься на лодке, составлялись партии в крокет, изготовлялись фейерверки, у старших братьев шли приготовления к охоте».

Здесь еще ребенком Ленин научился играть на биллиарде и потом (мы могли в том лично убедиться) играл ловко, уверенно, со всеми приемами опытного игрока. В Кокушкине на реке Ушне он научился плавать, сделавшись превосходным пловцом.

«Володя, я и другие двоюродные братья с самого раннего детства любили полоскаться в воде, но сначала должны были барахтаться на мелком месте у берега и мостков или в ящике купальни. Старшие называли нас лягушатами, мутящими воду. Это обидное и пренебрежительное название нас очень задевало. Помню, как и Володя, и я и еще один из сверстников, в одно лето научились плавать. В семь-восемь лет каждый из ребятишек мог переплывать неширокую реку, а если мог и вернуться без отдыха на другом берегу, то считался умеющим плавать. Курс плавания на этом не кончался, мы совершенствовались беспредельно: надо было научиться лежать на спине неподвижно, прыгать с разбега вниз головой, нырнув доставать со дна комочек глины, спрыгивать в реку с крыши купальни, переплывать реку, держа в одной руке носки или са-

поги и не замочив их... Сроднившись с водой, мы выдумывали всякие затеи. Например, спустили на воду старую большую лодку человек на пятнадцать. Она уже прогнила, протекала, приходилось непрерывно вычерпывать воду ковшем. Мы приделали к ней вместо весел колеса. Сами смастерили вал с лопатками по концам и ручками посредине, приладили его поперек лодки и поехали по реке: один правил, другой вертел вал, а третий вычерпывал воду».

Сей «корабль» Володя Ульянов назвал «рукоходом». Это в Кокушкине Ленин начал превращаться и в выносливого гребца. Позднее, живя в Самаре, он совершал в лодке по Волге прогулки за 100 и больше километров.

Крайне трудно определить, чем в хозяйственном отношении было Кокушкино? Указания родных Ленина на этот счет нарочито пусты и темны. В состав имения по всему видно входила мельница, но Веретенников говорит о ней столь уклончивым языком, что можно подумать — мельница принадлежала крестьянам. В восьмидесятые годы Кокушкино, конечно, уже не было таким, каким его купил Бланк. Часть земли, вероятно, от него отошла при освобождении крестьян, часть была продана, всё-же кое-что в виде лугов, еще какой-то земли или в виде леса, куда Ульяновы и Веретенниковы любили ходить «за грибами и ягодами», осталось и о том, что в этом «остатке» были угодья, приносившие некоторый доход, — можно заключить из следующего. В декабре 1888 г. Ульяновы купили в 50 верстах от Самары хутор Алакаевка с 84 десятинами земли. После неудачной пробы эксплуатировать эту землю под управлением Ленина собственными средствами, ее стали сдавать в аренду (в девяностых годах некоему Крушвицу), т. е. прибегать к методу получения дохода от земли, который позднее Ленин в своих сочинениях называл «паразитическим». В октябре 1895 г., обращаясь из Петербурга к матери, жившей в то время в Москве, с просьбой «прислать деньжонок» *(до 27 лет Ленин не имел никакого заработка, жил на средства «фамильного фонда»).* Ленин запрашивал: — «получила-ли (она, мать) сентябрьскую аренду от Крушвица? Много-ли осталось от задатка (500 руб.)?». И тут-же другой вопрос: — «получила-ли ты сколько нибудь от тети?».

Сопоставление этих двух запросов ясно показывает, что от тети Анны Александровны Веретенниковой, ведавшей хозяйственными делами Кокушкина, нужно было ждать какой-то получки, чего-то подобного аренде, платимой Крушвицем. А

что в Кокушкине сдавалось в аренду, что приносило доход — лес, мельница, луг или иные угодья — об этом ниоткуда и никаких указаний не имеем. Можно допустить (мы увидим ниже, что это неправильно), что собственного хозяйства, например, каких нибудь посевов, владельцы Кокушкина не вели, но что там был какой-то служебный персонал — это несомненно. Анна Ульянова приехала из Петербурга в мае 1887 г. в Кокушкино, когда семья Ульяновых еще находилась в Симбирске. И та-же Анна, начиная с августа до первых чисел декабря 1887 г. продолжала находиться в Кокушкине, когда вся ее семья переехала в Казань. Неужели эта девица жила в имении (или на хуторе) одна-одинёшенька, не имея никого или никаких ей прислуживающих лиц? А кто охранял дома зимою, когда никто из «господ» не жил? Кто выращивал к приезду Ульяновых и Веретенниковых цветы и устраивал клубмы? Веретенников, вскользь, как анекдот, упоминает, что девять уток на пруду, приняв их за диких, подстрелил однажды один из его двоюродных братьев. Значит, в имении были домашние птицы и кто-то за ними ухаживал. Наверное были коровы или корова, иначе не была-бы понятна фраза Ленина в 1904 г. в споре с Ольминским: — «в имении деда не я доил коров»[1]. Наверное были лошади. Не на чужих же лошадях «дядя Ефим» или «молодой парень Роман» отправлялись в Казань, чтобы доставить в имение Ульяновых и Веретенниковых. Предположение, что лошади были наемными, ямщицкими — маловероятно. Его трудно согласовать с тем, что пишет всё тот-же Веретенников. Он говорит, что Саша Ульянов, любивший бродить по окрестностям нашел в десяти километрах от Кокушкина очень красивые места на реке Мёша — притоке Камы. Его рассказ о них «так всех заинтересовал, что решили *съездить* туда и не раскаялись. Впоследствии мы *много раз ездили на Мёшу, даже отвезли туда лодку*». Нельзя думать, что для этой барской прихоти, многократных поездок и перевозки на Мёшу лодки (такая перевозка не так уж проста!), владельцы Кокушкина прибегали летом, т. е. в пору сельскохозяйственных работ к наему в деревне лошадей. Лошади, очевидно, были в имении.

Лишь ухватываясь за вскользь брошенные слова, лишь подбирая буквально зернышко к зернышку, можно составить себе хотя-бы приблизительное представление о том, что было, что находилось в имении. Например, очень многоговорящее

[1] См. «Встречи с Лениным», Чеховское издательство.

слово бросила однажды Анна Ильинична. Так как она была выслана из Петербурга и ей было полицией приказано не отлучаться из Кокушкина, полицейский пристав, приехавший проверить выполняет ли она предписание, о том ей напомнил. Насмехаясь над ним, Анна Ильинична, спросила: «значит, и в рощу за гумно мне пройти нельзя?» Из этих слов мы узнаем, что в имении Кокушкино было *гумно*. Но что такое гумно? Чтобы нас не упрекали в неверной интерпретации этого термина, обратимся к словарям русского языка. Словаря Даля у нас нет, но вот два словаря, изданные уже в советское время, – один под редакцией проф. Ушакова (1935 г.), другой Ожегова (1952). Оба — ибо здесь не о чем и спорить — одинаково указывают, что гумно это площадка для молотьбы хлеба, ток. В некоторых губерниях в понятие гумна входят амбары для хранения обмолоченного зерна. Если в Кокушкине было гумно — значит что-то (пшеница или рожь, овес или просо) на нем молотилось и там-же хранилось. Пусть гумно было маленьким и захудалым — оно всё-таки было, являлось частью, присущей всем имениям, ведущим какое-то сельское хозяйство. Зачем тогда лгать, что Кокушкино только «домик» в деревне или без земли и без всякого хозяйства хуторок?

Это, производящее отвратительное впечатление, скрытничание делается для того, чтобы советский читатель не знал и не смел думать, что Ленин — Владимир Ульянов — при очень больших удобствах жил в имении, где он и съезжавшиеся туда его двоюродные братья и сестры (Веретенниковы, Залежские, Ардашевы) обслуживались как все помещичьи дети — дядями Ефимами и парнями Романами. Веретенников, брошюрка которого о «Володе Ульянове» издана в количестве нескольких сот тысяч экземпляров, и вслед за ним Ковнатор — буквально изощряются в уверениях, что летнее Эльдорадо Ленина было только негодным, жалким уголком.

«В Кокушкине всё было ветхо: в большом доме печи испорчены, не топились, крыша протекала, биллиард был с войлочными бортами (что это значит?), лодка дырявая, купальня тонула, мостки к ней проваливались. Не было средств поддерживать всё в порядке».

Всё в мире стареет и ветшает. «Большой» дом, купленный Бланком в 1845-6 годах — за сорок лет, разумеется, должен был обветшать. И всё-таки нельзя же до смешного преувеличивать ветхость и негодность всего находившегося в Кокушкине. Начать с того. что лодок, в то время о котором говорит Веретенников, было три — одна, большая на пят-

надцать человек, та действительно протекала. Повидимому, катанья на ней, совершавшиеся когда-то при Бланке многолюдным обществом уже не практиковались и ее не поправляли. Это дети превратили ее в «рукоход». Кроме нее было еще две лодки — одна «душегубка», легкая лодочка, постоянно находившаяся в распоряжении Саши Ульянова и другая, конечно, не дырявая. Если-бы она была дырявой, ее не отвозили бы на Мёшу, чтобы там на ней кататься.

Отвести нужно и указание на протекающую крышу дома и прогнивший мосток к купальне. Не всегда же крыша протекала, а замена негодного мостка несколькими новыми досками вызвала бы крохотный расход, неизмеримо меньший чем, описанное Веретенниковым, восстановление большой, в четыре метра вышиной, плотины на пруду, однажды прорванной потоком непрерывного дождя. Странно и замечание об испорченных печах. При ничтожной оплате труда в 80-х годах, их починка не разорила бы владельцев Кокушкина. Сделать же ее было тем более легко, что печник Карпей из деревни Черемышево, а о нем в ее воспоминаниях с большой симпатией упоминает А. И. Ульянова, часто приходил в Кокушкино. Да, наконец, не всюду были испорчены печи. Они всё-таки были в порядке во флигеле, где с начала декабря 1887 г. по осень 1888 г. жил, сначала с одной сестрой, а потом со всей семьей, высланный из Казани Владимир Ульянов. Словом, в описании официальных биографов мы имеем сознательное, так сказать, «идеологическое» сгущение дефектов Кокушкина. Партийная идеология к тому обязывает. Факты ей противоречат. Она отвечает по Гегелю: «тем хуже для фактов».

За исключением, кажется, одного только Саши Ульянова, вечно погруженного в естественные науки, составлявшего в Кокушкине замечательные коллекции, препарировавшего лягушек, изучавшего, сидя в лодке на Ушне, жизнь червей и всяких букашек, другие летние жители Кокушкина ничем серьезным не занимались. По глубокому убеждению Володи Ульянова (это было потом и убеждением Ленина) лето должно быть временем только удовольствий и полнейшего отдыха. «Володя всецело отдавался отдыху и играм». Ни в одну книгу летом он не заглядывал. Но он очень любил со своими сверстниками и двоюродными братьями говорить о ранее прочитанных книгах. Среди прочитанных авторов у него всегда на первом месте был Тургенев, которого, по словам А. И. Ульяновой, он мог в Симбирске «читать и перечитывать несколько раз». Когда дети попали первый раз в «живописное место» у

реки Мёши и кто-то из них воскликнул: «совсем как Бежин луг у Тургенева», Володя Ульянов немедленно внес поправку: знаток Тургенева, он точно знал, что картина «Бежина луга» другая. Одному из своих двоюродных братьев он настойчиво советовал обратить внимание на Давыда в рассказе Тургенева «Часы». А позднее, когда дети превратились в подростков и начали уже интересоваться вопросами любви, Владимир Ульянов им авторитетно разъяснял, что «святость любви» нужно понимать как тургеневский Колосов. В Кокушкине, ему было тогда лет 13, он любил экзаменовать знание Тургенева своими двоюродными братьями. Николая Веретенникова он строго спрашивал:

— «Дым» Тургенева читал?

— Да.

Но Володя ясно слышит неправду и потому задает коварный вопрос:

— А повесть «Литвинов» читал?

Я скромно уклонился от вторичной лжи: нет, не читал.

— Ну, вот и соврал, что «Дым» читал. Если бы читал, то знал бы, что Литвинов — герой романа «Дым». Никакой повести «Литвинов» Тургенев не писал».

В годы гимназии Владимир Ульянов из сочинений Тургенева больше всего любил «Дворянское гнездо». (Так он ответил в 1904 г. на вопрос пишущего эти строки). Но что могло ему нравиться в этом романе? Вспомним его содержание. Лаверцкий любит Лизу Калитину и она любит его, но роман кончается ее уходом в монастырь. Жена Лаврецкого, его бросившая и обманывавшая, о которой было оповещено, что она умерла, оказывается живой, а Лиза воспитывалась в таких понятиях при которых любовь к женатому человеку есть тяжкое преступление. Чтобы замолить свой грех она и поступает в монастырь. Лаврецкий мог-бы развестись с женой и жениться на Лизе. Понятия Лизы это запрещают. «Ах, Лиза, как-бы мы могли быть счастливы». «Счастье, отвечает она, зависит не от нас, а от Бога». Лаврецкий бессилен побороть это отмеченное роком мировоззрение. Жизнь обоих разбита.

Здесь как будто ничто не должно бы нравиться юному Ленину. И, конечно, уж не религиозность Лизы. В 16 лет он перестал или переставал верить в Бога, а несколькими годами позднее превратился в воинственного атеиста. В Симбирске и Кокушкине ему нравились Давыд и Колосов в рассказах Тургенева, а фигура Лаврецкого никак не могла ему импонировать. Почему-же, повторяем, он считал «Дворянское гнездо»

одним из самых любимых им произведений? Загадка! (В 1904 г. мы могли спросить об этом Ленина и не сделали. Впрочем, о своем отношении к «Дворянскому гнезду» Ленин бросил тогда мимоходом лишь несколько слов и по всему было видно, что входить в какое либо объяснение по этому вопросу он не хотел). Попробуем загадку разгадать.

Тургенев принадлежит к числу художников, сумевших передать, в глазах уроженцев России, особую прелесть великорусской природы, весьма скромной и яркими красками неблещущей. А среди этой природы жил, дышал и ее по-своему очень любил Владимир Ульянов. Огромная ошибка, а ее делают многие, почти все, считать Ленина чугунным обрубком, производителем только политических резолюций, совершенно равнодушным, нечувствительным к красотам природы. Он любил и поля, и луга, и реки, и горы, и море, и океан. Меньше всего о том можно догадаться по его деревянным, невероятно грубым, строкам, которые он изредка посвящал искусству и литературе. Еще меньше о том можно судить по тому, что он говорил о своем ощущении природы, во-первых, потому что язык этого человека был неуклюж и очень беден, а, во-вторых, чувствования свои он не только не любил, а даже конфузился обнаруживать. Тем не менее, любовь к природе, восхищение ею, помимо его воли, сказываются даже в коряво-написанных письмах к матери. В 1895 г., впервые попав в Швейцарию, он писал ей: «Природа здесь роскошная, начались Альпы, пошли озера, нельзя оторваться от окон вагона». В 1903 г. он пишет ей из Лондона о наслаждении вырваться «из большого города и целый день провести «ins Grüne». «Воздух нас опьянил точно детей, я потом отлеживался как от сибирской охоты». С улицы Marie Rose, где он жил в Париже, Ленин весною часто выезжал на велосипеде за город привезти из леса зелень и цветы, досыта налюбоваться цветущими абрикосами, персиками, яблонями, вишнями.....

«Недавно ездил в лес Верьер, писал он матери в марте 1912 г., привез оттуда распустившиеся вербы. Сегодня *опять* был там с Надей, есть уже вишни в цвету». В лесах Верьер и Медон («гуляли по Медонскому лесу, писал он сестре, чудесно!»), где весною земля часто покрывается сиреневым ковром лесных гиацинтов, Ленин из них делал букеты. Один из них подносил — Елизавете Васильевне, с ними жившей матери Крупской, другой водружался на его письменном столе. В апреле того же года он снова пишет матери о весне: — «Наднях ездил *опять* на велосипеде в лес. Все деревья в садах

в белом цвету, как «молоком облитые». Аромат чудесный. Прелесть, что за весна!»

Выражение «молоком облитые» в письме Ленина стоит в кавычках. Оно взято им из стихотворения Некрасова «Зеленый шум», выученного наизусть еще на школьной скамье. Тургенев при описании природы часто пользовался помещичьими усадьбами. Пред глазами его читателей появлялись дома с фронтонами и колоннами, сады, аллеи, клумбы, беседки, оранжереи, луга, леса, поля. Но Ленин сам был «в некотором роде помещичье дитя». То что описывал Тургенев, он видел с детских лет. В Симбирске, в доме родителей с его зеленым двором, колодцем, садом с вязами и тополями, клумбами цветов, беседкой под вишнями, рядами малины, смородины, крыжовника, он сам находился в обстановке небольшой усадьбы.

В «Дворянском гнезде» Лаврецкий, едучи по проселочной дороге в имение Васильевское, глядел на пробегавшие веером загоны полей, мелькавшие березы и ракиты, межи, заросшие полынью и полевой рябиной, длинные холмы, овраги с приземистыми дубовыми кустами. Свежая, степная глушь и зелень, эта давно им невиданная русская картина навевала на его душу «сладкие чувства», сжимала его грудь «каким-то приятным давлением». Не такую-ли картину видел и не схожие ли «сладкие чувства» испытывал и Владимир Ульянов, ребенком, а позднее подростком, едучи из Казани по проселочной дороге в Кокушкино на летние каникулы? Не потому ли ему и нравилось «Дворянское гнездо»? Его двоюродный брат рассказывает как нетерпеливо ожидали они прибытия в Казань экипажей из Кокушкина.

«Еще накануне отъезда бывало бежишь во двор посмотреть тут ли ямщик, а потом вертишься возле лошадей, сгорая от нетерпения. Даже то, что из Казани надо было ехать сорок километров по плохой грунтовой дороге, нравилось нам. Поездка в деревню переносила в другой мир, далекий от обыденной жизни и надоевшего за зиму города».

Когда ехали в Кокушкино, Володе Ульянову всегда хотелось усесться на козлах с кучером — «дядей» Ефимом или Романом. За всякие рассказы и прибаутки они считали его большим «забавником». «С ним, говорил кучер Роман, не заметишь, как доедешь и на ленивых лошадях».

Лаврецкий Тургенева, приехав в Васильевское, осмотрел старый дом и вышел в сад. «Он оканчивался небольшим светлым прудом с каймой из высокого красноватого тростника».

«Он весь зарос бурьяном, лопухами, крыжовником и малиной, в нем много было тени». Лаврецкий «остался им доволен».

Всем оставался доволен и Владимир Ульянов, приезжая в Кокушкино. Детям Ульяновых и Веретенниковых «казалось, что *ничего красивее Кокушкина нет*.Если кто-либо видел новые места, мы спрашивали: *ведь хуже Кокушкина?* Цветы на клумбах, наполняя воздух ароматом, окружали старый дом. Пруд за домом «как зеркало в зеленой раме берегов блестел под солнцем». «Задавали концерты лягушки», а «в саду и на деревьях по берегу реки заливались соловьи». Недалеко от дома (Веретенников почему-то пишет «в овраге») росли кусты малины, крыжовника и смородины вперемежку с бурьяном и крапивой. Дети летом приходили сюда, по выражению Володи Ульянова, «пастись» — есть ягоды, заедая их хлебом. Очень, очень многое, что Ленин читал у Тургенева ему прямо напоминало Кокушкино. Не за это ли созвучие впечатлений, образов, картин и связанных с ними эмоций — он и любил «Дворянское гнездо»?

В Васильевском Лаврецкого было «много старых лип, которые поражали своею громадностью». Но в редком описании Тургенева не присутствует липа. Под сенью лип, замечает он в романе «Накануне», — «прохладно и спокойно, мухи и пчелы, залетая в их тень, жужжат тише». В имении Ласунской (роман «Рудин») — «сад доходил до самой реки, в нем было много старых липовых аллей, золотисто-темных и душистых, с изумрудными просветами по концам». В том же романе в имении Волынцева дом «приветливо выглядывал из густой зелени старинных лип и клена». В имении Сипягина (роман «Новь») — «прямо напротив дома возвышались большим четырехугольником липовые аллеи». «Прекрасное дерево старая липа», — говорит в «Записках охотника» Тургенев. С давних пор липа, как и береза, в русской поэзии. «Прохладу лип и кленов шумный кров» воспевал еще Пушкин. Ленина не нужно было убеждать, что липа прекрасное дерево: «*Это* — сказал он, — *мое самое, самое любимое дерево*». По поводу лип Ленин однажды вступил (в 1904 г.) в горячий спор с М. С. Ольминским, укоризненно доказывавшим, что так как в старину в липовых аллеях помещики драли розгами крепостных крестьян, эти аллеи для истинного революционера прекрасными почитаться не должны. Они прекрасны лишь в глазах тех, кто сохранил «реакционную душу помещичьего дитяти».

«В таком случае извольте обратить внимание на меня, — с явным раздражением воскликнул Ленин, — Я тоже живал в

усадьбе, принадлежавшей моему деду. В некотором роде я тоже помещичье дитя. С тех пор прошло много лет, а я все еще не забыл приятных сторон жизни в этом имении, не забыл ни лип его, ни клумб. Должен ли я поэтому понять, что недостоин носить звание революционера».

Кокушкино и его липы Ленин, действительно, должен был хорошо помнить. Как в тургеневских усадьбах, там «у крутой тропинки, сбегавшей к пруду, *росли старые липы,* посаженные в кружок и образовывавшие беседку». Вечером под их сень часто прибегал маленький Ленин. В это время любили играть в загадки, игру, в которой принимал участие и стар, и мал. На кого выпадала очередь отгадывать шараду, вещь, стихи по отдельным словам или намекам должен был удалиться под липы, пока для него не будет придумана посложнее загадка. На детском жаргоне уход под липы назывался «отправкой в уезд». Веретенников уверяет, что Володя Ульянов «в этих играх затмевал всех, даже взрослых, отгадывая шараду или стихи с первых же слов». Se non è vero è bene trovato.

Конечно, нельзя претендовать на полную разгадку почему Владимир Ульянов любил «Дворянское гнездо». Но всё-таки особенно непонятного, необъяснимого, на наш взгляд, здесь нет. Ведь речь идет не о Ленине с лысым черепом, а невысоком, коренастом мальчике и подростке с светлыми вьющимися, необыкновенно мягкими волосами, который, не переставая грызть подсолнухи, любил читать и перечитывать Тургенева. С «Дворянским гнездом» у него несомненно связывался целый ряд приятных образов, ассоциаций, напоминаний. За «Дворянским гнездом» в Васильевском пред ним вставало «дворянское гнездо» Кокушкино, его старый дом, клумбы с резедой и левкоем, речка Ушня и речка Мёша, «отправка в уезд» под старые липы. Не «Месяц в деревне», а несколько месяцев летних наслаждений, беззаботной, веселой, счастливой жизни. Роман Тургенева напоминал ему минувшее удовольствие, и в то же время, так как в Кокушкино уезжали каждое лето, давал, создавал предчувствие будущих удовольствий. Думаем, что именно за это и только за это он и любил «Дворянское гнездо».

Покинув Кокушкино, Ленин не переставал им интересоваться. Девять лет после последнего в нем пребывания он запрашивал о нем из ссылки в Сибири, из села Шушенского. Незадолго до этого умерла Веретенникова, сестра его матери, распоряжавшаяся имением. Повидимому очень плохо ею управляемое Кокушкино совсем развалилось. На имении оказа-

лись какие-то долги, грозившие ему быть проданным с молотка. Ленин, узнав об этом, писал (15 июня 1897 г.) своей сестре Анне: — «Для меня было новостью, что Кокушкино назначено в продажу и что Митя (Дмитрий Ильич — брат Ленина) уехал в Казань по этому делу. Что же дана ему доверенность на то, чтобы оставить имение за собою? Напишите как вырешится дело».

Ленин прибавлял: — «С одной стороны хорошо как будто, что оно окончится, наконец, раз навсегда, с другой стороны «конец» всё-таки самый неприятный, хлопотливый и по всей вероятности убыточный».

Цитируемое письмо, помещенное в «Письмах к родным» Ленина, сопровождается темным, невразумительным примечанием, что «доли» в Кокушкине матери Ленина и ее сестры оценивались по «3 тысячи рублей (sic!) по довоенным ценам» и «самый неприятный конец, о котором пишет Ленин, был бы тот, если обе *доли* с долгами остались за матерью». Темь и обязательные неясности, как всегда, появляются когда заходит вопрос о денежных и имущественных делах Ульяновых. Указание на «доли» в имении упомянутых двух сестер — непонятно. Можно думать, что кроме их «долей» были или появились «доли» других сестер матери Ленина или еще каких-то лиц, но что это за лица? О Кокушкине идет большая переписка, однако, то что пишут Ленину его родные — скрыто, это, очевидно, секрет. Знаем лишь следующее письмо Ленина к матери, от 19 июля 1897 г. — «Письмо твое с положением Кокушкинского дела я получил и уже на него ответил. Вчера получил также первое письмо от Мити, где он тоже описывает свою поездку в Казань».

Имение не было тогда продано. Ульяновы не перестали быть его владельцами или совладельцами, так как через год в письме Ленина из того же Шушенского, от 7 февраля 1898 г., находим следующие строки: — «Вы, вероятно, с Митей направитесь на лето в Кокушкино?»

Брат Ленина в это время был арестован. Ленин не знал когда его освободят и будет ли брат иметь право после выпуска из тюрьмы свободно передвигаться. Поэтому, обращаясь к матери (письмо 8 марта 1898 г.), он спрашивал: — «Что думаете о лете? Пустят ли Митю в Кокушкино? Думаете ли там пробыть или нет?».

После этого письма в напечатанной переписке Ленина, в сообщениях и воспоминаниях его родных — ни малейшего указания на судьбу казанского имения. Никто из Ульяновых в нем

больше не живет. Что с ним сталось, кто стал его новым владельцем — ничего о том не знаем. Ныне в деревне Кокушкино, как всюду, есть колхоз, она переименована в Ленино, что умнее и уместнее грубо некультурного переименования города Петра Великого в Ленинград. Забегая вперед, скажу, что с Кокушкиным, этим уголком татарского края, у Ленина связываются не только приятные воспоминания о летних удовольствиях. Здесь летом 1887 г. Ленин, по его словам, был «глубоко перепахан» романом «Что делать» Чернышевского, а в 1888 г. можно сказать, «дополнительно перепахан и запахан» другими сочинениями этого революционера. С тем, что в Кокушкине получил от Чернышевского юноша Владимир Ульянов, он и вступил на путь революции. Революционное крещение Ленина произошло в Кокушкине.

Н. Валентинов

В кн. 37 «Нового Журнала» будет напечатана глава «Детство и юность Ленина. Симбирск». *РЕД.*

АМЕРИКАНСКОЕ ФИЛОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО И РОССИЯ

ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ВЕК

«Пенсильвания скорым своим возвышением и глубокой мудростью удивляет наипаче философов и будущим векам станет служить примером».

— *Из писем некоторого филадельфийского жителя* (1776).

«Науки никакого принуждения терпеть не могут, свободу любяще превыше всего».

— Петр Великий, *Указ об учреждении Академии Наук* (1725).

В 1725 году, указом Петра Великого, была создана в Санкт-Петербурге Русская Академия Наук, а через восемнадцать лет знаменитый американский ученый, писатель и государственный деятель, Вениамин Франклин, положил начало американской Академии в Филадельфии, основав небольшое общество «для распространения полезных знаний». Это общество, слившись с ранее основанным Франклином литературным кружком «Юнта», стало называться Американским Философским Обществом на манер английской академии, носившей название Лондонского Королевского Общества.

Детище Франклина начало свою научную работу в 1769 году, приняв участие в наблюдении астрономами всего мира важного астрономического события: прохождения Венеры через диск солнца. В восемнадцатом веке, это явление происходило дважды: в 1761 и 1769 годах. Русская Академия Наук оба раза участвовала в этих наблюдениях. Результатом наблюдений 1761 года явилось открытие М. В. Ломоносовым присутствия на Венере плотной атмосферы. В 1769 году экспедиция Русской

Академии Наук пошла дальше первоначальной, чисто астрономической, цели и превратилась в общую естественно-историческую экспедицию, составившую эпоху в деле изучения и описания России. Руководил этой экспедицией русский академик, Петр-Симон Паллас, ставший впоследствии членом Американского Философского Общества. Наблюдения русских ученых над Венерой получили позже широкое освещение в американской астрономической литературе, благодаря знаменитому американскому астроному, члену Американского Философского Общества, Симону Ньюкомбу, написавшему историю наблюдений над прохождением Венеры через диск солнца.

Россия и Америка не только принимали участие в наблюдении над Венерой, но и были самыми удобными для этого странами, т. к. наиболее точно наблюдения могли быть сделаны из Сибири и из Калифорнии. В 1761 году Франция послала своего астронома, аббата Шаппе д'Отерош в Тобольск, а в 1769 году — в Калифорнию. Вернувшись из Сибири, аббат написал книгу, в которой, кроме научных сообщений, содержался еще злостный пасквиль на Россию. Книга наделала в Европе столько шуму, что Екатерине Второй пришлось взяться за издание специального опровержения («Антидот»), а в дальнейшем — очень осмотрительно давать разрешения на поездки иностранцев по России.

Из Сибири французский астроном вывез найденные там кости мамонта. В то время ученые недоумевали, откуда взяться в холодном климате костям «слона»? В Париже Шаппе д'Отерош вел длинные беседы на эту тему с Франклином, который, специально для аббата, выписал из Америки найденные в штате Охайо такие-же кости, для сравнения их с костями сибирского мамонта. Разговоры Франклина с Шаппе д'Отерош касались, несомненно, и России вообще.

Россией Франклин интересовался еще до своей первой поездки в Европу. В 1744 году, он получил свою первую научную степень от Харвардского и Иельского университетов за изобретение особого рода печи. В своей диссертации, описывая печи северных народов, Франклин с особенным вниманием останавливается на системе отопления в России, о которой он прочел в трудах Роберта Бойля. Бойль, в свою очередь, описывая русские печи и бани, ссылается на известную книгу о России путешест-

венника семнадцатого века Олеария. Позже, попав в Европу, Франклин продолжал интересоваться принципом русских печей и системой русских построек, о чем он в разное время беседовал с людьми, побывавшими в России. Заметки об этом сохранились в его дневниках и письмах.

Ввиду того, что ранние контакты Американского Философского Общества с Россией тесно связаны с личными контактами Франклина — основателя и председателя общества — необходимо остановиться на его знакомствах с русскими учеными до выхода Американского Философского Общества на международное поприще.

Имя Франклина впервые стало известно в России в 1752 году в связи с его открытиями в области атмосферного электричества. *Санктпетербургские Ведомости* так писали об этом:

> «Никто бы не чаял, чтоб из Америки надлежало ожидать новых наставлений о электрической силе, а однако учинены там наиважнейшие изобретения. В Филадельфии, в Северной Америке, господин Вениамин Франклин столь далеко отважился, что хочет вытягивать из атмосферы тот страшный огонь, который часто целые земли погубляет».

Вопросами атмосферного электричества занимались в России еще в сороковых годах восемнадцатого века. В 1743 году Ломоносов раньше Франклина объяснил происхождение северного сияния, а в 1751 году развил свою, отличную от франклиновой, теорию о происхождении электричества в результате движения восходящих и нисходящих слоев атмосферы. Но в то время как открытия Франклина сразу привлекли к себе внимание всего ученого мира, теория Ломоносова подверглась незаслуженному обвинению в подражании Франклину со стороны его иностранных коллег в Русской Академии, причем выступление Ломоносова с докладом о его открытиях было ими намеренно задержано. Хотя русский академик, Леонард Эйлер, считавшийся главой европейских ученых того времени, указал на разницу теорий Ломоносова и Франклина, всё же работа Ломоносова «Слово о явлениях воздушных» не скоро вошла в историю этого рода открытий.

Над исследованием атмосферного электричества вместе с Ломоносовым работал его друг, молодой русский академик, Г. Рихтер. В 1753 году во время одного из их

совместных опытов с громовой машиной во время грозы, Рихтер был убит молнией, а Ломоносов чудом уцелел. Гибель русского академика была первым смертным случаем при опытах над атмосферным электричеством. Весть о ней быстро распространилась среди европейских ученых и дошла до Франклина, на которого она произвела большое впечатление.

Повидимому, связи Франклина с Русской Академией относятся к этому периоду времени. В Русской Академии сохранился труд Франклина «Опыты и наблюдения над электричеством», с его собственноручной надписью «от автора», очевидно подарок Франклина одному из русских академиков. А в Американском Философском Обществе, среди книг принадлежавших Франклину, сохранился один из трудов русского академика Ф. Эпинуса, с такой же надписью. Имя Эпинуса, прославившегся своими открытиями в области электричества и магнетизма, не раз встречается в письмах и бумагах Франклина. Своему французскому другу, Барбэ Дюбургу, Франклин писал:

> «Главным образом обязан я этому превосходному ученому из Петербурга за его гипотезу, которая представляется мне в одинаковой мере гениальной и солидной».

Эпинус, в свою очередь, немало сделал для прославления открытий Франклина в России. Он был первым переводчиком на русский язык выдержек из сочинения Франклина о громоотводе, которые он поместил, в 1770 году, в *Трудах Вольного Экономического Общества.* (Интересно отметить, что еще в 1752 году Ломоносов воспел это открытие Франклина в оде «О пользе стекла»).

Эпинус был одним из тех русских академиков, с которыми Франклин вел переписку. Указание на это содержится в письме к Франклину ректора Иельского Университета, Э. Стайлса, который, в 1765 году, писал:

> «Я предполагаю, что Ваша петербургская переписка идет с Эпинусом и Брауном».

Русский академик, И. А. Браун, автор открытия свойств замерзания и плотности ртути, производил свои опыты совместно с Ломоносовым. В 1760 году Браун и Ломоносов выступили на заседании Русской Академии Наук, каждый со своим отчетом о сделанных открытиях. Но в то время как об открытиях Брауна было объявлено

в *Трудах* Лондонского Королевского Общества (причем Ломоносов был упомянут лишь как свидетель опытов Брауна), работа Ломоносова «О твердости и жидкости тел» осталась неизвестной тогдашней европейской науке. Из письма Стайлса видно, что опыты русских ученых с ртутью его очень интересовали.

В этом же письме Стайлса к Франклину, кроме прямого указания на переписку Франклина с русскими академиками, содержится чрезвычайно интересная просьба: Стайлс просит Франклина быть посредником в его переписке с Ломоносовым. Он пишет:

> «Если Вы сочтете слишком большим одолжением исполнить мою просьбу переслать прилагаемое письмо М. Ломоносову, то я всецело предоставляю Вам не давать ему ходу. Как видите, я взял на себя смелость попросить Ломоносова ответить мне через Вас, но если я злоупотребляю Вашим именем и дружбой, то в Вашей власти это предупредить... Прилагаемое письмо Вы можете считать относящимся к Вам, равно как и к Ломоносову».

Это уже прямое указание на контакт и возможную переписку Франклина с Ломоносовым. К сожалению, как известно, не все бумаги Ломоносова дошли до нас: часть их пропала, а рукописи, сохранившиеся в Русской Академии Наук, опубликованы не все.

Более точные и подробные сведения о связях Франклина с культурной Россией относятся к семидесятым годам восемнадцатого столетия, когда Американское Философское Общество вошло в непосредственный контакт с Академиями Европы.

В начале 1771 года вышел первый том *Трудов* Американского Философского Общества, и на заседании общества, в феврале, было решено разослать это первое академическое издание Америки всем научным обществам Европы. Был оглашен список важнейших научных учреждений, которым предполагалось послать *Труды*. Одно из первых мест занимала «Императорская Академия в Санкт-Петербурге».

Воспользовавшись своей поездкой в Лондон, Франклин решил лично раздать академиям и ученым в Европе часть экземпляров *Трудов* своего общества. Предназначенный для Русской Академии Наук экземпляр Франклин передал встреченному им в 1772 году в Лондоне русскому

академику, одному из основателей Вольного Экономического Общества, барону Тимофею фон Клингштедту. 15-го января 1773 года в заседании Американского Философского Общества было оглашено письмо Франклина из Лондона, в котором он писал:

> «Позволяю себе рекомендовать Обществу барона Клингштедта из Петербурга, который недавно был проездом в Англии для закупок, связанных с усовершенствованиями в области сельского хозяйства. Я взял на себя смелость попросить его доставить по назначению нашу книгу, адресованную Русской Академии Наук, и дал ее ему незапечатанной, т. к. он выразил желание ознакомиться с ее содержанием. Она ему так понравилась, и у него составилось столь высокое мнение о нашем Обществе, что он пожелал чести, как он вежливо выразился, стать его членом, предложив вести с Обществом переписку и посылать ему время от времени разную информацию, семена и всё то, что оно пожелало-бы иметь из России».

В этот же день Клингштедт был избран первым русским членом первой американской академии.

Выдержки из доставленного Клингштедтом в Россию первого тома *Трудов* Американского Философского Общества были опубликованы в русском переводе, в *Академических Известиях на 1779 год,* в отделе: «Показание новейших трудов многих Академий и Ученых Обществ». Особое внимание было обращено на такие статьи, как: «Рассуждение о физическом состоянии Америки»; «Рассуждение о перемене климата» и «Об определении и пользе комет» — Виллиамсона; «О способе приготовления семян растений для пересылки» — Эллиса; «Опыты касающиеся домоводства и сельского хозяйства» и др.

Это было в самый разгар американской революции, когда сведениями об Америке и о вождях восставших колоний была полна русская пресса и литература.

В войну американских колоний с Англией (1776-1783), прямо или косвенно, были вовлечены многие государства Европы. Франция, Испания и Нидерланды выступили открыто на стороне восставших колоний, а ряд европейских стран объединились вокруг России в так называемом «вооруженном нейтралитете». Хотя главным автором идеи вооруженного нейтралитета была русская императрица, в разработке этого акта принимали деятельное участие

не только министр инстранных дел Никита Панин, но и вышеупомянутый русский академик, друг Франклина, Эпинус.

Политика поддержки американских колоний, занятая в то время русским правительством, позволила русской прессе открыто обсуждать американские дела и выражать сочувствие восставшим американцам. Сведения об американской революции приходили в Россию не только из иностранной прессы. С самого начала войны русские дипломаты в Европе получили строжайшие инструкции доносить своему правительству со всеми подробностями обо всём, что было связано с этой войной.

Особенно ценные сведения сообщал русский посол в Париже, князь И. С. Барятинский, получавший подробную информацию об Америке из первых рук, т. е. от американского посла во Франции, Вениамина Франклина. В бумагах Франклина, в архивах Американского Философского Общества, сохранились записки Барятинского и их общих французских друзей с просьбой присылать для сообщения в Россию сведения о ходе американских дел. Вот почему в русских архивах была обнаружена такая обильная и точная информация об американской революции, сопровождавшая депеши Барятинского из Парижа. Кроме официальных донесений русских дипломатов, частные письма русских, побывавших в Париже во время американской революции, таких как Фонвизин и княгиня Дашкова, давали ясную картину европейских откликов на американские события. Широкая же публика узнавала о ходе событий за океаном из русской прессы, главным образом из газеты *Московские Ведомости,* издававшейся Н. И. Новиковым, в которой широко освещались американские события и связанный с ними общественный подъем в Европе. Интерес русского общества к американской революции был так велик, что тираж *Московских Ведомостей* за этот период достиг неслыханных до тех пор размеров. Американская война интересовала в России не только взрослых, но и детей. Н. М. Карамзин вспоминает, как он школьником следил за событиями, происходившими за океаном. Газеты проникали и в глубокую провинцию. Немудрено, что в 1786 году американский путешественник по Сибири, Джон Ледиард, отметил, что в Колыме губернатор пил с ним за здоровье Вашингтона, Франклина и Адамса.

В своей газете и в приложениях к ней, Новиков помещал статьи о вождях американского восстания. Особенной популярностью в России пользовалось имя Франклина. До тех пор Франклин был известен в России, как ученый. Но с начала американской революции имя Франклина стало символом «вольности». В *Московских Ведомостях* можно найти следующую характеристику Франклина:

> «Франклин в некоторых веках почитаем будет Божеством. Электричество преображает всю физику, селения[1] Аглинские преображают всю политику. Франклин был главою в обеих сих важных переменах и тем самым заслужил у потомства два лучшие места».

В 1778 году русские читатели узнали также, что Франклин был не только ученым и государственным деятелем, но и философом и талантливым писателем. В этом году в журнале *Санктпетербургское Еженедельное Сочинение* появились отрывки из нашумевшей в Европе «Науки добряка Ричарда», проповеди нравственности в поговорках, а *Санктпетербургский Вестник* опубликовал очерк Франклина «О цветах платья». Это были первые русские переводы литературных произведений Франклина. В 1784 году «Наука добряка Ричарда» вышла в России отдельным изданием и до 1830 года выдержала пять русских изданий. Один из памфлетов Франклина, «Эфемерида», появился в 1786 году в первом русском провинциальном журнале *Уединенный Пешехонец,* в Ярославле.

Еще при жизни Франклина в России появились его подражатели. В письме к Гримму, императрица Екатерина признается, что подражает стилю «добряка Ричарда». По образцу календарей Франклина с практическими советами, Новиков выпускает, в 1784 году, «Христианский календарь» нравоучительного характера, приспособленный к нуждам русского читателя. Влияние Франклина перекочевывает из восемнадцатого века в девятнадцатый, и юный Л. Н. Толстой, по образцу франклиновых «Правил поведения», составляет свой «Журнал для слабостей».

Немудрено, что при такой популярности Франклина в России, представители русской культуры, такие как Денис Иванович Фонвизин и княгиня Екатерина Рома-

[1] В данном случае это слово обозначает колонии.

новна Воронцова-Дашкова, попав в Европу во время американской революции, искали личного знакомства с знаменитым американским просветителем, который представлял тогда в Париже восставшие американские колонии. Фонвизин, в своих письмах из Франции, не раз упоминает о «представителе американской республики, славном Франклине», с которым он встретился в 1778 году на собрании парижских литераторов. Биограф Фонвизина, П. А. Вяземский, так написал об их встрече:

> «Фонвизин имел почесть и удовольствие быть принятым в одно вновь заведенное общество вместе с Франклином. В этом центре сблизилось то, что разделено было природою, и представитель юного просвещения России был собеседником с представителем юной Америки. В лице их, два новых мира сошлись в виду старого, как высокие предвещания, что есть много грядущего в судьбе человеческого рода».

Но особенно интересной и важной своими последствиями для культурной связи Америки с Россией явилась встреча Франклина с княгиней Ек. Р. Дашковой. В конце 1780 года, Франклин получил из Голландии от известного богача американофила, Невиля, письмо о том, что «фаворитка русской императрицы» княгиня Дашкова собирается встретиться с Франклином в Париже. О Дашковой Франклин уже слыхал раньше. В 1769-1771 годах Дашкова совершила свое первое пушествие в Европу, где она познакомилась с выдающимися представителями европейской мысли. О ней писали Дидро и Рюльер. Фридрих Великий, Мария Антуанетта и герцог Орлеанский искали встречи с нею. Знаменитый французский скульптор, Гудон, впоследствии приглашенный в Америку, запечатлел ее образ в бронзе. Сейчас она возвращалась из Англии, где учился ее сын и где она встречалась с Адамом Смитом и историком Робертсоном — английскими друзьями Франклина.

В начале 1781 года Франклин получил записку от Дашковой, прибывшей в Париж. Она писала, что в Англии много слышала о «докторе» и привезла ему письмо от одной из его лондонских знакомых. Княгиня прибавляла, что «не может упустить благоприятного случая выразить, как она была бы счастлива познакомиться с доктором, которого высоко ценит и уважает».

В дневнике Франклина, жившего тогда в Пасси, со-

хранилась лаконическая запись от 26 января, 1781 года: «Поехал в Париж навестить княгиню Дашкову. Не застал дома». Повидимому он оставил Дашковой записку, т. к. 30 января она снова писала Франклину, благодарила его за «милую записку» и приглашала к себе «в субботу вечером, 3-го февраля»[2].

После встречи Франклина с Дашковой в Париже, переписка их продолжалась до самой смерти Франклина. В 1782 году Дашкова была назначена Директором Русской Академии Наук, а в следующем году — Президентом так называемой «Российской Академии», основанной ею для специальных работ над русским языком. Среди бумаг Франклина, сохранилась копия его письма Дашковой с поздравлением по поводу этого высокого назначения.

В 1786 году вышел второй том *Трудов* Философского Общества. На этот раз, Франклин послал его лично Дашковой. Ответ Дашковой с благодарностью «за этот знак внимания» был оглашен Франклином на заседании Общества, 6-го февраля 1789 года.

О том, что и ко второму тому *Трудов* Американского Философского Общества отнеслись в России с вниманием, свидетельствует перевод одной из статей этого тома «Записки г. Отто об открытии Америки», появившийся в журнале «*Новые Ежемесячные Сочинения*» за 1792 год.

На заседании Американского Философского Общества 17-го апреля 1789 года Дашкова, по рекомендации Франклина, была избрана вторым русским членом общества (она была первой женщиной удостоившейся этой чести). В своих мемуарах, вспоминая о Франклине, Дашкова писала:

> «Движимый чувством уважения и дружбы ко мне, он предложил меня в члены почетного и знаменитого Философского Общества в Филадельфии, куда я и была принята единогласно. У меня был диплом его и оно пользовалось каждым случаем, чтобы посылать мне издаваемые им труды».

Княгиня Дашкова очень гордилась своим избранием в американскую академию. Надпись на ее лучшем порт-

---

[2] Дата знакомства Франклина с Дашковой установлена автором этой статьи на основании оригиналов писем Дашковой, сохранившихся в архивах Амер. Философского Общества. Текст их полностью опубликован ею в *Proceedings of the Am. Ph. Soc.*, 1947, vol. 91 p. 254.

рете упоминает, среди других ее титулов — почетное звание члена Американского Философского Общества. Известие о ее избрании было получено ею при не совсем обычных обстоятельствах. Вот как рассказывает об этом Дашкова в своих мемуарах.

В то время шла война между Россией и Швецией. Шведский флот захватил в плен иностранный корабль, на котором оказалась посылка, адресованная Дашковой. Командовавший флотом, брат шведского короля, герцог Судерманландский был знаком с Дашковой и через специального парламентера отправил посылку с письмом в Кронштадт адмиралу Грейгу. Тот в свою очередь переправил их в Петербург, в Государственный Совет, откуда, по приказанию Екатерины, они были переданы Дашковой нераспечатанными. В своем письме герцог Судерманландский объяснял, каким образом посылка попала в его руки, а в последней были письма Франклина и секретаря Американского Философского Общества, с извещением об избрании Дашковой членом Общества, диплом Общества, а также несколько изданных им книг. Дашкова прибавляет, что личное письмо к ней Франклина польстило ей больше, чем письмо герцога, потому что, пишет она:

> «я считала Франклина гениальным человеком, сумевшим соединить глубокие познания с простотой в обращении и манерах и с непритворной скромностью, благодаря которой он снисходительно относился к другим».

Избрание Дашковой в члены Американского Философского Общества было специально отмечено в протоколах Русской Академии Наук, в архивы которой Дашкова сдала на хранение диплом, полученный ею из Америки и «подписанный рукою председателя Общества, знаменитого Франклина». «Этот диплом», отмечает Академия, «служит доказательством того, что научные заслуги княгини были высоко оценены даже в научном обществе самой отдаленной страны». Ответ Дашковой Американскому Философскому Обществу с благодарностью за ее избрание сохранился в оригинале в архивах Общества. Он является первым письмом, полученным Обществом из России, а пакет с книгами, посланный Дашковой Американскому Философскому Обществу вместе с письмом, — первым русским даром научному учреждению Америки.

Дашкова был избрана в члены Американского Философского Общества весной 1789 года, а осенью этого же года княгиня с удивлением узнала, что славный Франклин до сих пор еще не был включен в число иностранных членов Русской Академии Наук. На заседании Академии, 2-го ноября 1789 года, кандидатура Франклина, как гласит протокол этого заседания:

> «была внесена секретарем по предложению ее снятельства, после чего этот почтенный и знаменитый ученый получил все голоса и был единодушно принят».

Франклин был первым американским членом Русской Академии Наук, которая, отмечая его избрание, упоминает в числе его заслуг «Основание Американской Академии», т. е. Американского Философского Общества.

Не прошло и полугода со дня избрания Франклина в Русскую Академию, как в Россию пришло известие о смерти великого американского просветителя. Русская Академия отметила потерю своего сочлена в короткой заметке французского текста своих *Трудов,* а *Санктпетербургские Ведомости* посвятили этому печальному событию довольно большую статью.

Но и после смерти Франклина продолжалась связь Дашковой с Американским Философским Обществом и с отдельными представителями американской науки. В 1791 году она получила из Америки книгу Джона Черчмена, физика из Балтиморы, озаглавленную: «Магнитный Атлас». Черчмен был внуком и сыном видных американских квакеров. Он посвятил свою жизнь научным исследованиям и был в контакте с европейскими учеными и с Американским Философским Обществом. Его книга настолько заинтересовала Русскую Академию Наук, что ему было предложено участвовать в конкурсе этой Академии на получение премии. В 1795 году, по рекомендации Дашковой, Джон Черчмен был избран вторым после Франклина американским членом Русской Академии Наук. В приложении ко второму изданию своей книги (вышедшей в Лондоне в 1794 году) Черчмен поместил письмо от Дашковой с восторженным отзывом о его исследованиях. В биографической заметке о Черчмене сказано, что он умер в 1805 г. на корабле, возвращаясь домой из Санкт-Петербурга. Сношения Черчмена с Русской Академией Наук и с Дашковой представляют интерес не только

для истории культурной связи России и Америки, но и для истории связей России с квакерами. За время от встречи Петра Великого с квакерами в Лондоне, в 1698 году, до встречи с представителями этой секты Александра I, в 1814 году, о контакте квакеров с Россией известно мало. Дашкова, во время своего пребывания в Лондоне в 1770 году, посетила молитвенное собрание квакеров и нашла, что их молчаливая молитва — лучшее общение с Богом. Там же побывал в конце 18-го века и Карамзин. Известный лондонский друг Франклина, ученый квакер, ботаник Коллинсон, был в переписке с русскими академиками и должно быть встречался с Дашковой во время ее пребывания в Англии. Коллинсон несомненно был посредником в сношениях американских ученых с русскими. Через него один из членов основателей Американского Философского Общества, знаменитый американский ботаник, квакер Джон Бартрам, добывал семена и корни русских растений. Отчеты Американского Философского Общества упоминают об успехе в Америке «русского ревенного корня». Интересно отметить контакт Коллинсона с владельцем уральских рудников и заводов, ботаником Павлом Демидовым, от которого он получил «корень сибирского мартагона».

В 1791 году секретарем Американского Философского Общества стал внучатый племянник Франклина, Джонатан Виллиамс, который раньше был в Париже личным секретарем своего великого деда. Когда престарелый Франклин возвращался из Франции в Америку в сопровождении Виллиамса, они оба, во время долгого путешествия через океан, работали над измерением температуры воды в океане. Результатом этих исследований явился, уже после смерти Франклина, труд Виллиамса: *Об употреблении термометра для навигации,* впервые опубликованный в 1792 году, в третьем томе *Трудов* Американского Философского Общества, а затем вышедший отдельно и переведенный на другие языки. Дашкова получила этот труд от автора в 1792 году и немедленно ему ответила. Из ее письма, сохранившегося в оригинале в личных архивах Виллиамса, мы узнаем, что она не только сообщила об открытии Виллиамса в Русскую Академию Наук и в Морское Министерство, но и велела перевести его работу на русский язык. Таким образом, работа Виллиамса, переведенная в 1794 году на испанский

язык и опубликованная в Мадриде, была еще раньше переведена на русский.

С легкой руки Дашковой Американское Философское Общество вошло в постоянное тесное общение с русскими учеными. В 1796 году, один из протеже Дашковой, русский академик Б. Ф. Герман, только что вернувшийся из путешествия по Уралу и Сибири, послал Философскому Обществу свои труды и образцы русских минералов. Герман принадлежал к группе выдающихся русских минералогов, которые, в конце 18-го века обратили на себя внимание европейских ученых, как знатоки и исследователи новых пород русского камня. Особенно популярными в Европе были сибирские и уральские минералы. Трактаты по минералогии, написанные русскими, издавались заграницей. Одно из таких сочинений было выписано из Европы Американским Философским Обществом. Оно было написано одним из русских друзей Франклина, князем Дмитрием Алексеевичем Голицыным, дипломатом и ученым, оригиналы писем которого к Франклину хранятся в архивах Американского Философского Общества. Трактат Голицына о минералах издавался в Европе два раза: в Бельгии и в Германии. Как минералог, Голицын был избран в члены Академии Наук в Брюсселе, а также в председатели Иенского Минералогического Общества, которому он завещал свой богатый минералогический кабинет. Будучи типичным просвещенным вельможей восемнадцатого века, Д. А. Голицын занимался также философией, искусством, историей, экономическими науками и физикой. В Русскую Академию Наук он был избран в 1777 г. за свои открытия в области атмосферного электричества. Одно из его писем Франклину содержит описания этих открытий. Голицыну поручались переговоры по приглашению в Россию разных иностранных знаменитостей. При его содействии состоялся приезд в Петербург Фальконета и Дидро. Им были собраны художественные ценности и древности для Царскосельского Музея, а его собственной коллекцией пользовался для своих работ об античном мире Гёте.

Будучи горячим сторонником молодой заокеанской республики, Д. А. Голицын послал своего единственного сына, Дмитрия, в путешествие по Америке и снабдил его письмами к Вашингтону и Джефферсону. Молодой Голицын остался в Америке навсегда. Он перешел в като-

личество и стал известен в Америке, как миссионер и «апостол Аллеганских гор»[3].

Третьим русским членом Американского Философского Общества был избран, в 1791 году, знаменитый натуралист, русский академик Петр-Симон Паллас. В 1768 году он был во главе экспедиции, организованной Русской Академией Наук для изучения Поволжья, Урала и Сибири. Экспедиция продолжалась пять лет и составила эпоху в изучении России. О ней говорили, что она «открыла всему свету новую часть мира — Россию», благодаря опубликованному Палласом, на немецком и русском языках, трехтомному «Путешествию по разным местам Российского Государства» (1771-1776). Имя Палласа связано также с изданием знаменитого «Сравнительного словаря всех языков и наречий» (1787-1789), задуманного императрицей Екатериной II и составленного по ее поручению. Словарь этот был предметом особого интереса Американского Философского Общества и содействовал усиленной переписке Общества с Россией. История составления этого словаря связана также с одним из самых любопытных моментов культурной связи Америки и России, а именно: с влиянием Екатерины II на американскую лингвистику.

Как это ни странно, но в истории американской культуры русская императрица оставила по себе благодарную память в связи с началом изучения языков индейских племен, что подтверждается перепиской, сохранившейся в архивах Американского Философского Общества.

Произошло это следующим образом. Еще до восшествия своего на престол Екатерина заинтересовалась очень модным тогда языковедением и начала собирать материалы, задумав издать сравнительный словарь всех языков земного шара. Уже в 1785 году она составила список трехсот коренных русских слов, которые решила перевести на столько языков и наречий, сколько возможно было найти. В России губернаторы собирали для императрицы языки и наречия своих областей, русские пу-

---

[3] Подробности о Дмитрии Алексеевиче Голицыне и его дружбе с Франклином приведены мною в статье, помещенной в *Proceedings of the Am. Ph. Society* в 1947 году.

тешественники доставляли ей разные лингвистические материалы. Заграницей добывали нужные ей сведения русские дипломаты, иностранные ученые и даже государственные деятели, к которым Екатерина обращалась непосредственно. Ввиду того, что с Америкой у России не было еще дипломатических отношений, императрица решила действовать через героя американской революции, маркиза Лафайета, находившегося тогда во Франции. В 1786 году Екатерина послала Лафайету, для пересылки Вашингтону и Франклину, составленную ею анкету со списком слов, которые надо было собрать среди индейцев Америки. Лафайет немедленно написал Вашингтону и Франклину о просьбе императрицы, и к началу следующего года материал был собран и отослан через того же Лафайета Екатерине[4]. Сохранилось письмо Вашингтона Лафайету, свидетельствующее о том, с каким интересом он отнесся к проекту Екатерины. Вашингтон писал:

«Я от всего сердца желаю, чтобы попытки этой исключительно великой личности, Русской Императрицы, создать всеобщий словарь, увенчались заслуженным успехом. Установление родства языков представляется мне шагом к сближению народов. Дай Бог, чтобы взаимное понимание между народами стало близким сердцам всех монархов. И чтобы оно изо дня в день возрастало Ибо торговля и возможность взаимного понимания народов являются далеко не последними условиями мира!

Если бы мои теперешние и всякие другие усилия раздобыть информацию относительно различных диалектов аборигенов Америки послужили отраженным лучем света на темном фоне языкознания, то я был бы вполне удовлетворен, потому что я люблю предаваться размышлениям о человеческой природе в состоянии вечного усовершенствования и улучшения.

И если идея эта — не мечта и не химера, я мог-бы горячо надеяться, что настоящий план Властительницы Севера сможет в известной мере положить основание для такой

---

[4] Необходимо, между прочим, отметить, что и Лафайет, и Вашингтон были почетными членами Американского Философского Общества, что делает их культурную связь с Россией особенно интересной в связи с темой настоящей статьи.

ассимиляции языков, которая поведет за собой единство интересов и обычаев. И это когда-нибудь устранит много причин вражды среди человечества».

В архивах Американского Философского Общества сохранились черновики писем Франклина к Лафайету, показывающие, что и он принял горячее участие в собирании языков индейских племен для русской императрицы.

Словарь, начатый Екатериной, был закончен и издан Палласом и стал известен научному миру под названием «словаря Палласа». Во втором издании этого словаря появились образцы двадцати пяти языков индейцев Северной и Южной Америки. Собирая сведения об индейских языках для русской императрицы, американцы невольно оказались вовлеченными в дело сравнительного изучения языков индейских племен. До тех пор словари индейских языков составлялись в Америке случайно, для практических целей. После выхода в свет словаря Екатерины, в Америке мало по малу начали появляться систематические труды в этой области. Особенно интересным в этом отношении был труд американского филолога, В. С. Бартона: *Новый взгляд на происхождение племен и национальностей в Америке* (1797). О нем, другой американский филолог, П. Дюпонсо, в то время вице-президент Американского Философского Общества, писал, что исследования Бартона были начаты «в подражание сравнительному словарю Екатерины Великой»[5]. Необходимо отметить, что Бартон был членом Американского Философского Общества и был в контакте с Русской Академией Наук, которой он посылал свои труды.

В тесном контакте с русскими учеными, особенно с русским филологом, Ф. Аделунгом, был и Дюпонсо, который впоследствии стал президентом Американского Философского Общества, а в России был избран иностранным членом Вольного Экономического Общества. Переписка Дюпонсо с Аделунгом касалась главным образом всё тех же индейских языков, так как после смерти Екатерины все дополнительные лингвистические материалы, собранные для второго издания и оставшиеся неиспользованными, сосредоточились в руках Аделунга. В 1818 году последний был

---

[5] Переписка Дюпонсо с филологами Европы и России была впервые опубликована автором этой статьи в «*Proceedings of the American Phil. Society*». 1950, vol. 94, стр. 561-563 и 584-589.

избран четвертым русским членом Американского Философского Общества.

О влиянии русской императрицы на начало изучения индейских языков в Америке писал также бостонский филолог, член Американского Философского Общества, Джон Пикеринг. Но самое любопытное это то, что сравнительным методом Екатерины воспользовался будущий президент Америки, Томас Джефферсон, избранный, после смерти Франклина, председателем Американского Философского Общества.

По его собственному свидетельству, Джефферсон составлял словари индейских языков чуть ли не с детских лет. Метод собирания словаря по анкете, составленной Екатериной, особенно пригодился Джефферсону, когда он стал президентом США. Как русской императрице, так и американскому президенту было легче выполнять эту задачу, чем простым смертным. Ему привозили словари индейских языков из экспедиций, которые он организовывал. Начальники фортов и миссионеры присылали ему образцы наречий разных индейских племен. В общем, Джефферсон собрал 50 образцов индейских языков, по методу Екатерины, и собирался их издать. В бытность его президентом, у него не-хватало времени для окончательной редакции своих рукописей. Но когда срок его полномочий истек, он решил вплотную заняться своим словарем. Рукописи Джефферсона были отправлены из Вашингтона в его имение в Виргинии, вместе с остальным его багажом, по реке Потомак. По дороге, тяжелый сундук с рукописями привлек внимание злоумышленников и был украден. Увидев содержимое сундука, воры с досады выбросили все рукописи в реку, и лишь незначительная часть отдельных листов пристала к берегу и была найдена в грязи. В архивах Американского Философского Общества сохранились отдельные страницы рукописи Джефферсона с расплывшимися буквами — всё что осталось от труда его жизни. Но и по ним можно судить о степени сходства анкеты Джефферсона с той, которую посылала Екатерина во все концы света.

Е. Двойченко-Маркова

ПЕРСПЕКТИВЫ БОЛЬШЕВИЗМА И ЕГО ВНУТРЕННИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ

О книге И. Дейчера и статьях Джорджа Ф. Кеннана

Успех последней книги английского журналиста и биографа Сталина Исаака Дейчера[1] объясняется, повидимому, не только ее темой. Как и в своей книге о Сталине, Дейчер старается подвести «теоретический базис» под те надежды и настроения, которые стали преобладающими в некоторых европейских, преимущественно английских и французских, политических кругах. Настроения эти, известные под названием «нейтралистских», питаются тем, что Европа устала от войн; ей хочется создать какое-то «алиби» для этого пацифизма. Лучшим успокоением может служить «доказательство», что потенциальный враг вовсе не враг и что прежние страхи были чуть ли не недоразумением. Факты не всегда укладываются в эту схему, но... тем хуже для фактов.

Политическая цель, преследуемая Дейчером, очевидна. Он старается доказать, что при известной политике западных держав, эволюция большевистской России в сторону «демократического социализма» неминуема. Но для подобной эволюции большевизму «необходим мир, мир, мир». Кто же Советскому Союзу может дать этот желанный мир, если не «агрессивный» Запад? Один из критиков Дейчера, бывший американский посол в Москве, Джордж Ф. Кеннан[2] правильно заметил, что логика Дейчера убедительна только для тех, кто заранее с ним согласен. Иначе «всё его умственное построение остается под вопросом».

Каково же это «умственное построение?» Отметим с самого начала, что в анализе существа большевизма у Дейчера мало оригинального. Многое из того, о чем он сейчас

---

[1] «Russia What Next?» by Isaak Deutscher, Oxford University Press, 1953.

[2] The Reporter, 7 July 1953.

пишет, было уже сказано в тридцатых годах и в русской и в иностранной печати, в особенности Троцким. Дейчер только сильнее заостряет некоторые моменты, но от этого его анализ мало выигрывает. Заострения эти так резки, так схематичны, что ими искажаются утверждения, даже частично верные. Никто, например, не спорит, что в промышленном отношении добольшевистская Россия была страной относительно отсталой. Однако, представлять русский народ, как «примитивный», вдалбливать в головы читателей, что Сталин на «голой земле», из «ничего» создал современную советскую промышленность (Дейчер это особенно подчеркивает в своей книге о Сталине), является извращением исторической правды. Если бы Дейчер не довольствовался готовыми сталинскими формулами, а потрудился ближе ознакомиться с экономической историей дореволюционной России, он мог бы узнать, что гигантские промышленные предприятия, оснащенные первоклассной (по тому времени) промышленной техникой, существовали в России и до Сталина; что в производстве стали Россия занимала одно из первых мест, что крупная промышленность росла быстрыми темпами. Не вдаваясь в подробности, приведем хотя бы свидетельство *советского* экономиста Лященко, автора двухтомной «Истории национального хозяйства СССР». Лауреат сталинской премии за 1949 год, Лященко, характеризуя промышленность старой России пишет: «Металлургическая промышленность юга России, по своему техническому оснащению и по своей продуктивности превышала западно-европейские страны, хотя и была ниже Соединенных Штатов». Из *советских же* источников нетрудно узнать, что добыча угля, например, за одно десятилетие (от 1894 года до 1903 г.) увеличилась в России на 190 процентов, а с 1904 до 1913 года на 138 процентов. Аналогично росло производство стали, чугуна и т. д., не говоря уже о грандиозном росте железнодорожного строительства. Из всего этого добросовестный исследователь мог бы заключить, что Россия могла преодолеть свою относительную промышленную отсталость и стать первоклассной промышленной державой без голода, террора, рабского труда в концлагерях и прочих большевистских экспериментов, стоивших народу десятки миллионов жертв. Из многих путей «первоначального накопления», сталинский оказался, несомненно, не только самым варварским, но и наименее рентабельным.

Столь же необоснованно у Дейчера противопостав-

ление ленинской «демократии» и сталинской «автократии». «Большевизм», — пишет Дейчер — «был раздираем между его демократическим прошлым и антидемократическим будущим». Демократическим прошлым? Демократическую фразеологию большевизма в специфическом толковании Ленина можно было не понимать в 1903-м или в 1905-м году. Но после разгона Учредительного Собрания, после репрессий обрушившихся на демократические и социалистические партии, «демократизм» Ленина предстал в своем подлинном виде. «Эксперт по советским вопросам», Дейчер должен был знать, что с самого своего зарождения большевизм определился как сугубо антидемократическое, централистское, диктаторское течение. Это еще в 1904 году отметил никто иной, как Троцкий, когда писал, что в плане Ленина (о структуре партии) партия занимает место рабочего класса, Центральный комитет замещает партию, наконец, диктатор замещает Центральный комитет.

Неверно, будто бы (как это утверждает Дейчер) большевики ленинского периода поставили вне закона только «контрреволюционные» и «антисоветские» партии. Преследованию подверглись даже группы и партии, принявшие советскую платформу и призывавшие защищать революцию от «белых и интервентов». Позволительно предполагать, что диктатура Ленина вылилась бы в менее уродливые формы, чем диктатура Сталина, что Ленин мог бы обойтись без «острых блюд» своего наследника: — Ленин, вероятно, не заставлял бы Бухарина и Зиновьева признаваться в их причастности к иностранному шпионажу, ибо на своих «друзей и соратников», в виду своего авторитета, мог влиять более человеческими средствами. Можно также предположить, что более знакомый с реальностями внешнего мира Ленин не упорствовал бы, после краха революционных надежд в Европе, в «построении социализма в одной стране». Но об этом можно только гадать. Одно нам кажется несомненным: поскольку большевизм никогда не отказывался от своих утопических экспериментов в России и от своей «освободительной» миссии во вне, его вырождение в тоталитарную диктатуру становилось неминуемым. Это, собственно, признает и Дейчер, когда он доказывает, что для той фазы большевизма, которая последовала после Ленина, а главное, для осуществления тех задач, которые большевизм себе поставил, победа Сталина была неизбежна. «Большевизм не мог вернуться к своему демократическому прошлому, ибо он не мог надеяться на доста-

точную поддержку народа». В этой фразе всё верно, кроме упоминания о демократической генеалогии большевизма, которая живет только в фантазии Дейчера.

Известный остряк Шарль Рапопорт, когда-то определил большевизм как «marxisme, sauce tartare». Дейчеровский анализ сталинизма очень похож на перефразу этого каламбура. Русская революция, пишет Дейчер, была «марксистской революцией в полу-азиатской стране»; большевизм это «амальгама западно-европейского марксизма и современной техники с русским варварством». И верный этим определениям, Дейчер приходит к следующим выводам. Марксизм в его европейском виде и понимании был в России обречен, ввиду отсталости страны. Положение могла спасти революция в Европе, главным образом в Германии; поражение германской революции обрекло большевизм на изоляцию; изоляция, с своей стороны, породила сталинизм и идею «социализма в одной стране». Изолированная от внешнего мира, без собственных и иностранных капиталов, без значительных технических кадров, Россия должна была создать промышленность варварскими способами. Диктатура, террор, концлагеря являются как бы неизбежным следствием исторически-сложившихся обстоятельств.

В своей апологии «исторической миссии» сталинизма автор заходит очень далеко. Его анализ пестрит выражениями вроде следующего: — «Индустриализируя Россию, Сталин себя идентифицировал с нуждами народа». Еще хуже обстоит дело, когда Дейчер интерпретирует внешнюю политику Сталина. «Изоляция, — пишет Дейчер, — осудила большевизм на консервативную политику самосдерживания» (self containment). «Сталин, так называемый, пророк ленинизма и марксизма является, по существу, консервативным государственным деятелем. Коминтерн из авангарда революции превратился в арьергард сталинской дипломатии». Революционные попытки Коминтерна названы автором «шуточными сражениями», «диверсиями», ибо «Сталин делал всё возможное, чтобы уничтожить революционные потенции во вне, во имя священного эгоизма русской революции».

Но как же всё-таки случилось, что не мечтавший никогда ни о каких захватах Сталин оказался после войны факти-

ческим вершителем судеб восьмисотмиллионного большевистского блока? Оказывается, это случилось не по воле, а против воли Сталина. Сталину казалось, что ему удастся «удержать» своих коммунистических агентов в центральной и восточной Европе от самочинной «советизации» оккупированных стран. Но Сталин пал жертвой своих оккупационных войск, главным образом советского офицерства, которое-де не могло примириться с царствовавшей в этих странах «частной инициативой» и прочими несоветскими порядками. Кстати, не будучи силен в дипломатической грамоте, Сталин «искренно истолковал» соглашения в Тегеране, Ялте и Потсдаме, как согласие союзников на большевизацию занятых его армией стран. Только Дейчер почему-то умалчивает о Чехословакии и о его родине Польше, о странах, где последовали события, о которых он должен бы быть более осведомлен... Что же касается Китая, то и Мао Це Дунь действовал наперекор «советам» Сталина, рекомендовавшего осторожность. Правда, Дейчер признает, что Сталин распорядился передать китайским коммунистам захваченные склады японского оружия и этим способствовал победе Мао над Чан Кай Ши. Однако, этот акт был «единственным исключением» из общего сталинского правила невмешательства и сдерживания...

Страницы, посвященные внешней политике Сталина, несомненно, самые слабые в книге Дейчера. Сталин, в обрисовке Дейчера, — это не реальный Сталин, а существующий только в воображении автора. Но такой Сталин нужен Дейчеру для обоснования его теории об эволюции большевизма. Теорию эту он выводит не из объективного анализа фактов, а «подгоняет» факты к заранее придуманной теории. Этим же методом он, еще в большей степени, пользуется в трактовке событий, имевших место после смерти Сталина. При этом оптимизм Дейчера почти неиссякаем. Свои более чем спорные предсказания Дейчер облекает в формы не условные, а утвердительные. Однако, доверия к этим предсказаниям у читателя нет. Кто, например, из следящих за происходящим в СССР может подтвердить, что от марта до середины июня (от смерти Сталина до падения Берии), советские газеты требовали отмены цензуры? Откуда Дейчер заключает, что эти «сто дней» сопровождались в России «волной народного энтузиазма»? Какие у него имеются основания утверждать, что Маленков намеревался пожертвовать Ульбрихтом и Пиком и эвакуировать восточную Германию?

Книга Дейчера вышла в свет всего несколько месяцев

тому назад. Его статья в ньюиоркском журнале «Reporter», являющаяся как бы продолжением книги, датирована 1-м сентября. Но большинство прогнозов Дейчера уже опровергнуты событиями. Слишком поспешно он окрестил дни разоблачения «дела врачей»[3], объявления об амнистии и пересмотре уголовного кодекса, «рождением нового режима» и доказательством того, что «Россия порвала со сталинской эрой». Автору даже не приходит в голову поставить хотя бы такой вопрос: почему в советских газетах ни разу не появилось сообщение о ходе работ по изменению кодекса или почему советы не сообщают о количестве освобожденных по амнистии? Ведь при предыдущих амнистиях такие цифры (точность которых, конечно, никто не может проверить) всё-таки давались.

В конце концов, интерес книги Дейчера сводится к интерпретации «основных линий» эволюции большевизма. Исходя из положения, что сталинские политические методы управления отжили в виду радикального изменения советской социально-экономической структуры и поднятия общего культурного уровня населения, Дейчер предвидит три возможных перспективы: временный возврат к сталинизму, военную диктатуру и мирную эволюцию советского строя к «социалистической демократии». Возможность продолжительного возврата чистого сталинизма Дейчер исключает по причинам указанным выше. Возможность военной диктатуры Дейчер, напротив, допускает, считая даже нужным предупредить о ней западный мир, ибо в возвышении русского Бонапарта он видит опасность новой мировой войны. Все симпатии автора клонятся в пользу третьей перспективы, а именно, — эволюции в сторону социалистической демократии. В качестве проводников этой последней перспективы, Дейчер называет Маленкова и Берию т. е. представителей партийного и карательного аппаратов; противодействие он предвидит со стороны «твердокаменных» сталинцев, группирующихся вокруг Молотова-Хрущева и со стороны... армии. Переход к

---

[3] Кстати, «делу врачей» Дейчер дает интересное толкование. Указывая, что предполагаемыми жертвами «врачей-отравителей» должны были быть военные, а не партийные вожди (за исключением двух умерших, Щербакова и Жданова), Дейчер приходит к выводу, что целью всей этой махинации было усилить престиж и популярность армии в ущерб партии.

осуществлению «демократического социализма» — по Дейчеру — должен быть медленный, посредством реформ сверху, поднятия жизненного уровня в стране и окончания холодной войны во вне. В качестве первого этапа осуществления демократии в стране автору мерещится создание демократии в компартии, в форме возобновления внутри-партийных дискуссий времен Ленина, ибо в партии — полагает автор — находятся все наиболее активные, сознательные и политически-зрелые элементы страны.

Всё это, конечно, относится к области гипотез. Позволительно усомниться хотя бы в следующем: почему партийный и карательный аппараты должны стремиться к уничтожению диктатуры? Такое предположение было бы уместно, если, как это указывает в своей статье Кеннан, исходить из постулата, что партия только и преисполнена заботой о благосостоянии и свободе своего народа, а не преследует цели мирового господства. Сталин не был Ататурком и эпигоны первого не похожи на эпигонов второго. Для большевиков Россия была и остается не самоцелью, а только средством для достижения другой цели, лабораторией для экспериментов, «крепостью мирового коммунизма». Большевизм перестает быть большевизмом, партия перестает быть партией, если она отказывается от своих мировых «освободительных» задач. Спуск на тормозах, о котором мечтает Дейчер, предполагает не только ослабление диктатуры внутри страны, но и *отказ от интернациональных целей коммунизма*, ибо всякая мало-мальски демократическая и национальная власть в России неизбежно перестанет быть «лабораторией» социально-политической утопии, чуждой и враждебной подлинным интересам страны. Вот почему сохранение или уничтожение диктатуры в очень малой степени зависит от материального уровня жизни страны и ее технических достижений. Правда, Дейчер иногда пытается представить Маленкова как «двурушника», в глубине души уже изменившего ортодоксальному большевизму. Однако, его Маленков и уже сошедший со сцены «либерально-просвещенный» Берия так же иллюзорны, как и выдуманный им Сталин.

Непонятно также почему Дейчер считает источником всех зол советскую армию? Офицеры, по его словам, *заставили* Сталина большевизировать занятые ими страны. Армия, будто бы, воспротивилась либеральным реформам и свалила Берию, этим сведя на нет многообещавшую послесталинскую весну. Если уж оставаться в области гипотез, то почему не

предположить, что именно армия, как наименее фанатическая, наиболее национальная и близкая к народу организованная сила, могла бы стать выразительницей тех настроений, которые Дейчер как раз приписывает партии и полиции? Правда, остается призрак Бонапарта. Тут опять сказывается механический подход Дейчера, у которого история всегда повторяется, притом и в первый и во второй раз «в виде трагедии». Ю. П. Денике, посвятивший две статьи книге Дейчера («Соц. Вестник» № 8 и 9) уже отметил, что «с большим правом можно утверждать, что время Бонапартов уже прошло и что даже в милитаристской гитлеровской Германии генералы были менее воинственны, чем национал-социалистические политики».

***

Тоталитарная партийная диктатура — явление новое и чрезвычайно сложное. Она отличается не только жестокостью и фанатизмом, но и беспримерной способностью к маневрированию. В том, что диктатура переживает кризис, что она полна внутренними противоречиями, нет никакого сомнения. Однако, каковы эти противоречия? Дейчер видит главное противоречие в «отставании» политических методов управления (которые годились для начала и середины сталинской эры) от новой, чрезвычайно изменившейся, социально-политической структуры. Серьезные надежды он возлагает на «народ», на «общественное мнение» и особенно на те круги, которые в результате индустриализации получили образование. Ему кажется, что Россия переживает канун шестидесятых годов и что Маленков, чтобы предупредить революцию «снизу», должен будет дать свободу «сверху». Но может ли он дать свободу «сверху»? Ведь сам Дейчер сообщает, что первым результатом послаблений, имевших место после смерти Сталина, было падение трудовой дисциплины на заводах и замедление сдачи поставок в колхозах.

Кеннан, проживший в России несколько лет, менее оптимистичен, когда он пишет: «Влияние народа гораздо меньшее, чем это думает Дейчер». «Взгляды и чувства народа вообще неспособны влиять на тоталитарных правителей, когда они едины, бдительны и безжалостны». Разумеется, в перспективе длительной эволюции, настроения народных масс должны как-то отразиться и на развитии режима, ибо власть вынуждена черпать новые кадры из тех же народных масс. Однако,

такие изменения могут стать ощутимы только в неопределенном и весьма гипотетическом будущем. В настоящем, говорит Кеннан, «настроения народа могли бы повлиять на тоталитарных правителей только в том случае, если апатия и отчаяние народа достигли бы такого предела, когда чередующаяся политика террора и поблажек потеряла бы всякое воздействие»[4].

Основной заботой диктатуры — по Кеннану — является не благосостояние граждан, а удержание власти. Диктатура поэтому вынуждена править кнутом и пряником. В тридцатых годах Сталину удалось удержаться у власти благодаря политике создавания «искусственных напряжений» и постоянным чисткам внутри советской бюрократии. Таким путем Сталину удавалось предотвратить возникновение духа солидарности среди бюрократии, ибо солидарные «группы и клики в состоянии ограничить свободу действия власти». В этих целях Сталин и прибегал к «натравливанию подчиненных на начальников, товарищей на товарищей». Правда, в последние годы жизни Сталина, этот метод управления применялся реже; размеры чисток были скромнее. Полагая, что это объясняется ухудшением здоровья Сталина, Кеннан приходит к выводу, что за эти годы в советской бюрократии могло образоваться какое-то «сословное сознание», трудно совместимое с безграничным деспотизмом.

Итак, смертная опасность для диктатуры (если исключить непредвиденные события, как война, переворот и т. п.) таится в стабилизации, в потере диктатурой «революцион-

---

[4] «Народ (как это часто бывало в русской истории), потерявший веру в свою власть, но сознающий ее безжалостную решимость, идет своим путем, эмоционально и духовно. Этот неорганизованный человеческий колосс, молчаливый и непротестующий, подчиняющийся силе, которой сопротивляться было бы безумием, сохраняет только в скрытом состоянии ту знакомую нам необычайную социальную силу», пишет Кеннан. В связи с этим, приведем другую мысль Кеннана, высказанную им на «конференции о проблемах советского империализма»: «Кто знает, не были ли (народами России) открыты в этом испытании духовные ценности исключительной глубины, способные оказать благотворное влияние и на развитие нашей цивилизации? Возможно, что те, кто прошли через чистилище тоталитаризма, смогут нам сказать что-то новое...» (New Leader от 24 августа 1953 г.).

ной динамики» во вне и внутри, в образовании социальных групп, связанных между собой общностью интересов. Это, очевидно, лучше всех понимал Сталин. Его последняя работа об «Экономических проблемах социализма в СССР», а также его последняя речь на 19-ом съезде, обращенная к иностранным компартиям, свидетельствует, что Сталин вовсе не считал примененный им метод управления отжившим. Напомним, что в этих двух документах Сталин рекомендует интенсифицировать «холодную войну» путем разжигания противоречий между капиталистическими государствами, обращая «особое внимание на те коммунистические, демократические и рабоче-крестьянские партии, которые еще не пришли к власти». «Русские коммунисты, — говорит далее Сталин, — не испугались трудностей и добились победы. То же самое будет и с этими партиями». Совсем не важно, *в данном случае,* насколько Сталин, прав или неправ в своих надеждах на войну между капиталистическими странами. Важно, что большевизму дана какая-то перспектива, какая-то возможность применения его «революционной динамики». В конце концов, и прежние директивы иностранным компартиям редко давали ощутимые результаты.

Большевизм может использовать рецепты Сталина и во внутренней политике. Вспомним, что Сталин рекомендовал не только продолжить «непрерывный рост всего общественного производства с *преимущественным ростом производства средств производства*», но поставил перед партией также новые задачи, а именно: 1) «охватить всю продукцию общественного производства» путем огосударствления колхозов; 2) «ввести общеобязательное политехническое обучение, необходимое для того, чтобы члены общества имели возможность свободно выбирать профессию».

Если первая мера дает волю коммунистическим экспериментам в смысле нового ограбления колхозного крестьянства, то вторая, очевидно, имеет прямое отношение к тому, о чем пишет Кеннан. Надо сломать нарождающуюся стабилизацию и солидарность определенных социальных групп, в данном случае — технической интеллигенции. Надо подготовить новые «массовые» кадры, которые могли бы заменить, в предвидении будущих чисток, старые, стабилизовавшиеся и обуржуазившиеся, слишком долго засидевшиеся за прянником. Пора им изведать и кнута. Не важно опять таки, что программа эта демагогическая, несоответствующая интересам страны. В *данном случае,* важно, что выполнение такой

программы требует настоятельного *сохранения* коммунистической диктатуры; важно, что такая программа может обеспечить сохранение диктатуры от медленного распада; важно, что при осуществлении такой программы «революционная динамика» большевизма может найти дальнейшее применение.

Имеются ли серьезные основания утверждать, что наследники Сталина изменили своему учителю? Нет сомнения, что в течение тех «ста дней», когда в Кремле шла упорная борьба за власть, были колебания, противоречивые действия. Возможно, что под влиянием внутренних и международных осложнений такие колебания происходят и сейчас и что ввиду неопределившегося еще положения «завещание Сталина» временно положено под сукно. Кстати, сам Сталин, давая свои директивы, не имел в виду немедленного их осуществления, а говорил о будущем. Было бы однако большой близорукостью не заметить, что под шумок льгот и послаблений, имеющих целью «повысить личную заинтересованность колхозника в производстве», партия, путем навязывания колхозам «специалистов», засылает туда своих агентов и этим «охватывает» (по выражению Сталина) единственный хозяйственный сектор страны, где до сих пор *абсолютного* партийного контроля всё-таки не было.

Большевистская реальность сложна и противоречива. Ошибку, нам кажется, совершает тот, кто в своих расчетах и прогнозах не учитывает особенности тоталитаризма вообще и исключительную способность большевизма к маневрированию, в частности.

Д. Анин

ХАРТИЯ ВОЛЬНОСТЕЙ

В декабрьском выпуске советского журнала «Знамя» за 1953 г. напечатана статья И. Эренбурга «О работе писателя» интересная, прежде всего, некоторыми признаниями развенчивающими советскую литературу и низводящими ее с высот «первой и самой лучшей в мире», на каковые она сама себя возвела. Начинается статья с выдержки из письма ленинградского инженера, который пишет Эренбургу: «Чем Вы объясните, что наша художественная литература слабее, бледнее нашей жизни?... Классики писали лучше. Конечно, некоторые произведения читаешь с интересом, но много и таких, что спрашиваешь: зачем это написано?... книга не берет за сердце». Эренбург признается, что подобные суждения он слышал не раз.

В переводе с советского на простой русский язык, это означает литературный голод при обилии выпускаемых книг. Советского читателя кормят несъедобным чтивом. Всякому умеющему читать советскую прессу становится ясно, что голод достиг нешуточных размеров, раз понадобилось позволить Эренбургу произвести строгую ревизию всего литературного ведомства... А ревизия, действительно, строгая. Под ласковой и льстивой формой старый циник источает столько яда и насмешек над советскими писателями, что от их литературного величия ничего не остается. Так, например, он констатирует полную неспособность писателей проникать в душевный мир своих героев, да и отсутствие интереса к этому миру. В современных романах «показаны не люди, а станки, не человеческие чувства, а производственные процессы». Эренбург подозревает у писателей отсутствие важного качества — «сопереживания», благодаря чему они не владеют ключом к сердцам своих героев. Читатель, видя перед собой бездушные макеты «идеальных» людей социалистического общества — не верит в их существование. Они выходят нереальными. «У нас в изобилии выходят романы, печатаются повести и рассказы показывающие современников душевно обкарнанными». «Есть пьесы, в которых актерам приходится играть манекенов, рассуждающих об угле, о стали или о ситце. Когда показываются такие пьесы, зрители, даже если они сидят в партере, смотрят на сцену свысока; персонажи им кажутся примитивными». «Много лет подряд наши

журналы почти не печатали стихов о любви. Росли юноши и девушки, влюблялись, страдали, находили счастье, но поэзия этого не отражала и не выражала». Но самое убийственное, что сказано Эренбургом о советской литературе, заключается в словах: «Нам нужны правдивость, страстность, человечность... Эти качества отделяют не один художественный прием от другого, а литературу от халтуры и макулатуры.». Когда в Советах говорят: «нам нужны», это значит, что у нас этого нет. Нет правдивости, страстности, человечности — основных требований литературного творчества. Нет, следовательно, и литературы. Это признание надлежит постоянно иметь в виду людям упорно стремящимся доказать, что в СССР кроме «халтуры и макулатуры» есть полноценная художественная литература.

Об истинной причине столь печального положения — о советском режиме — удушающем в самой основе всякое творчество, Эренбург, конечно, не говорит, он взваливает всё на писателей, на критиков, рецензентов, редакторов. Критика в Советском Союзе такова, что носит «привкус судебного процесса» с очень неприятными для писателей последствиями. Многие книги вызваны к жизни «не горением автора, а развёрсткой исходящей от редакции журнала». Многое пишется по требованию «советской общественности». Какая-нибудь работница Трехгорной Мануфактуры выступая на конференции писателей имеет право столь грозно требовать рассказов изображающих жизнь текстильщиц, что у писателей духу не хватает отказать.

Статья Эренбурга дает обильный материал для картины такого состояния советской литературы, которое большевики, до сих пор, старательно скрывали от посторонних взоров. А ведь Эренбург не говорит о нем и сотой доли правды, равно как о том режиме, что введен для писательского ремесла в СССР.

Статья его, безусловно инспирированная и одобренная властями, означает изменения в этом самом режиме. Его решено, видимо, смягчить. Эренбургу позволили выдать жалованную грамоту писательству. Многим она представляется дарованием русскому литератору свободы творчества. Вся регламентация, весь пресс социального заказа, партийно-политической опеки и агитпропского руководства литературой, как будто, отпадают. Эренбург требует невмешательства в творчество художника, свободы выбора темы и восстановления в правах всех нормальных для творчества условий. Он дает краткий,

но весьма приличный очерк опыта накопленного мировым искусством об основах художественного творчества. Всё это — глубоко правдивые замечания, давно считающиеся аксиомами, вроде такой, например: «Писатель пишет книгу не потому, что он умеет писать, не потому, что он член Союза Советских Писателей и его могут спросить, отчего он так долго ничего не опубликовывает. Писатель пишет книгу не потому, что ему нужно заработать на жизнь. Писатель пишет книгу потому, что ему необходимо сказать людям нечто свое, потому что он «заболел» своей книгой, потому что он увидел таких людей, такие дела, такие чувства, которых не может не описать».

Что можно возразить против такой истины? Если «откровения» Эренбурга вызывают наше возмущение, то только тем, что они высказываются на тридцать седьмом году революции, что в течение этих тридцати семи лет говорилось и делалось прямо противоположное.

Касается Эренбург и тенденциозности литературного произведения. Тут тоже — «реформа». Слово «тенденциозность» он оборачивает так, что прежний его довольно ясный смысл подменяется другим. «Я заглянул во французский словарь и прочитал там, что тенденциозность — это «наклонность к чему-нибудь». Писатель должен быть к чему-нибудь неравнодушен, либо в смысле любви, либо в смысле ненависти. Им должна руководить страсть. «Тенденциозность романа для меня — его страстность», — заявляет Эренбург, и к этому прибавляет: «страсть писателя не означает наивной беспомощной пристрастности». Опять таки — никогда еще в советской России не писали таким языком. «Это куда ни шло!» — скажет всякий подлинный литератор прочтя такие строки.

Эренбургу, конечно, известно, что под тенденциозностью романа разумелась у нас всегда не страсть, а именно пристрастие — приверженность к политической «идее», и в основе тенденциозности лежала мысль, а вовсе не страсть, не чувство. Если хитроумному Улиссу советской пропаганды понадобилось иное толкование слова «тенденциозность», то значит от прежнего его значения в большевистском стане хотели бы отойти. Слово «страстность» («вне страстности нет и не было подлинной литературы») Эренбург употребляет, совершенно очевидно, как некий Ersatz более широкого понятия — чувства — которому хотят предоставить подобающее место в искусстве, занятое доселе «идеей», мыслью. «Может быть стоит припомнить — томно вздыхает Эренбург — некоторые слова почти вышедшие из оборота: призвание, вдохновение, служение?

Право же не смешны эти слова и не пусты». Поистине, стыда и ощущения цинизма не существует в Советском Союзе. Давно ли потешались над этими словами, над «вдохновенным задиранием головы в ожидании, пока небесная поэзия-дух сойдет на лысину в виде голубя, павлина или страуса?» Давно ли кричали: «Поэзия — производство! Труднейшее, сложнейшее, но производство!» Надо было загубить великую литературу построенную на «призвании», «вдохновении», надо было оплевать эти основы творчества, воспитать поколение писателей во вражде и презрении к ним, чтобы потом вернуться к поруганным истинам, «аки псам на своя блевотины». Советский человек так забит и запуган беспрерывным тридцатисемилетним террором, что вряд ли испытывает законное чувство возмущения. Он, по-видимому, бесконечно благодарен, что хоть таким путем, но всё-таки вернулись к подлинному источнику искусства. У многих, вероятно, вырвался вздох облегчения. Наконец то! Чают весны, таяния льдов и пробуждения литературы.

Увы! Кто проникнется таким чувством, тот обнаружит не только детскую наивность и обывательское доверие ко всякому слову идущему из Кремля, но и прямое неумение читать. Статья Эренбурга не оставляет ни малейшего сомнения в том, что никакой свободы творчества советскому автору не предоставлено. Речь идет только о смягчении режима. Устраняются некоторые нелепые крайности, но все важнейшие устои большевистской эстетики и литературной политики остаются незыблемы. Очень показательна, в этом смысле, та часть статьи, где говорится о необходимости для писателя осознавать ход истории и изучать общество своего времени. В «осознавании» и «изучении» ему никакой свободы не полагается, тем более своими артистическими методами — интуицией, прозрением. Оказывается, «он не должен больше довольствоваться ни гениальными предчувствиями, ни спорными догадками; перед ним научная теория, блистательно себя оправдавшая». Имеется в виду, конечно, марксизм. Писатель попрежнему не мыслится без марксистского мировоззрения и оно попрежнему призвано направлять его творчество. Советские писатели призываются, как и раньше, не ограничиваться описанием того, что видят, но пытаться «приподнять завесу времени и заглянуть в будущее». В этом заглядывании советские писатели, по мнению Эренбурга, ничего не поймут, если не будут следовать марксистской теории. Только благодаря ей они «могут определить тенденцию развития человеческих взаимоотношений», только благодаря ей «они знают, какие чувства будут развиваться, какие обре-

чены на отмирание». У писателя попрежнему отнято основное — собственный взгляд на мир. Одного этого достаточно, чтобы свести на нет всякую свободу творчества. Но надо принять во внимание, что многие узы продолжают отягчать литературное творчество. Знаменитое требование Чернышевского, согласно которому писатель обязан выражать свое отношение к тому о чем пишет — остается в силе. Эренбург, правда, не требует от автора «выходить на авансцену романа и непрестанно разъяснять читателям, как он относится к своим героям или к событиям», но окончательно освободить от этой обязанности, предписанной в свое время Лениным, не считает возможным. Не отменен и знаменитый «социальный заказ». По примеру Маяковского, Эренбург полагает всё зло не в самом лозунге, как таковом, а в его извращении. Слово «социальный», по его мнению, оставили в тени, сделав акцент на «заказе», что привело на практике к подсказыванию со стороны и к предписанию тем, сюжетов, даже формы. Эренбург заботится не об отмене социального заказа, а о восстановлении его в правах, он призывает понимать его шире и глубже, чем это делали до сих пор, он хочет видеть писателя настолько «сознательным», выдрессированным, чтобы отпала необходимость подсказывать ему что-либо извне; писатель должен сам это знать.

Не отменен и «социалистический реализм», как основной метод искусства и литературы. На подрыв устоев этого столпа и утверждения истины пролетарского искусства Эренбург даже не покушается. Он только отмечает в согласии с официальным толкованием термина, что «социалистический реализм не литературная школа, он допускает множество различных художественных приемов». Писаревский дух попрежнему увлекает советскую литературу. Идея пользы и практического воздействия проходит через всю статью Эренбурга. Писатель, по его словам, пишет не для забавы и не для того, чтобы прославиться, но чтобы «сделать людей более совершенными, жизнь — более высокой». «Каждый советский писатель принимает участие в этом деле, которому посвятил себя наш народ: в построении коммунистического общества». «Мы рассматриваем нашу работу писателя, как самую ответственную общественную деятельность». Этих цитат вполне достаточно. Смысл их усугубляется перечнем произведений поднятых Эренбургом на щит. Это всё те же «Цемент» Гладкова, «Разгром» и «Молодая гвардия» Фадеева, «Поднятая целина» Шолохова и некоторые другие в том же роде. Допустить, чтобы такой гурман и знаток литературы, как Эренбург, не видел топорности и

грубой фальши этих произведений — невозможно. Превозносит он их, конечно, потому, что «на верхах» они попрежнему в чести и мыслятся, как классические образцы советского романа. «Поднятая целина», по словам Эренбурга, «облегчила переход деревни к новым порядкам», а другой роман «Фронт» — «помог нашей армии». Какие еще нужны доказательства незыблемости грубо утилитарного подхода к искусству?

Статья Эренбурга означает, что соловья советской литературы попрежнему намерены держать в клетке. Только клетку решили немного расширить и дать пташке больше простора. При Сталине и Жданове ее стиснули так, что она не могла крылышками пошевелить. Вероятно, боязнь, как бы она совсем не сдохла, и вызвала выступление Эренбурга. Ей предоставили некоторую свободу движений, она может прыгать с жердочки на жердочку, и даже порхать по своей тюрьме, но о вылете на волю и речи быть не может. Приходится, однако, сомневаться — сможет ли она воспользоваться предоставленными свободами. Допустим, что в романах и пьесах будет меньше резонерства, меньше речей об ударничестве и о добыче угля. Появятся стихи о любви, открыты будут еще какие-нибудь запретные доселе сюжеты и темы. Будет, вероятно, обращено внимание на то, чтобы язык романа отличался от языка газеты. Но способно ли всё это вернуть литературе ее подлинную жизнь? «Нам нужны правдивость, страстность, человечность». Представьте себе несчастного вздумавшего и в самом деле дать правдивый образ партработника или чекиста. Представьте беллетриста поведавшего обо всей бездне отчаяния колхозника. Что сталось бы с таким автором? Ни один советский писатель не поддастся на такую провокацию. Да из писателей уже вытравили способность говорить правду. Их так долго тренировали как лжецов, что они в своем искусстве не находят средств и приемов для правдивого повествования. «Страстность». Эренбург, как мы видели, склонен разуметь под нею нечто более широкое — чувство. О нем следует сказать то же, что о правдивости. В искусстве оно и немыслимо без правдивости. Оно немыслимо без абсолютной свободы творчества. Между тем, какая же свобода, если прямо сказано, что существует группа чувств «обреченных на отмирание», следовательно запретных для писателя?!

Манифест Эренбурга — такая же ложь, такая же филькина грамота, как «сталинская конституция», как все аналогичные документы, выданные большевиками народу.

Н. Бурназельский

АМЕРИКАНСКАЯ ПОЛИТИКА И РОССИЯ

Если завтра война,
Если завтра в поход...

I

В этой статье речь будет идти об одной лишь стороне этого большого вопроса, а именно о позиции Соединенных Штатов по отношению к государственно-территориальному единству России. Но и в узких рамках этой темы речь будет идти лишь о политике правительства, а не партий, частных учреждений или прессы.

В отличие от органов общественного мнения правительство может заниматься подобным вопросом лишь в момент большого международного кризиса, т. е. только в предвоенном напряжении, во время войны, в результате войны или, наконец, в «холодной войне». Но между С. Штатами и Россией не было ни войны, ни военных операций до 1918 г. Военный союзник России в 1917 г., С. Штаты отвергали, конечно, и германо-австрийскую программу по отношению к их восточному врагу. Но и в 1918 г. после Брест-Литовского мира, когда национальные движения в России разлились широкой рекой и на ее территории возникли многочисленные независимые государства, С. Штаты отнеслись очень осторожно к этим движениям: в одних случаях авторство Германии было очевидно; во всех случаях (кроме Польши и Финляндии) отделение национальных территорий казалось продуктом очень временных условий революционного периода. Симпатии в Америке к русской революции не позволяли признать окончательным процесс государственного разложения, разброда тех лет.

Годы иностранной интервенции, 1918-20, были первым периодом в русско-американских отношениях, когда вопросы эти приобрели реальное значение. После дипломатических переговоров, во время которых С. Штаты возражали вообще против высадки в России, их военные силы приняли участие в этой операции и оккупировали некоторые российские территории на европейском севере и на Дальнем Востоке. Однако, в отличие от Польши. Румынии, Англии (на Кавказе), Турции,

Японии, — С. Штаты продолжали настаивать на «территориальной целостности» России. В меморандуме от 17 июля 1918 г. президент Вильсон говорил:

«Военная интервенция в России еще больше увеличила бы состояние замешательства вместо того, чтобы его исправить; она может скорее нанести ей (России) вред, чем оказать помощь; и она не принесла бы пользы нам в достижении нашей главной цели — победы над Германией... Правительство Соединенных Штатов уступает решению Верховного Командования в деле отправки небольших сил в Мурманск... Оно просит всех союзников участвующих в этой акции совместно заверить народы России в возможно более официальной и торжественной форме, что ни одно из правительств, принявших участие в операциях в Сибири или на севере России не имеет в виду ни нарушения политического суверенитета России, ни вмешательства в ее внутренние дела, ни посягательства на ее территориальную неприкосновенность ни в настоящее время, ни впоследствии...»

Это сказалось особенно отчетливо в Дальне-Восточных конфликтах тех лет, ибо на Дальнем Востоке Америка и тогда уже играла более видную роль, чем в Европе. Сперва С. Штаты возражали против японской высадки на русской территории; когда вопрос был решен и Япония подготовила большой десант, президент Вильсон решил принять участие, чтоб сделать невозможной длительную оккупацию, т. е. фактическую аннексию Приморского края и Восточной Сибири Японией. В дипломатической переписке с Токийским правительством Государственный Департамент не переставал требовать обязательства соблюдать «целостность и неприкосновенность» российских владений. Так, например, в ноте от 3 июня 1921 г. говорилось следующее:

«Правительство Соединенных Штатов не сможет ни в настоящее время, ни позднее признать действительными какие-либо требования и права, вытекающие из нынешней оккупации и господства, и оно не примирится ни с какими мерами, принятыми правительством Японии, которые могут нарушить... политическую или территориальную неприкосновенность России... Друзья России должны держаться в стороне от внутренних проблем русского народа... и превыше всего — воздерживаться даже от временного и условного нарушения иностранной державой территориального статута, который для них (русских), как и для всякого народа, является предметом глубокого национального чувства...»

Незачем прибавлять, что этот курс американской политики диктовался не только симпатиями к России, но и растущей тревогой насчет Японии и ее истинных намерений. Начиная с первых лет этого столетия С. Штаты вели политику равновесия сил на Дальнем Востоке, — то поддерживая Японию против России (напр., в 1904-05 гг.), то Россию против быстро усиливающейся Японии.

Эвакуация японских войск с Дальнего Востока в начале двадцатых годов была вообще результатом американского давления, а не победой советского правительства, которое фактически не имело там военных сил. Лишь в результате Вашингтонской конференции Япония согласилась уйти из Сибири. Когда она ушла, Борис Сквирский, фактический представитель Ленина («неофициальный посол Дальне-Восточной Республики») посетил Государственный Департамент и заявил, что «русский народ сознает, какое значение имела дружественная политика С. Штатов в деле эвакуации». Спустя три года, под не менее сильным давлением Вашингтона, Японии пришлось очистить и Северный Сахалин.

Эта позиция С. Штатов, более про-российская, если можно так выразиться, чем позиция других держав, сказалась также в отсрочке признания Прибалтийских государств, провозгласивших свою независимость в 1918 г. Советское правительство признало их в 1920 г.; Англия и другие европейские державы признали их в январе 1921 г., а Соединенные Штаты лишь в июле 1922 г. Но и в декларации об их признании государственный секретарь Чарльз Хьюз подчеркнул вновь принципиальное отношение С. Штатов к вопросу об отделении различных территорий от России:

«Соединенные Штаты последовательно держались принципа, что расстроенное состояние России не должно послужить поводом для отторжения русской территории; этот принцип не нарушается признанием в настоящее время правительств Эстонии, Латвии и Литвы, которые были созданы и поддержаны местным населением».

II

Затем, с 1922 до 1939 г., российские территориальные вопросы почти не фигурируют в официальной международной политике. Не меняется в это время и американский курс: очень анти-коммунистический и анти-советский, избегающий даже признания советского правительства до 1933 г., он ориентируется по-прежнему на «территориальную неприкосновен-

ность России»; в частности, национально-меньшинственные течения в России, в эмиграции и в самой Америке не имеют влияния на американскую политику в этот период.

Не изменилась, конечно, американская политика и тогда, когда территориальные вопросы «Ostraum'а» поставлены были на очередь Германией, — сперва в публицистической, а затем и в военной форме. Никакого сочувствия не вызывала в Вашингтоне ни нацистская пропаганда освобождения Украины, Грузии и др. национальных территорий, ни создание в Берлине национальных комитетов из про-германских представителей различных народностей Советского Союза. Уж один тот факт, что с июня 1941 г. Советская Россия была союзником Америки, делал невозможным и психологически и дипломатически, всякое сочувствие планам отторжения тех или иных территорий. Даже присоединение новых, не-русских территорий к СССР, напр. части Восточной Пруссии или Прикарпатья в 1944-45 гг., и присоединение областей, отошедших от России в 1918-20 гг., либо не встречали протеста со стороны Соединенных Штатов, либо вызывали лишь осторожные возражения; в других случаях — напр. на Дальнем Востоке — передел совершен был с согласия Соединенных Штатов.

В 1947-48 гг. начался сперва медленный, а затем более ускоренный пересмотр американской политики по отношению к российским территориальным вопросам. По мере того как, неожиданно для большинства американцев, обнаруживались сила и размах советской экспансии и меркли воспоминания о военном сотрудничестве, усиливался антагонизм. Начиная с осени 1947 г., вооруженный конфликт с Советской Россией считался возможным; с осени 1948 г. — с блокады Берлина — он считался вероятным, а многим начал казаться неизбежным. Когда началась корейская война, т. е. летом 1950 г., ее восприняли как вероятное начало новой мировой войны. Впервые Америку стал охватывать страх перед «восточным гигантом»; всякая идея и всякий проект, направленные к уменьшению советской силы, — встречались с интересом. В частности, прежде отвергавшаяся программа раскройки советской территории по линии национальных швов, делалась приемлемой.

В эти годы (1947-52) в Соединенных Штатах подготовка к новой войне шла усиленным темпом. Конечно, Америка и не думала начинать войну против Советского Союза, но все рычаги и винты государственной машины должны были быть готовы для обороны. В каждом генеральном штабе и в стальных шкапах правительства каждого большого государства покоит-

ся множество детальных стратегических и политических планов войн, из которых большинство так и не вспыхнуло никогда. Если б все войны, планы которых были заготовлены, имели место, не осталось бы вероятно ни одного человеческого существа на земле. В советских сейфах, напр., лежат подробные военно-политические планы на случай продвижения в Западную Германию, — с указанием партий и людей, которых надо немедленно привлечь к сотрудничеству, новых государственных учреждений, которые надо создать, и операций на западных границах Германии, к которым надо приступить. Все такие планы строятся, естественно, на оптимистическом варианте — «если мы будем побеждать».

Кто помнит, что означает большая война в современных условиях, поймет, почему и американские военные ведомства разрабатывали не только общие принципы и стратегические линии, но и тактику сухопутной, морской и воздушной войны, с указанием направления удара, объектов бомбардировки, а также и линий отступления и эвакуации там, где это представляется необходимым в первой стадии войны[1].

Кроме чисто-военного плана войны, необходим был и план политический. Он, естественно, должен был ограничиться минимумом, т. е. не забегая далеко вперед, должен был наметить те политические акты, которые соответствовали бы непосредственной международной и стратегической ситуации. Казалось бы, вопросы территориального и национального устройства России после войны не принадлежат к делам первоочередным и решение их, зависящее от хода и исхода войны, можно было бы и отложить. Но это не так.

III

Я не имею секретных документов и не предполагаю раскрывать тайн, когда пишу эту статью; есть вещи, разумеющиеся сами собой. Но каждый человек обязан понять и изучить объективно эти вопросы; это значит, что раньше, чем давать

---

[1] До какой детальности доходила эта — конечно секретная — работа, видно из двух процессов о шпионаже, имевших место в американской зоне Германии в 1951 г.: обвиняемые Пауль Вальтер и Вальтер Зифферт, агенты чешской, т. е. советской разведки, охотились за особым расписанием американских поездов в Германии, выработанным на случай советского наступления; эти расписания были ими найдены, выкрадены и выданы Праге. Вальтер и Зифферт были приговорены первый к 5, а второй к 8 годам тюремного заключения.

оценку американской политике, надо понять историческую логичность ее главных линий. Предположим, что в войне с СССР, (безразлично, кем начатой) союзные армии успешно продвигаются вперед. В их состав входят американские, английские, германские, турецкие дивизии; возможно, и некоторые другие. Они прошли Восточную Германию и Австрию, вступили в Польшу и Чехословакию, продвинулись в Венгрию и Румынию. По мере того, как они очищали эти страны от войск Советской России и ее сателлитов, новые военные силы создавались из местного населения; на сторону Запада переходили пленные полки; в состав союзных армий вливались таким образом поляки, румыны, венгры, чехи. Одновременно создавались новые правительства в этих странах и они приобретали голос в рамках анти-советской коалиции. Наконец, соединенные силы союзников подошли в разных пунктах к советской границе — и вступили на советскую территорию, — это значит в Литву, Белоруссию, Украину, Молдавию, Грузию и Армению. Среди множества политических вопросов, которые встанут, будет и характер нового режима в этих странах.

На первый взгляд, в этот момент должна образоваться новая власть, некоторое зародышевое всероссийское правительство, сфера которого будет расширяться по мере того, как продвигаются вперед союзные войска и расширяется не-советская территория. Из Минска, Киева или Эривани оно возвестит миру о своем существовании и о новой армии, которая будет создаваться под его началом. В предвидении таких событий, не пора ли уже теперь, до войны, приступить к созданию первой ячейки такого правительства?

Но тут американская политика встречается с различными пожеланиями своих будущих союзников. Англия стоит давно уж за отделение от России Средней Азии и Кавказа; Германия желает отделения хотя бы значительной части Украины, и ее поддерживает в этом Польша; Польша притязает на значительную часть Белоруссии, требуя и полного отделения Украины; Румыния требует Бессарабии и некоторой части соседней с ней территории, быть может, вплоть до Одессы; Турция требует себе некоторых кавказских территорий. Наконец все, включая Соединенные Штаты, стоят за отделение трех Балтийских стран. Вступит ли Япония в войну, никто не предскажет; но если она вступит, она потребует, кроме Сахалина и Курильских островов, еще какого-либо «буфера» на материке. Ни один из соседей России и в мыслях не имеет воевать просто за «свержение большевиков», без всяких территориальных приобрете-

ний. Так велика была советская угроза в эти послевоенные годы, так много накопилось страха и ненависти, что анти-коммунизм ныне окрашен в яркие анти-русские цвета, а старая формула «без аннексий и контрибуций» отдает маниловщиной. Бескорыстными (в смысле территориальной экспансии) являются лишь более отдаленные от России державы.

В связи с этими территориальными программами находится, естественно, и решение поставленного выше вопроса о политическом режиме тех советских территорий, которые были бы оккупированы союзными армиями. Турция не согласится, чтобы с вступлением союзных, т. е. в данном случае турецких войск в Эривань, Тифлис или Баку было провозглашено новое российское правительство; она пожелает отбросить его на север; она потребует немедленного «местного самоуправления» для Кавказа под турецким контролем. То же случится и в Гродно, Белостоке и Минске, где Польша подымет флаг отделения Белоруссии; также в Киеве, в Кишиневе и прочих местах.

Едва ли имели уже место настоящие переговоры об этой союзной военной программе; если и сделаны были намеки, то они были мимолетными и остались в секретных архивах. Из истории коалиционных войн известно, что, по понятным причинам, подобного рода программы, вынашиваемые в течение многих лет, делаются предметом совместного обсуждения либо в самый канун войны, либо — еще чаще — после ее начала.

Но правительство Соединенных Штатов стоит и будет стоять перед вопросом, как отнестись к этим пожеланиям и программам своих союзников. Его историческая традиция, как мы уже видели, ясна: в течение долгого времени его программа не включала отделения значительных российских территорий, кроме присоединенных начиная с 1939 г. Но с увеличением страха начали расти и новые настроения. Неосознанная борьба этих двух тенденций — симпатии к России и страха перед Россией — впервые отчетливо сказалась в июне 1951 г., когда группа депутатов конгресса внесла резолюцию, выражающую дружественные чувства Америки к русскому народу и сожаление об «искусственных преградах», разделяющих обе нации. Из общего числа 435 депутатов лишь 36 голосовали за эту резолюцию; 7 голосовало — по невысказанным причинам — против; остальных в зале не оказалось. Чтоб добиться этого результата, инициатор, депутат Рибиков, должен был заранее обещать партийным вождям, что он не потребует поименного голосования.

По мере того, как Америкой делались попытки «объедине-

ния эмиграции» для решительных действий в случае войны, выяснялось, что в Анкаре, Лондоне и некоторых других столицах царят другие настроения; в частности, включение Турции в состав Северо-Атлантического Объединения в 1952 г. сделало программу «территориальной неприкосновенности России» просто нереальной. Выбор был прост до смешного: либо армии, флоты и авионы многочисленных союзников, либо не столь могущественные силы русской патриотической эмиграции с ее неопределенными надеждами привлечь, в случае войны, русский народ и армию на сторону Запада. Соединенные Штаты не могли, конечно, отказаться от союзников в войне в Европе и Азии и уложить в могилу лишний миллион или два американских солдат ради соблюдения территориальной целости далекой, чужой, непонятной страны. Несмотря на про-американскую тенденцию русских анти-коммунистических групп, их интересы не могут совпадать во всем с интересами Америки. Еще не было союзников, которые были бы во всем солидарны. Полное единодушие царит лишь в отношениях между государством-хозяином и его сателлитами.

Но мы еще не находимся в войне, и на это время Соединенные Штаты не видят необходимости ангажировать себя ни в каком направлении. Они не имеют основания уже сейчас решать, они «не предрешают» вопроса о территориальном единстве России. Но если война вспыхнет, то смутные программы соседей России, голоса которых приобретут большой вес, превратятся в международные договоры.

В ряде официальных заявлений и документов последних лет подчеркивается захватнический характер русской политики, начиная с XVI-го века, многонациональный состав населения, идеалы освобождения меньшинственных наций от русского ига и обязанность Америки придти им на помощь. При этом некоторые, очень парадоксальные, порой совершенно нелепые элементы националистической идеологии воспринимаются некритически высшими носителями власти, — напр., взгляд на коллективизацию сельского хозяйства, как средство ликвидировать лучшую часть украинского крестьянства, или утверждение, что русский народ, в отличие от других народов СССР, служит верной опорой советскому правительству. Самым отчетливым образом выразил эти взгляды американский министр внутренних дел Оскар Чапман в большой речи 5-го июля 1952 г.

«Мы иногда совершаем большую ошибку, — говорил Чапман — полагая, что международная коммунистическая заговорщическая по-

литика опирается на единый народ, придерживающийся однородных взглядов и известный как русская нация...

«Наличность украинцев показывает, как неправильно это предположение. Противниками свободы является не народ, живущий в границах Российского государства: жители Украинской республики не враги свободных людей. Наоборот, они горячо желают свободы».

Подобно тому, как американцы должны были, в борьбе за свою свободу, восстать против англичан, так и украинцам приходится бороться с русским гнетом; «в этом отношении существует аналогия между американской и украинской традицией».

«В 1941г., — говорил Чапман — народы Украины жили между двумя соперничающими империализмами, русским и германским. Оба стремились приобрести эту богатую страну. После неустойчивого союза, диктаторы начали войну и немцы вступили в Украину.

«Легионы Гитлера прошли через Украину быстро главным образом потому, что украинский народ сперва смотрел на них, как на освободителей. Этот факт имеет сейчас большое значение. Он подчеркивает обстоятельство, которое слишком часто упускается из виду в Соединенных Штатах, — что украинцы по существу вовсе не русские. Их свыше 42.000.000 в Украинской Советской Республике, и из них около 91% не русские. Далее, русские держали их в течение многих лет в неволе и с течением времени неволя становилась всё тяжелее. Она стала особенно тяжела в последние годы перед германским вторжением.

«Кремлевская программа коммунизирования Украины была ни чем иным, как попыткой уничтожения украинской культуры, которая существовала уже тогда, когда России вообще не было. Массовые убийства, депортации и коллективизация, вызвавшая страшный голод, входили в состав этой программы Кремля.

«Таким образом, когда германские армии вступили в Украину, украинцы, естественно, почувствовали, что настал день их освобождения. Немцы оказались такими же жестокими и бессердечными притеснителями как и кремлевцы. Они скоро дали понять, что их целью является уничтожение и порабощение Украины, а не освобождение ее.

«Таким образом, когда германские армии вступили в Украину, гли выбросить их.

«В итоге, Сталину удалось убедить мир, что в России образовался широкий «Народный фронт». На самом же деле, конечно, ничего подобного не было. Угнетенный народ восстал, чтоб бороться за свою свободу. Он помог уничтожить одного поработителя; но,

когда война кончилась, он убедился в том, что прежний поработитель крепче держит вожжи, чем когда-либо».

Более осторожно, но в том же духе высказался Дин Эчисон в 1951 г., говоря о «500 лет роста России — от московского княжества до огромной империи», и о том, что «надо остановить это развитие». Джон Фостер Даллес также говорил в июле 1951 г., о «природной тяге великороссов к империализму». Харальд Стассен, ныне член правительства, заявил в январе 1951 г. (до назначения его министром); «Среди целей, которых надо достигнуть... обеспечение суверенности и независимости для Украины, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Чехословакии, Румынии, Болгарии и Венгрии».

Эдвард О'Конор, руководитель комиссии о перемещенных лицах, т. е. официальное лицо, говорил в октябре 1951 г.:

«Не-русские народы, которые составляют большинство в Советском Союзе, являются самым слабым звеном в советском плане завоевания мира, ибо в течение веков они ненавидели русский империализм и страдали от него».

Можно, если хотеть, очень удлинить этот список; наиболее осторожную формулировку новой политики дает в своих заявлениях полуофициальный Американский Комитет Освобождения от Большевизма, — «мы отказываемся и будем отказываться от определения будущей организации тех территорий, которые являются советскими в настоящее время; самоопределение является единственным здоровым методом для решения этого вопроса». Ни отделение, ни сохранение государственного единства, а «непредрешение» является формулой Комитета на ближайший период. Так же говорит и министр Чапман: «наша трагедия коренится в том, что мы отказались от вильсоновской программы самоопределения».

В двадцатом веке отделение территорий даже от побежденного государства должно быть облечено в демократические одежды, — лучше всего в формы освобождения наций от чужого ига. Когда кайзеровская Германия в Брест-Литовске в 1918 г. приобретала для себя Украину, она ссылалась на высокие идеалы национального самоопределения[2]; Турция, при-

---

[2] Составленный министрами кайзера Брест-Литовский договор гласил: «Россия обязывается немедленно заключить мир с Украинской Народной Республикой и признать мирный договор между этим государством и державами четверного союза. Территория Украины незамедлительно очищается от русских войск и русской

обретая ройоны Батума, Карса и Ардагана, пошла в своей демократичности так далеко, что устроила, народный плебисцит и получила 83.000 голосов против 2.000[3].

Если война будет успешной для Запада, нет сомнения, что территории Союзных Республик (кроме прибалтийских) вдоль западных и кавказских границ будут поставлены под военное управление и в политическую зависимость от прилегающих государств — членов Атлантической коалиции.

IV

Возможно, что это и будет той ценой, которую России придется заплатить за сталинизм, за предпринятую коммунистическим режимом интегральную экспансию и за ту военную угрозу, под которой он держит весь мир вот уже девять лет. Но более вероятным представляется другой ход дела.

По мере того, как будет развиваться война, в среде западной коалиции начнет быстро вырастать одна сила, которая скоро затмит все другие — Германия; всё, что мы слышим и читаем о ее «возрождении» в последние годы — ничто, по сравнению с ее неизбежным возвышением, если будет война. Сперва она вернет себе свои восточные провинции, с населением около 20.000.000, и тогда это 70.000.000-ое государство своей численностью далеко обгонит другие государства Европы (кроме России); оно создаст армию, для которой границы не могут быть поставлены в момент войны; его военная индустрия будет работать полным ходом. Из трех главных военных сил этой войны, Соединенных Штатов, Англии и Германии, последняя — по географическим и другим причинам — скоро окажется в состоянии поставить столько же людей, сколько пошлют оба других больших союзника, вместе взятые. Эта военная и промышленная сила очень скоро начнет превращаться в политическую. В частности, германская внешне-политическая программа приобретет реальные очертания: будет поставлен на очередь судетский вопрос, возникнет вопрос о судьбе Австрии; постепенно наметится и естественная тенденция к ослаблению

красной гвардии. Россия прекращает всякую агитацию или пропаганду против правительства или общественных учреждений Украинской Народной Республики».

[3] Указывая на эту «служебную» функцию формулы о самоопределении народов во внешней политике нашего времени, я не предлагаю, конечно, выбросить за борт этот принцип вообще. Необходимо, однако, оценивать реалистически его значение в каждой данной ситуации.

других больших государств на континенте и к отделению национальных территорий от России. В этих условиях разгром советских сил и распад России будут означать возрождение другого, не менее опасного агрессора.

Что ж с того, — будут спрашивать себя изумленные народы, — что Россия отброшена далеко на восток, что ее границы уже проходят у Смоленска, Курска и Новороссийска, что огромные пространства, отделенные от нее, превращены в новые государства-сателлиты Польши, Германии, Турции, — какая польза от всего этого, если на всем пространстве старого континента нет уже силы, которая способна была бы сопротивляться германской мощи? Окажется, что та ситуация, которой безуспешно добивалась Германия кайзера и Германия Гитлера, реализуется совместными усилиями Западной коалиции, и что опасность, которую Соединенные Штаты и ее союзники преодолели в 1945 г., грозит им вновь!

Несущественно, произойдет ли немедленно внутренний переворот в Германии, и если да, то какой. Сделаться агрессивным может и демократическое правительство; для этого в Германии, где живет сейчас 10.000.000 немцев-беженцев из Польши, Чехословакии и Венгрии, достаточно взрывчатого материала. В дальнейшем демократический режим может измениться; он может быть и насильственно свергнут. Нацизм, как идеология и как политический режим, не могут, по моему убеждению, повториться; но бывают и другие агрессивные идеологии и режимы.

В этих условиях, еще до окончания войны, неизбежно наступит пересмотр американской политики. Вместо систематического раздела российской территории задачей сделается создание противовеса против Германии, т. е. войдет в силу освященная веками, хотя и не раз осмеянная, политика «равновесия сил». Таким противовесом против Германии может быть только Россия.

До конца первой мировой войны, когда Англия была первой в ряду мировых держав, она соблюдала этот принцип равновесия, меняя своих союзников сообразно обстоятельствам. Временами она поддерживала Францию против Пруссии-Германии, временами Пруссию против Франции, — в зависимости от того, кто был сильнее в данный момент, будучи всегда противником сильнейшего. В союзе с Россией, Англия содействовала поражению Наполеона I, в союзе с Францией она была в числе врагов России в Крымской войне; она была на стороне Пруссии против Франции в войне 1870-71 гг.; она была на сто-

роне Франции и России против Германии в 1914-18 гг. Эта политика переменных союзов и равновесия сил не обеспечила, правда, всеобщего мира: но она давала Англии возможность оставаться в стороне от многих европейских войн; это и было главной ее целью.

Заняв сейчас место Англии в концерте держав, Соединенные Штаты вынуждены усвоить себе многое из раньше ненавистных методов и техники английской политики; среди них и руководящий принцип равновесия сил. Закончив войну против Германии в 1945 г., Соединенные Штаты вот уж девять лет вынуждены держать свои войска в Европе, вооружать миллионные армии и быть каждую минуту готовыми к войне; от них требуют, сверх того, — обязательства остаться в Европе на много десятилетий. Но Вашингтон, естественно, уклоняется от этой роли. Он хотел бы, наоборот, по меньшей мере длительной передышки от военных забот и растущего финансового бремени. Но если уйти из Европы (и из Азии), кто заменит американцев? Чья сила сделает новую агрессию невозможной? Равновесие Германии и России далеко не панацея от всех бед; но это была бы передышка, быть может на несколько десятилетий, быть может и на более долгое время.

Поэтому в ходе войны с Советским Союзом, если она будет иметь место, наступит момент, когда Соединенные Штаты должны будут выступить против территориальных притязаний многих своих союзников, — в особенности вдоль западных границ России; на Дальнем Востоке они должны будут сопротивляться экспансии Японии на азиатском континенте. Безразлично, идет ли речь о притязаниях, выраженных в откровенно-аннексионистских формах или скрывающихся под фиговым листком национального самоопределения, — территориальные линии, существенно отходящие на восток от схемы советских границ 1921-38 гг., окажутся неприемлемыми для Соединенных Штатов и для Англии[4].

---

[4] В политической публицистике последних лет разрабатывались планы большого блока средних и малых государств, расположенных между Черным и Балтийским морем, — от Польши и Эстонии до Румынии и даже Украины. Еще несколько лет назад этот план мог казаться реальным как военно-политическая плотина против Германии. Сейчас он кажется сомнительным; это эксперимент, который может оказаться роковым. Соединенные Штаты и Англия не смогут положиться на эту комбинацию, как на реальную гарантию европейского равновесия.

V

Мы все выросли в понятиях и представлениях, отвергающих равновесие сил в международной политике; для нас — это пережиток старины, отдающий Людовиками и Фридрихами, — принцип, которому нет больше места в наш просвещенный век. Это неправильные, непродуманные представления. Политика равновесия сил, действуя и в наши дни, применяется везде и всеми сильными правительствами, включая и правительство советское. Пока каждая суверенная держава содержит армию и имеет возможность начать войну в любое время, — принцип равновесия сил сохраняет свое значение, но особенно большое значение он имеет для морских держав, Англии и Америки, безопасность которых может строиться на том, что другие силы — в Европе и в Азии — уравновешивают и взаимно нейтрализуют друг друга. В XX-ом веке Англия не раз шла на европейском континенте, а Америка на Дальнем Востоке путями равновесия сил — напр., в советско-германских отношениях в 1933-38 гг., в русско-японских отношениях в 1904-05 гг., и снова в 30-ых гг., и т. д. Для этих обеих держав главная проблема настоящего времени — отсутствие равновесия сил в Европе и потребность, ввиду советской мощи, в создании германского противовеса.

Интересно, быть может, вспомнить, как Ленин, сознательно восприняв идею равновесия сил, пытался применить ее в своей внешней политике. Долгое время он строил свои надежды на том, что его противники-«империалисты» будут нейтрализовать друг друга во взаимной борьбе, — и он стремился «стравить их», чтоб самому остаться в стороне. Мастер переводить научные формулы на язык уличных митингов, он дал свою формулировку принципу равновесия сил. Подобно тому, как марксовскую «экспроприацию экспроприаторов» он превратил в «грабь награбленное», так и международному равновесию сил он давал новое обличье: «Когда два вора дерутся, честные люди выигрывают», — воры, это, конечно, империалисты, а честные люди — это, конечно, ленинское правительство. С большим удовлетворением он предсказывал в мае 1920 г. «неизбежную войну» Франции с Англией. На Дальнем Востоке «мы были б в бóльшей безопасности, если б империалистические силы начали войну друг против друга». В курьезном инциденте с американцем-авантюристом Вандерлипом, которого по совпадению имен в Москве сочли директором Нашионал Сити Банк и приняли с большими почестями, советское правительство предлагало Америке нефтяные концессии на Камчатке,

оккупированной Японией: «таким образом, — объяснял потом Ленин, — мы натравливаем американский империализм против японской буржуазии». Позднее он заявил, что «мы уже стравили Японию с Америкой, и этим достигнута выгода»[5].

Не трудно и в политике Сталина найти элементы той же политики равновесия сил; это завело бы нас, однако, слишком далеко.

Равновесие сил нельзя «отменить», не отменяя войны. Пока варварский способ разрешения интернациональных конфликтов сохраняется — а никто ведь не думает, что войны уж невозможны — сохранит свою силу «устарелое» равновесие сил. Когда-то не будет ни того, ни другого; но упразднить сегодня равновесие сил — это всё равно, что отвергнуть зонтик в дождливый день потому, что завтра будет ясная погода...

Лишь поверхностному наблюдателю или злобному критику эта политика переменных союзов может казаться простым клубком противоречий, конфликтов, символом непостоянства. В действительности же, в ней есть своя логика и своя правильность. Если отвергнуть эту систему взаимно-уравновешенных сил, альтернативой для Америки будет не прочный мир, а распространение господства одной из борющихся империй — Германии или Советского Союза — на целые материки, т. е. возвращение к античной системе, когда миром правила одна неограниченная и почти всегда тираническая власть. В настоящее время третьего выхода из противоречивой ситуации еще нет.

VI

Начиная с 90-ых гг. прошлого века, кристаллизовались два разных решения «русского вопроса» — для упрощения их можно назвать германским и французским. Германская, вернее австро-германская, политика ставила себе целью разрушение гигантской, угрожающей соседней империи — империи царя или империи Сталина, — и создание другой, не меньшей по размерам, единственной в Европе, германской империи. Политика Берлина, — в годы наступления — стремилась отменить вековую традицию сожительства, соревнования и борьбы

---

[5] Когда личность Вандерлипа выяснилась, Ленин объяснял свою ошибку таким образом: «Хотя контр-разведка нашей ВЧК очень успешна, — к сожалению, она не распространяется на Соединенные Штаты Америки».

великих держав и объединить континент под своим господством. «Балканизация» Европы, в особенности России, была средством к этой цели.

Французская политика исходила, наоборот, из того, что роль европейского военно-политического вождя потеряна Францией больше столетия тому назад и что события последнего века не дают надежд на возврат к силе и блеску старых времен; в частности, рост Германии осуждает на неудачу все попытки создать гегемонию Франции на континенте. Франция нуждается в союзниках против Германии, и чем сильнее эти союзники, тем лучше. Поэтому Франция была, вот уже 60 лет, заинтересована в сильной России; меньше других держав она готова активно поддерживать ее раздел. (Лишь в 20-ые годы, когда Москва ориентировалась на Берлин, Франция искала эрзаца и нашла его в Польше). Даже и сейчас, когда советские войска стоят уж на Эльбе, Франция попрежнему видит своего главного врага в Германии.

Перед Америкой открываются два пути, германский и французский, — и она будет выбирать то тот, то другой, в зависимости от обстоятельств. В последней войне она шла французским путем; в союзе с Францией она разрушала военную мощь Германии, помогая в то же время Москве строить новое государство — бо́льших размеров чем оно когда-либо было раньше. Столь же закономерно Америка вступает сейчас на германский путь; в союзе с Германией, если до этого дело дойдет, она будет стремиться разбить гигантскую империю. Но затем Америка неизбежно вернется на французскую дорогу.

Я не хотел бы, чтоб эта статья была воспринята кем-либо, как предсказание «неизбежной войны», в которой победа Запада заранее обеспечена, или как указание единственного пути, каким «русский вопрос» может быть разрешен. Если и были в истории неизбежные войны, этот термин едва ли применим в современной международной обстановке, когда инициатива находится в руках власти агрессивной и в то же время осторожной, бурно-ненавидящей, но сознающей свою военно-техническую отсталость, — власти, вечно пребывающей в состоянии внутренних кризисов. Эта противоречивая сущность внешней политики Кремля делает войну возможной, но не неизбежной. Настоящая статья пытается лишь ответить на вопрос — как события разовьются, *если* война вскоре вспыхнет и *если* Запад будет побеждать.

Возможен, конечно, другой путь развития. Возможно, что напряжение, царящее сейчас в международной сфере, будет

продолжаться долго без того, чтоб превратиться в открытую войну, и очень переменчивое равновесие наших дней сохранится на многие годы. Тем временем внутренние политические процессы, и в особенности хронические кризисы, сотрясающие русский коммунизм, созреют и, в результате борьбы, дадут свои плоды в виде новой власти, новой программы и новой внешней политики. Ибо ничто на свете, даже пресловутый советский «монолит», не защищено от действия времени и законов социологии. В таком случае, трансформация внутри-русских отношений, установление нового режима и смягчение международного климата наступят, быть-может, без войны, без вмешательства чужих армий, чужих правительств и, вообще, без *прямого* воздействия извне. Но сколько лет должно пройти до тех пор, и сколько страданий народы должны вынести пока это наступит — на этот вопрос никто не ответит ...

Д. Далин

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

ПАМЯТИ ДРУГА

Если бы Влад. Мих. Зензинов дожил до 29-го ноября 1953 г., ему исполнилось бы ровно 73 года: он был на два года, день в день, моложе своего друга, Ник. Дм. Авксентьева.

Когда я стоял у открытого гроба Зензинова и вместе с другими ощущал горькую печаль и покинутость, я не представлял себе, что́ означает утрата Владимира Михайловича не только для близких ему, но и для общественных и политических организаций, в которые входил Зензинов. Я думаю при этом о ньюиоркской группе эс-эров, об обществе «Надежда», о Лиге борьбы за народную свободу. Говорят: незаменимых людей нет. В общей форме или в историческом разрезе это, конечно, так. Но практически, или на коротком отрезке времени, одни заменимы с бо́льшим трудом, чем другие. Зензинов был человеком слова и дела — исключительно добросовестным и дисциплинированным. На него можно было положиться. Но это его достоинство зачастую оборачивалось дефектом, служило во вред ему самому и тому делу, которым он был занят. Он брал на себя — и на него возлагали — слишком многое, и на него выпадало также и то, что могли бы выполнить и другие, более молодые или менее занятые. Он писал и переписывал протоколы собраний; разрабатывал сметы часто неосуществившихся предприятий и изданий; ему поручали вести предварительные переговоры, улаживать конфликты и прочее. И В. М. Зензинов за всё это безропотно брался, не считая себя в праве от чего-либо уклониться. Естественно, что он не всюду поспевал во́-время и часто упускал более нужное из-за более срочного.

Кто имел дело с Владимиром Михайловичем, тот знает — и разбор оставленного им бумажного наследства это лишний раз подтверждает, — что сфера его духовных интересов была чрезвычайно широка и многообразна. Чем только он не был занят и не увлекался. Чего только не читал и о чем только не собирался писать или даже начинал писать? Над всем, конечно, доминировала общественность, политика, революция, борьба за свободу и достоинство человека против деспотии, автократии, диктатуры. Но рядом с этим всякую свободную минуту, урывая время от сна,

он посвящал чтению русских и иностранных классиков, книг по истории России и Америки, по орнитологии и этнографии, географии и археологии, по фольклору и Арктике, особенно Сибири, по типографской технике, и даже чтению детективных романов. В последние месяцы жизни он уделял много сил и внимания — непозволительно много, как я тщетно ему доказывал, — ознакомлению с неразгаданной культурой Майи и ацтеков, с историей Перу и Мексики.

Широта интересов В. М. была причиной того, что он не мог сосредоточиться на определенных вопросах и потому не успел написать или дописать то, что только один он и мог сделать. Здесь опять-таки следствием его положительного качества — неутолимой жажды разностороннего знания — оказывался пробел. После Зензинова остались не доведенные до конца работы: о бабушке Брешковской, о Гершуни, об Авксентьеве, о партии соц.-революционеров, о предательстве Азефа. К счастью он успел закончить первую часть своих воспоминаний, до 1908-го года, только что вышедших в издательстве имени Чехова под заглавием «Пережитое».

Зензинов владел даром художественного изображения. Он умел наблюдать, подмечать, сохранять в памяти картины природы, движения людей и животных, особенно изображать жизнь собак и птиц. Его рассказ о замечательной сибирской собаке «Нена», — которую и я знал, — вызвал всеобщее одобрение, а у многих даже восхищение. Большой успех имело и «Русское Устье» — описание места и быта далекого севера на реке Индигирке, куда Зензинов был сослан на пять лет. «Нена» и «Русское Устье» были напечатаны в «Современных Записках», а потом и отдельным изданием. Передо мной экземпляр «Русского Устья», выпущенного Русским Универсальным Издательством в Берлине в 1921 г. На титульном листе надпись: «Прочитал с большим удовольствием. Благодарю, обнимаю. Ив. Бунин!» И. А. Бунин относился к В. М. Зензинову очень хорошо, как к человеку и писателю, зря «загубившему» свое дарование уходом в политику. И Зензинов очень любил и высоко расценивал талант Бунина, прощая ему всё, кроме «Окаянных дней» и «Воспоминаний».

В. М. жил насыщенной духовной жизнью, но не был начетчиком или эрудитом. Он даже слегка подтрунивал над такого рода людьми. Сам он увлекался и любил живую жизнь, пеструю и красочную, хотя и противоречивую. Зензинов никогда не выступал по вопросам миросозерцания или идеологии. Он отталкивался от метафизики и мистики и подчеркивал свою приверженность к фактам, которые, по его убеждению, способны будто бы говорить сами за себя. По вопросам ему чуждым он предоставлял

говорить другим. Вообще необычайно скромный, он иногда производил впечатление человека застенчивого, даже робкого и очень мягкого. Однако, мягок он бывал не всегда: он мог и загореться бурным гневом и возмущением.

За последние годы Зензинов стал проявлять непривычную для него в прошлом терпимость и готовность идти на ряд политических компромиссов. Я называл его «квакером», и он не возражал, а как бы оправдывался тем, что к концу жизни надо быть уступчивее и терпимее. Однако, в положительной оценке своего и своих единомышленников прошлого — особенно событий пятого и семнадцатого годов — Зензинов попрежнему оставался непреклонным, не отрицая, впрочем, допущенных промахов и серьезных ошибок. В последних книгах «Нового Журнала» напечатаны воспоминания Зензинова о дорогих не только ему февральских днях. Эти воспоминания написаны с присущими ему простотой, непосредственностью и правдивостью. Он не мудрствует лукаво, не пытается доказать — задним числом — свою дальновидность, а описывает события 17-го года *так,* как он, и не только он или другие революционеры и социалисты, но и князь Евгений Трубецкой, Петр Струве, З. Н. Гиппиус и многие другие видели и переживали эти события *тогда,* когда они случились, 36 лет тому назад.

В совершенно замечательной статье, напечатанной в «Новом Р. Сл.» владыкой Иоанном в защиту покойного Зензинова с религиозной точки зрения, говорится то же, что и при жизни Зензинова владыка ему не раз говорил. А именно, что В. М. «может быть, *не смел* всю жизнь ни себе, ни другим признаться», что, «веря в Высшее Добро», он, в сущности, верит в Бога. Не могу ничего сказать по поводу этой гипотезы. Зато другое утверждение епископа Иоанна совершенно неоспоримо. Он пишет: «В большевизме виновны *все* русские люди. Каждая группа народа и политиков русских — по своему виновна». Сравните с этим посмертную статью Зензинова «Февральские дни», и вы на первой же странице прочтете (см. «Новый Журнал» № 33, стр. 188) почти буквально то же самое.

Не приходится подчеркивать жертвенность Зензинова. Напомню только один эпизод из его воспоминаний, как он готовился отдать жизнь за своего друга, за мужа любимой женщины, которому предстоял военно-полевой суд и неизбежный, казалось, расстрел. Чтобы спасти арестованного Фондаминского-Бунакова, Зензинов разработал план подмены собой Фондаминского. И если «дерзкий, отчаянный план», как его характеризует Зензинов, не был приведен в исполнение, это случилось только потому, что и Фондаминский был проникнут жертвенностью и решительно, «хотя

и в ласковых словах», как отмечает Зензинов, отказался от предложенного ему плана освобождения.

Это было не первое и далеко не последнее rendez-vous Зензинова со смертью. Но смерти он не искал. Наоборот, он высоко ценил и очень любил жизнь — особенно русскую жизнь, жизнь в России. Оторванный от родины, он придумал или выискал случай, как встретиться с Россией, хотя бы условно. Когда Советская Россия пошла войной на Финляндию в самом конце 39-го года, Зензинов отправился туда и на полях сражений собрал множество писем красноармейцев, убитых и попавших в плен. Собранный материал он разработал с исключительной, на мой взгляд даже чрезмерной, тщательностью, так, как разрабатывают письма Пушкина или, по другим мотивам, Ленина. В результате он опубликовал за свой материальный риск книгу «Встреча с Россией», которую некоторые писатели превознесли чрезвычайно высоко. Приведу только одно менение — Набокова-Сирина, как известно, не слишком восторженного ценителя чужих произведений. Набоков писал Зензинову: «Я прочел книгу от доски до доски и оценил огромный труд и огромную любовь, которые вы вложили в ее составление. Мрачна и скудна и нестерпимо несчастна Россия, отражаемая в этих патетических каракулях и, как вы сами правильно отмечаете, ничего, ничего не изменилось — и те же солдатки шалели от того же голода и горя пятьсот лет тому назад, и тот же гнет, и те же голопузые дети в грязи, во тьме. За них одних всех этих мерзостных «вождей народа», всю эту холодную пóгань, следовало бы истребить навсегда. Я считаю, что эта книга — самое ценное из всего, что появилось о России за эти 25 презренных лет».

Попав из Финляндии в Нью Йорк, Зензинов сосредоточился на издании эс-эровского журнальчика «За Свободу». «За Свободу» имел большой успех, особенно среди Ди-Пи. Зензинов меньше других редакторов[1] писал в журнале, но он вел всю переписку с сотрудниками, редактировал материал, сносился с типографией, ведал распространением. На обложке значился его адрес. И постепенно Зензинов стал сам адресом, по которому лагерные жильцы в Германии, Австрии, Италии обращались за *всякого* рода помощью и советом. Писали ему со всех концов света — из Марокко, Австралии, Шанхая. Он добывал аффидэвиты, и сам, неимущий и безработный, принимал на себя материальное поручительство за

---

[1] Н. Д. Авксентьева, В. М. Чернова (В. Булатов), М. О. Левина (Л. Менделеев) и М. В. Вишняка (Вен. Марков).

незнакомых ему людей. Десятки Ди-Пи обязаны Зензинову тем, что вырвались из лагерей и очутились в Америке. Многих он поддержал, если не материально, то морально — сочувственным и обнадеживающим словом.

Зензинов любил искусство, все его виды: литературу, музыку, театр, живопись. И он терпеть не мог искусственность, позу; напыщенную фразу, всякую нарочитость — в литературе и жизни. Он был эмпирик, но имел прочные представления о правде, красоте, добре. Был неисправимый идеалист и человеколюб в личных отношениях и в общественной деятельности. Всю сознательную жизнь он занимался политикой, но я не припомню случая, чтобы он политиканствовал. Он всегда оставался сам собой — бескорыстным и жизнерадостным искателем истины, служителем добра.

Только к концу своих дней, говоря о смерти, он подчеркивал кой-когда бренность и никчёмность человеческого существования. Это было непривычно для него, и он старался преодолеть такое настроение. Незадолго до болезни он прочел книгу моих воспоминаний, подготовленных к печати. Возражение с его стороны вызвал лишь самый последний абзац. После известных слов Чаадаева: «мы жили и живем, как великий урок для отдаленного потомства, которое воспользуется им непременно», там говорится: «наше поколение на 37-м году большевистской власти лишено и того сомнительного утешения, которое имел Чаадаев для себя и других на 11-ом году царствования Николая I-го». Зензинов убеждал меня опустить эти обескураживающие слова: — Ну, к чему это?.. Что это дает?.

Владимира Михайловича многим, очень многим будет не хватать. У многих останется надолго ощущение покинутости. Как все люди, Зензинов неповторим и в прошлом часто бывал незаменим. Вспоминаю, как в 17-м году менялся личный состав Центрального Комитета партии с. р. или состав редакции «Дела Народа». Уходили из редакции левые, Мстиславские и другие, приходили в нее правые, Розенблюм, Прилежаев, Вишняк. В Центральном Комитете большинство переходило к так называемому левому центру, возглавляемому В. М. Черновым. Зензинов был единственный, неизменно переизбиравшийся в то и другое учреждение. Он оказывался одинаково нужен и тем, кто был с ним согласен, и тем, кто с ним расходился — вправо или влево.

В. Зензинов не был, что называется вожаком, но он всегда был вдохновителем, двигателем, рабочей силой в тех учреждениях и организациях, в которые входил.

— Такие люди, как Зензинов, не должны были бы умирать, — сказал мне при случайной встрече художник Б. Ф. Шаляпин. —

Или не должны были бы родиться, — заметил я, — слишком тягостна потеря, и лучше не иметь, чем, имея, лишиться!

Закончу тем же, чем десять лет тому назад кончил В. М. свою речь — и статью (в «За Свободу» № 12-13) — посвященную памяти Авксентьева. Многим известно, что немало энергии потратил Зензинов на то, чтобы обширное литературное наследство Иванова-Разумника увидело свет хотя бы частично. Среди оставленного Ивановым-Разумником оказалось и стихотворение Федора Сологуба, написанное в 1927 году. Этим стихотворением В. М. заключил свою речь о Н. Д. Авксентьеве. Он вспоминал, как, глядя на умиравшего друга, шептал про себя:

Подыши еще немного
Тяжким воздухом земным,
Бедный, слабый воин Бога,
Весь истаявший как дым.
Что Творцу твои страданья?
Капля жизни в море лет!
Вот — одно воспоминанье,
Вот — и памяти уж нет.
Но как прежде — ярки зори,
И как прежде — ясен свет,
«Плещет море на просторе»,
Лишь тебя на свете нет.
Подыши-ж еще немного
Сладким воздухом земным,
Бедный, слабый воин Бога,
И — уйди, как легкий дым...

Сохраним же навсегда в нашей памяти образ одного из достойнейших воинов российской всенародной революции, неутомимого борца за свободную Россию, за права и достоинство человека — Владимира Михайловича Зензинова.

М. Вишняк

В. М. ЗЕНЗИНОВ

В первый раз судьба столкнула меня с Владимиром Михайловичем в девятисотых годах. Нас познакомил видный член подпольной организации с. р., его друг, Б. М. Моисеенко, мой старый товарищ по Казанской гимназии. Вторично я встретился с Зензиновым совершенно случайно летом 1914 года в Якутске, куда Зензинов попал, отбывши трехлетнюю ссылку в Русском Устье, на устье реки Индигирки, впадающей в Ледовитый океан восточнее Лены. Сослан В. М. был в это отдаленнейшее и совершенно почти недоступное место потому, что министерство внутренних дел считало, что бежать оттуда невозможно. Перед тем Зензинов бежал из Якутска в Охотск и далее через Японию в Европу.

Я был в Якутске по своему служебному положению, будучи начальником исследования рек Ленского бассейна; работа эта производилась министерством путей сообщения. Узнав, что я еду с рекогносцировочным исследованием вниз по Лене до Устья, Зензинов получил разрешение от местного якутского губернатора присоединиться к моей экспедиции. Многим из современных читателей, вероятно, будет непонятно, каким образом старый режим мог позволять членам революционных партий — да еще боевиков — работать на службе правительства. Укажу, например, что «Высочайше командированная экспедиция Н. Л. Гондатти по обследованию Приамурья и Приморского района» в своем составе имела наверное процентов 10-15 людей, не имевших «свидетельств о политической благонадежности». А когда я в Иркутске официально представлялся генерал-губернатору Восточной Сибири Князеву, он позвал меня в свой кабинет и сказал: «Пожалуйста, когда будете в Киренске не ходите в гости к бабушке[1], а то жандармы будут писать доносы на вас и... на меня».

С первого дня плавания Зензинов ушел с головой в нашу инженерно-съемочную работу. Я обучил его, как делать астрономические наблюдения, как делать зарисовки берегов, промеры глубины и др. Он был увлечен работой и взял с меня слово, что летом 1915 года я возьму его с собой на обследование Колымы. В Зензинове жили настроения исследователя неизвестных кусков русской земли. Его многолетнее пребывание в двух якутских ссылках научило его русско-якутско-тунгусскому воляпюку, что помогло мне в опросах местных жителей при получении сведений, связанных с гидрографией рек, с их высокими и низкими горизонтами, ледяными заторами, стоянками и пр.

---

[1] Брешко-Брешковская жила там в ссылке.

Зензинов поразил меня своими знаниями географии, геологии, ботаники и зоологии края. Годы ссылки, особенно *одиночества* в Русском Устье — других ссыльных там не было — провел он в изучении литературы об этом заброшенном малоизученном крае. Отец его, состоятельный московский коммерсант, снабдил его ценнейшей библиотекой, которую потом, как помню, Зензинов подарил якутскому музею.

Его наблюдения нравов, языка и жизни жителей Русского Устья — потомков первых землепроходцев времен Алексея Михайловича и Петра Великого, осевших на этих далеко негостеприимных берегах — имеют, вероятно, и по сие время большую этнографическую ценность. Во всяком случае Зензинов был первым, кто открыл этот остаток русского средневековья. Знания у Зензинова были самые разнообразные. Он обучал меня препарированию шкурок птиц и зверьков, которых мы стреляли на берегах Лены. С восторгом юноши он ползал по отрогам тунгусского хребта, выходы которого полны угольных напластований. В. М. говорил, что никогда после философских спекулятивных разговоров в германских университетах он не чувствовал такого интереса к жизни, такого желания познать и изучить лик земли, как в этих районах.

Изданная здесь по-английски книга Зензинова о Дальнем Севере с предисловием знаменитого арктического исследователя Вилеймура Стеффенсона и сейчас имеет значительную ценность. Стеффенсон говорил мне, что личные наблюдения Зензинова поразительно совпадают с его собственными работами и что у Зензинова был несомненный талант исследователя. Скажу от себя, что дело тут было не только в талантливости Владимира Михайловича вообще, а в его огромном упорстве, в его неугасаемой энергии, в его неиссякаемой любознательности к явлениям внешнего мира. Без этих качеств нет, по сути, исследователя... Мне довелось знать нашего знаменитого исследователя Центральной Азии Козлова — сподвижника Пржевальского — и его слова глубоко запали мне в память: «Без любви к людям, без любви к природе, без любви к зверям — нет исследователя, нет путешественника-открывателя». Зензинов вполне отвечал этим качествам, — например, он нежно любил собак, и какое огорчение было для него, когда в Якутске мне пришлось расстаться с подаренной мне тяговой собакой и подарить ее шкуру местному музею.

Попытавшись пробиться в западном направлении в дельте Лены мы не нашли судоходного прохода в океан, который мог, по моим предположениям, существовать, судя по данным великой сибирской экспедиции 18-го столетия, задуманной еще Петром Великим. После этого мы проехали в восточный рукав Лены в направ-

лении бухты Тикси, где сейчас, при советах, имеется «порт» (вероятно, перевалочная стоянка). Там, на берегу, остались остатки яхты Академии Наук большого русского геолога барона Толя, погибшего во льдах около Новосибирских островов. В. М. записал для моей предполагавшейся тогда книги рассказ Алейникова (старый политический ссыльный) о том, как молодой морской офицер Колчак (будущий адмирал Колчак) ходил на лыжах в поисках Толя. Увы, эта ценная работа Зензинова, как и большинство наших наблюдений, погибли во время революции. Я глубоко убежден, что будь Россия начала этого столетия в другом политико-экономическом состоянии из Зензинова выработался бы большой ученый, большой исследователь.

В заключение моих воспоминаний хочу сказать о В. М. как о человеке. Л. Н. Толстой оставил нам образ «круглого» Каратаева. В. М. несомненно был «круглым»; он был преисполнен большой скромности, большой доброты и отзывчивости; не было в нем никакой позы, самолюбования и фарисейства, и жил он прощением (он *не прощал* только угнетателей). Он принадлежал к тем, кто готов был положить душу свою за други своя... Я никогда не забуду, как, несмотря на свой агностицизм и прагматический материализм, он читал мне при красноватом свете незаходящего полярного солнца предсмертные стихи Каляева: «Христос! Христос! Я плачу, я тоскую... Ты дал мне душу неземную, но приковал меня к земле»... И вот эта прикованность к земле, к страданиям крестьянства и рабочих составляла основную черту духовно-интеллектуального образа Владимира Михайловича Зензинова.

С. А. Васильев

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О В. М. ЗЕНЗИНОВЕ

В первых числах сентября 1911 года, после шестимесячного путешествия из Петербурга, я был доставлен в Якутск с партией политических ссыльных, где должен был отбывать пятилетнюю ссылку. Прямо с парохода меня направили в тюрьму и посадили в одиночку. Меня это встревожило: я никак не мог понять причин этой строгости. И только когда ко мне пришел начальник тюрьмы, человек добродушного вида, я узнал, что полицейские власти опасаются моего побега и этим я обязан временному тюремному заключению.

Вечером ко мне пришел пожилой арестант, принес обед, и мы разговорились. Он оказался человеком словоохотливым. Явно желая меня утешить, он сказал:

— Тебя, паренек, считают склонным к побегу. Таких держат в строгости. Но ты не кручинься: долго держать не станут. У нас тут сидит один из бегунцов Провел, что называется за нос полицей-

ских, губернатора и... удрал из Якутска. Важный человек, из образованных, и денег у него куры не клюют... Одним словом — ор-е-л! Перед губернатором шляпы не снял. Ну и теперь его, пожалуй, зашлют, куда Макар телят не гонял. Только его не запугаешь.

— Как его зовут? — спросил я.

— Владимир Зензинов.

О В. М. Зензинове я уже слышал, но не ожидал, что встречу его в Якутской тюрьме.

На утро начальник тюрьмы дал мне свидание с Лидией Павловной Езерской, одной из бывших узниц Акатуевской каторги. Езерская пользовалась большим уважением не только среди якутского общества, но и администрации. Она не только подтвердила легенду о В. М. Зензинове, но и сообщила, что он член центрального комитета партии социалистов-революционеров и писатель. По ее словам, Зензинов получил право ходить со стражником по городу, делать необходимые закупки для далекой ссылки и они часто встречаются. «О вас он всё знает от меня, — сказала она, прощаясь, — и я уверена, что он найдет возможность повидаться с вами. Вы сами убедитесь какой это приятный человек». Зензинов заинтересовал меня. Но как я мог встретиться с ним? Вечером, как обычно, мой словоохотливый арестант принес мне обед и записку. И понизив голос, сказал:

— Это тебе от того, важного, о котором я говорил. Прочти и порви.

Владимир Михайлович писал, что ему известно, что меня отправят в Средне-Колымск и, повидимому, очень скоро, не ожидая санного пути. Его самого на этих днях, с последним пароходом, отправят в Булун, а оттуда в Русское Устье. Он вкратце сообщал мне некоторые географические сведения о районах, в которых нам придется отбывать наши ссылки. Подозреваю, что всё это он узнал от Езерской, а она от начальника тюрьмы.

На следующее утро ко мне в камеру вошли два надзирателя, надели, к моему изумлению и возмущению, наручники и повели в канцелярию тюрьмы. В приемной я заметил трех казаков, один из которых держал в руках новенький арестантский полушубок и еще кое-какую одежду. «Это, наверное, для меня», подумал я. Утро было яркое, солнечное, но настроение у меня было отвратительное. Главное, было неприятно, что я уеду и не увижу Зензинова. В это время один из надзирателей сказал, что меня хочет видеть начальник тюрьмы. Не ожидая ничего хорошего, я вошел в кабинет начальника и там, к моему удивлению, увидел господина приятной внешности, который, протягивая мне руку, сказал.

— Здравствуйте, Николай Сергеевич. Я — Зензинов. Встреча в

тюрьме не может быть радостной, но такова уж наша судьба. О вас я много слышал от общих друзей и рад познакомиться.

Обрадованный и сконфуженный я, гремя наручниками, крепко сжал его руку и от волнения, некоторое время, ничего не мог сказать. Во всем облике Зензинова была необычайная привлекательность. Выше среднего роста, с волнистыми русыми волосами, небольшой бородкой, в очках с золотой оправой, из под которых на меня приветливо и внимательно смотрели умные глаза. Всем своим видом он производил впечатление скорее профессора, чем рядового революционера.

— У нас мало времени для разговора, — сказал В. М. — Я вижу наручники вам сильно мешают, но не беспокойтесь, их с вас снимут, как только вы выедете из Якутска. Казаки все хорошие ребята. Я вот принес вам свежий хлеб, если нужны деньги — скажите.

— Деньги мне не нужны, Владимир Михайлович, а вот за хлеб большое спасибо. Как долго, вы думаете, я буду ехать до Верхоянска?

— Трудно сказать. От Якутска до Верхоянска, кажется, девятьсот верст, но кто мерил это расстояние? Думаю, что распутица и зима застанут вас в пути. Предупреждаю, дорога будет нелегкой, да и жизнь в Колымске будет тяжелой. Впрочем, вы молоды, здоровы и, я уверен, перенесете. Мой совет вам — каждый день заполняйте работой. Работа найдется. Я слышал, что вы пописываете и это вам поможет. Наблюдайте людей, быт, условия... Будем достойны наших предшественников. Ведь благодаря им не только мы, но вся Россия кое-что знает о северных окраинах Сибири... Начальник дает мне знак, что нам пора кончать разговор: мне не хочется его подводить, — проговорил В. М.

Мы расстались, дав друг другу слово акуратно переписываться. Эта встреча глубоко запала мне в душу.

Владимир Михайлович, действительно, акуратно отвечал на каждое мое письмо. Конечно, переписка была трудной. В Колымске почта получалась зимой раз в месяц, а летом, — когда тундра превращалась в сплошное болото, то и один раз в три месяца. Всё же мы, колымчане, находились в более благоприятном положении, чем Владимир Михайлович. В Русское Устье доставка почты была от случая к случаю, так называемыми «оказиями», когда кто-нибудь случайно ехал туда. Ездили чаще всего купцы. Это было настолько глухое и заброшенное место, что даже заседатель один лишь раз в два года посещал его. И всё-таки письма от Владимира Михайловича приходили и читались мною вслух всем членам политической колонии. В этих письмах он описывал окружающую его природу, людей, их быт,

делился своими наблюдениями, мыслями и планами предполагаемых литературных работ.

Вторая встреча с В. М. в гор. Якутске была более радостной, чем первая. Он уезжал с последним пароходом домой. Ссылка была закончена. Он ехал не один, а с тунгусской собакой — Неной, которая была необычайно красивой, умной и ему преданной. Мы втроем — он, я и Нена — весело разгуливали по улицам Якутска. Героиней этих прогулок всегда была Нена, вызывавшая общее восхищение, чем Владимир Михайлович заметно гордился. В это время шла первая мировая война и якутская политическая ссылка поделилась на два враждующих лагеря. С одной стороны были оборонцы — социалисты-революционеры и социал-демократы меньшевики, а с другой — пораженцы-большевики. Я, очертя голову, бросился в эту словесную схватку. Владимир Михайлович был оборонцем, но считал ненужным тратить силы, чтобы убеждать большевиков. Желая и меня отвлечь от этих споров, — так я думаю, — он дал мне переписать свой труд «Очерки торговли на крайнем Севере». Он опасался везти рукопись с собой и, зная что мой срок заканчивается через несколько месяцев, просил оригинал и переписанную копию послать по двум различным адресам. Я обещал ему это сделать и знаю, что он получил обе рукописи.

На прощанье он спросил меня:

— Что вы думаете делать по возвращении из ссыляки, Николай Сергеевич?

— Пойду добровольцем в армию, — ответил я.

Этот ответ его, кажется, поразил. Подумав немного, он сказал.

— Мне хотелось бы отговорить вас от такого опасного решения, но не могу: нужно всегда поступать так, как нам диктует совесть и убеждения.

Мы расстались и... надолго. Служба в армии, война, февральская революция, за ней октябрьский переворот и гражданская война...

Встретились снова мы в Омске, в разгар гражданской войны. Я офицер сибирской армии, приехавший на короткое время в новую столицу Сибири, а В. М. один из членов Всероссийского Правительства-Директории, избранной на Государственном Совещании в Уфе. В. М. выглядел усталым и озабоченным. Омск пугал его своими интригами и враждебностью в административных кругах Сибирского правительства. Он, я и А. Н. Кругликов, — мой старый приятель и управляющий делами Директории, — при встречах откровенно обсуждали крайне опасную политическую атмосферу Омска. Особенное опасение внушали два казачьих отряда атаманов — Красильникова и Анненкова.

Обстановка несколько улучшилась, когда Н. Д. Авксентьеву уда-

лось, наконец, превратить старое Сибирское Правительство в деловой аппарат Директории. По этому случаю был назначен парад войск и молебствие. Молебен должен был служить сам архиерей и всенародно благословить новую власть на великие труды и жертвы. Накануне молебна у меня произошел характерный разговор с Владимиром Михайловичем.

— Скажите, Николай Сергеевич, вы эти порядки лучше знаете, — мы должны все подходить к кресту, после молебствия?

— Да, обязательно.

— Если обязательно, то что же поделаешь... но мне это трудно...

— Но, Владимир Михайлович, ведь было бы странно, если бы один из членов правительства уклонился от благословения.

Он горько улыбнулся и, в шутку, сказал:

— Вы ведь, Николай Сергеевич, настоящий челдон, а я только зародыш. Вы, я знаю, верующий, а я маловер.

На параде все члены правительства, подошли ко кресту. Архиерей благословил всех, сказал прочувственное слово, часть толпы опустилась на колени, войска и народ кричали — ура... Это был необычайно торжественный момент. Но, увы, через несколько недель, будучи уже в армии, я узнал, что Директория свергнута буйными атаманами. К счастью, ни Н. Д. Авксентьев, ни В. М. Зензинов, ни другие члены Директории не погибли.

Через несколько лет я приехал в Америку. И мы встретились с В. М. в Нью-Йорке. Первый день и ночь мы провели в беседе о пережитом. А пережито обоими было много. Прощаясь с ним, я спросил: — А какова судьба Нены, В. М.?

— Вы не знаете? Я написал о ней рассказ. — И на завтра он принес мне книжку о Нене с трогательной надписью... Этот рассказ — прекрасное художественное произведение. Многое в нем было мне близко и я не мог без слез читать последние строки о жизни и смерти этой преданной ему собаки.

Вскоре он уехал в Европу.

Ураган второй мировой войны застал В. М. в Финляндии, откуда он снова приехал в Нью-Йорк. Здесь он всё время отдает делу благотворительности, заботам о тех, кто остался в Европе в нужде и голоде. Наблюдая его в этот период жизни, я с уверенностью могу сказать, что он *истинно жил только тогда, когда работал для других*. Сознаюсь, на этой почве у нас с ним были некоторые разногласия. Я с упреком говорил ему: «Зачем вы, В. М., тратите всё ваше время на такие мелочи — как сбор вещей, упаковку и таскание посылок на почту? У вас крупный дар писателя, почему вы забросили литературную работу?» На это он сухо отвечал: «Вспомните слова Л. Н. Толстого. Говорить о более важных делах легче, чем делать малень-

кие насущные дела. Разве вы не понимаете, что от этих посылок зависят человеческие жизни?».

Я, конечно, понимал его и не хотел, чтобы он отказался помогать людям, я просто пытался напомнить ему о его творческом даре. Однажды, вероятно, желая сделать мне приятное, он сказал: «Я решил написать книгу о гусях на Севере. Знаете, это очень умные птицы и их жизнь сказочная. Часто я, бывало, глядел на них и завидовал — летят они куда хотят...». К сожалению, эта книга так и осталась проектом.

Последнее время мы встречались редко. В августе прошлого года, приехав на несколько дней в Нью-Йорк, я умолял его поехать со мной в Коннетикут, отдохнуть. Он вздохнул и сказал: «Хорошо было бы отдохнуть недельку, но у меня много работы, да и книгу надо кончать. Как-нибудь в другой раз, друг мой». Этого другого раза судьба нам не подарила и теперь вечность разделяет нас. «Жизнь не всегда благо — говорят мудрецы — только хорошая жизнь — благо». Жизнь Владимира Михайловича была хорошей и светлой. И добрая память о нем докатится когда-нибудь и до России и до русского народа, которым он всю жизнь беззаветно служил и которых глубоко любил.

Николай Калашников

БИБЛИОГРАФИЯ

GEORGE VERNADSKY: The Mongols and Russia. A History of Russia by George Vernadsky and Michael Karpovich, Vol. III, Yale University Press, 1953: *pp.* XI+462. *Maps, indices and genealogical trees.*

Третий том — «Монголы и Русь» — из широко задуманной монументальной серии — История России, издаваемой Иельским Университетом, написан как и предыдущие, профессором Г. В. Вернадским и посвящен одному из важнейших периодов русской истории, известному под названием «татарское иго».

Крупнейший знаток вопроса, Г. В. Вернадский дал грандиозную и увлекательнейшую по схеме, по подробностям и общей манере изложения картину почти трехвековой истории *евразийского мира*, столь судьбоносно включающего в себя *русское месторазвитие*. Автор, посвятивший в течение десятилетий углубленное внимание изучению истории России, монгольского и турецкого мира, а также Византии, воплощает в себе тот блестящий тип историка, который совмещает овладение поражающим количеством материала по отдельным секторам исторических дисциплин с великолепным знанием проблем *средневековья в целом*. Поэтому его «Монголы и Русь» представляют собой интерес для различных ветвей исторической науки и первостепенную ценность для изучающих русскую историю. Следует отметить, что имя автора, как ученого, неразрывно соединено с тем направлением русской исторической мысли, которое стремилось преодолеть либерально-западническую концепцию в истолковании истории России. Заслуги этого исследовательского направления, в частности, самого Г. В. Вернадского, по расширению *кругозора* изучающих российский мир кажутся ныне, в перспективе четверти века, бесспорными. Как раз рецензируемый том оказывается красноречивым свидетельством научной плодотворности концепции *«евразийской школы»*, вызывавшей в свое время столь много ожесточенных споров и возражений. Правда, Г. В. Вернадский нигде даже не называет евразийства, но, конечно, широта постановки темы и основной метод книги суть евразийские, т. е. в данном томе история Руси рассматривается не с традиционной точки зрения «внутреннего» историка России, но с позиций историка Евразии, что само по себе необыкновенно интересно, меняя угол зрения читателя

(некая аналогия впечатлений может быть найдена в изображении событий царствования Ивана Грозного если взглянуть на них в общеевропейском и мировом масштабе, как это в 1922 году небезуспешно попытался сделать Р. Ю. Виппер).

Можно утверждать, что до сих пор не было еще столь высокой по уровню работы, дающей — в первую очередь — историю политических отношений монголов и Руси, как книга Г. В. Вернадского (ряд проблем социальной, экономической и культурной жизни Руси, в частности, Западной Руси и Новгородской земли, будет освещен в следующем томе). Впервые с такой полнотой и наглядностью читатель уясняет себе значение монгольской организации и монгольской политики для судьбы Руси и Европы, — последнюю от «Батыева погрома» в 1242 году спасла случайность: смерть великого хана, когда Бату, уже кормивший коней в венгерских степях, прощупывавший разведочными отрядами пространство до Адриатики и, повидимому, готовивший удар по Вене, повернул обратно, вовлеченный во внутреннюю политику гигантской империи наследников Чингиз-хана.

Очень интересно одно из общих наблюдений автора, неожиданных для читателя далекого от специальных занятий историей, что в социальной структуре Западной Европы и тогдашнего Ближнего и Среднего Востока было много сходных черт, но Киевская Русь представляла собой единственное в своем роде явление со своими свободными политическими учреждениями. Из более чем компетентного изложения Вернадского с большой ясностью очевидно, при всей разности дальнейшей судьбы отдельных частей бывшей Киевской державы, единство корней исторического развития восточных славян. В этом отношении особенно показательна выразительная характеристика двух крупнейших деятелей Северо-Восточной и Юго-Западной Руси, князя Александра Невского и князя и даже «короля Малой Руси» Даниила Галицкого. Весьма убедительно показана ошибочная интерпретация А. Н. Насонова (в одноименной книге, изданной в 1940 г. в СССР) роли Александра Невского в антимонгольских волнениях в Суздальщине в 1262 году: именно при таком объяснении Вернадским событий становится особенно выразительным сравнение митрополитом Кириллом Александра Невского с «солнцем Русской земли», а, ввиду буквального спасения великим князем непокорной Суздальщины от татарской мести, делается очевидной причина изменения в некоторых русских летописях эпитета «Русской» — на «Суздальской». Отлично показана взаимосвязанность внутриордынских событий с историей борьбы русских князей за великое княжение. Чрезвычайно любопытна характеристика трагического положе-

ния Восточной Руси после набега Тохтамыша в 1382 году на Москву, когда психологические, а не только фактические приобретения от Куликовской битвы казались утраченными, — этот анализ как бы подтачивает эффектные, но не всегда исторически доказуемые формулировки В. О. Ключевского в его построениях событий этого периода. Исключительно полезны главы: — «Золотая Орда, Литва и Московия в 1419-39 годы»; «Оттоманские Турки, Византия и Москва», — дающие связное изложение этих достаточно сложных взаимоотношений, обычно остающихся — в различных «Курсах русской истории» — изолированными фрагментами. Не менее важна глава — — «Московия, Литва и Татары в течение второй половины княжения Василия II», ибо автор дает здесь весьма индивидуализированную картину этого периода, справедливо относя сюда появление многочисленных характерных черт складывающегося «Московского абсолютизма».

Однако, остается гипотезой попытка автора доказать, что прозвище Василия II «Темный» произошло не из-за его ослепления в 1446 году, а вследствие того, что он стал «темником» хана. Надо обратить внимание, что личные прозвища той поры, как, например, Калита, Косой, Красный, Гордый, Молодой, а позднее — Грозный, Тишайший и т. д., неизменно связаны с индивидуальными чертами характера или физического состояния описываемых. Почему было бы сделано исключение для Василия II? В глазах народного мнения всё, что было связано с татарщиной, оставалось одиозным. Одновременно ослепитель Василия, Димитрий Шемяка был «заклеймен» в фольклоре иронией — «Шемякин суд». Как будто бы, это косвенно подтверждает прозвище Василия, как потерпевшего, «*Тёмный*», а не «*Темный*» (от «темника»).

В заключительной главе — «Монгольское влияние на Русь», — написанной очень осторожно и фактично, автор, к сожалению, почему-то не дал полного обзора *специальной* исторической литературы, занимавшейся этим сложным вопросом. Не есть ли это скромность автора, несоизмеримо обогнавшего всех своих предшественников по теме?

Книга снабжена первоклассной библиографией, указателями, картами и — что особенно необходимо — генеалогическими таблицами, без которых усвоение читателями обширнейшего материала о родственных связях владетельных родов разных стран было бы едва ли возможно. Тем не менее, в литературе о культурных воздействиях не упомянута единственная в своем роде статья А. И. Некрасова: «Татаризмы в русском орнаменте XV-XVI веков», Slavia, IX-I, 1930 и вместо ссылки на весьма ценную, но не идущую прямо к теме кни-

гу В. Н. Лосского и Л. Успенского «Der Sinn der Ikonen» было бы желательнее назвать работы Айналова, Жидкова и того же Некрасова, относящиеся к вопросу возникновения московского искусства.

Книга Г. В. Вернадского составляет без всяких оговорок *эпоху* в изучении «татарского ига на Руси». Можно порадоваться, что она вышла по-английски, давая не только высокий научный уровень в освещении фактов, но и научно многообразную ориентацию в проблемах эпохи. В россику сделан, действительно, ценнейший вклад.

Ник. Андреев

RUSSIAN ASSIGNMENT by Leslie C. Stevens. Little, Brown and Company Boston. 1953.

Книга адмирала Стивенса, заглавие которой можно перевести как «Командировка в Россию», основана, повидимому, на записях, сделанных автором в 1947-49 гг., когда он был морским агентом при Американском посольстве в Москве. Автор предупреждает читателей, что они не найдут в его книге «никаких разоблачений, сенсационных открытий или описания драматических событий», но выражает надежду, что эти «клочки» его «каждодневных впечатлений» дадут им возможность почувствовать атмосферу послевоенной России. Надо признать, что со своей нелегкой задачей он справился очень удачно.

О трудностях, стоявших на его пути, распространяться не приходится: всем известно, как ограничены возможности соприкосновения с русской жизнью для тех немногих иностранцев, которые, в силу своего официального положения, имеют доступ в Советскую Россию. По образному выражению автора, им приходится наблюдать эту жизнь через «затемненное и искривленное стекло». Но, добавляет он, и через это стекло проходят иногда лучи истины. Скажу от себя, что адмирал Стивенс проявил поразительную настойчивость и находчивость в своем стремлении обойти эту созданную режимом преграду. Правда, имевшиеся в этом отношении возможности прогрессивно уменьшались в течение тех трех лет, что он провел в России. Но пока они были, он старался ни одной из них не упустить. То, что ему удалось сравнительно так много увидеть, объясняется не только его несомненной природной наблюдательностью. Он приехал в Москву уже с некоторым знанием русского языка, а к концу своего пребывания в России, повидимому, мог уже свободно говорить по-русски. Привез он с собой в Москву и живой интерес к русской истории, литературе и культуре, знакомство с которыми нашло отражение на отдельных страницах его книги. Самое же главное — это то подлинное чувство симпатии к русскому народу, которым

проникнута вся его книга, даже и в тех случаях, когда он говорит о русских национальных недостатках.

В отдельных главах книги автор передает те, иногда удивительные по своей откровенности, разговоры, которые ему довелось иметь с разными советскими людьми — в городе и в деревне, в Москве и в Ленинграде, в железнодорожных вагонах и в ресторанах, на охоте и во время рыбной ловли. Я знаю, что при распространенной в русской эмигрантской среде сверх-подозрительности, подлинность этих разговоров кое-кем может быть поставлена под сомнение: не в том смысле, конечно, что они были вымышлены автором, а в том, что он был введен в заблуждение подосланными советской властью провокаторами. Должен сказать, что у меня лично такое сомнение ни на минуту не возникало. Впечатления наивности автор ни в какой мере не производит, и в тех случаях, когда у него самого были подозрения, он их оговаривает. Те же разговоры, которые я имею в виду, велись в такой обстановке и при таких условиях, что они подозрения в авторе вызвать не могли — и, думается, не должны вызывать и в его читателях.

Передавать содержание книги адмирала Стивенса было бы трудно, так как она состоит из «мелочей», которые лишь в своей совокупности создают общую картину. Приведу только некоторые, взятые наудачу, примеры его наблюдений. За исключением нескольких новых улиц, преимущественно в центре города, с новыми (и в большинстве своем безвкусными) зданиями, Москва всё еще производит впечатление старинного города. — Большинство москвичей до сих пор называют улицы их старыми, дореволюционными названиями. — На церковных папертях попрежнему толпятся нищие, и много нищих можно встретить и на улицах как в Москве, так и в Ленинграде. — Лесные пейзажи Шишкина с медвежатами встречаются на стенах московских гостиниц, ресторанов и разных приемных почти так же часто, как портреты Сталина.

— Даже в подмосковных деревнях большинство жителей, по своему облику и быту, гораздо ближе к своим отцам и дедам, чем к «идеальному типу» советского человека.

— В том же подмосковном районе большинство дорог почти непроезжи для автомобилей, а многие из них никуда не ведут, неожиданно теряясь в полях. — Поражает повсеместное отсутствие всякого рода машин, несмотря на годы усиленной индустриализации. — Когда автор в разговоре со своей учительницей русского языка сказал «ладно», то она сделала ему выговор за употребление такого неэлегантного, простонародного слова. — За исключением политических верхов, русские более предупредительны к иностранцам, чем

какой-либо другой народ, с которым автору приходилось иметь дело. — Автор отмечает также различные проявления пуританской морали в советских людях (в подлиннике — "Victorian morals", но в русском переводе этот термин едва ли вызвал бы надлежащие ассоциации) и говорит о внимательном и любовном отношении к детям, которые в свою очередь поразили его своей воспитанностью.

Политики в книге адмирала Стивенса очень мало. Есть в ней небольшие экскурсы — из области «философии русской истории» и познания «русской души». Для меня это наименее убедительные части книги. В них найдутся и спорные обобщения, и некоторые фактические неточности. Думаю, в частности, что автор напрасно видит в книге де Кюстина (вновь «открытой» чинами Американского Посольства в Москве как раз во время пребывания там автора) нечто вроде ключа к пониманию советского режима. Но всё это не отражается на основной ценности книги как убедительной картины повседневной советской жизни. Картина эта, конечно, не исчерпывающая, но книга адмирала Стивенса дает в этом отношении много больше, чем обычно можно найти в книгах, посвященных Советской России — как иностранных, так и русских. О драматических событиях не только советской, но и всякой жизни писать гораздо легче чем о каждодневных буднях. А между тем везде и всегда — при любых обстоятельствах — жизнь человеческая слагается прежде всего из этих будней. Кажется Таллейран на вопрос, что он делал во время французской революции ответил словами: «Я жил» ("J'ai vécu"). Так и в России, через все испытания революции и советского режима, миллионы людей продолжали жить, живут и сейчас — пусть исковерканной и придавленной, но всё же неистребимой человеческой жизнью. Об этой жизни нам очень нужно было бы знать возможно больше. Вот почему надо горячо приветствовать появление книги адмирала Стивенса, написанной внимательным и сочувственным наблюдателем, обладающим к тому же и несомненным литературным дарованием.

М. Карпович

I. N. STEINBERG. In the Workshop of the Revolution. Reinchart & Company. 1953. (Pp. 306). $4.00.

Со смертью Сталина число сталинцев заметно сократилось даже в президиуме Центрального Комитета компартии. Маленков с Хрущевым уже не клянутся именем Сталина, как этот последний клялся именем Ильича. Сталинцев стало меньше, но число почитателей Октября убывает гораздо медленнее. Октябрь превозносят даже те, кто считают себя анти-большевиками.

И. Дейчер слывет экспертом по русским делам. Он слывет и

противником большевиков. Но в новейшей своей книжке «Россия, а что дальше?» он выступает горячим апологетом Октября. Конечно, Октябрь совершал ошибки и даже преступления. Но этого не отрицали ведь и Ленин со Сталиным. Вместе с тем Октябрь исторически оказался успехом, диктатура была необходима, чтобы индустриализировать отсталую страну. И это было достигнуто благодаря пятилеткам и коллективизации сельского хозяйства. Пусть она была насильственной и жестокой, но социализм построен и население в России уже не может ни фактически, ни психологически мыслить иначе, как социалистически, не может не ориентироваться на социализм.

Теперь перед нами новая разновидность апологии Октября. Она принадлежит левому эс-эру И. Н. Штейнбергу, бывшему наркомюсту в декабре 17 — марте 18 гг. И. Штейнберг никогда не был ни большевиком, ни коммунистом. Но то, что он делал в прошлом и чем занят в своей новой книге «В мастерской революции», во многом совпадает с тем, в чем и большевики были и продолжают быть заинтересованы.

Когда Штейнберг состоял членом правительства, которое организовало известную своей кровожадностью Чрезвычайную Комиссию, Че-ка, которая разогнала Всероссийское Учредительное Собрание и совершила ряд других малопочтенных деяний, — Штейнберг совершенно естественно не мог не защищать октябрьскую революцию. Но он продолжает ее восхвалять вот уже свыше 30 лет и на положении эмигранта и «контр-революционера» — сначала на русском языке, потом на немецком, теперь на английском. Чтобы оправдать прошлое — свое и тех немногих левых социалистов-революционеров, которые не перекинулись в лагерь большевиков, — Штейнберг не считается ни с собственной логикой, ни с бесспорными фактами. По его убеждению, «нет ни логических, ни исторических оснований разделять живой поток русской революции... Октябрь был укоренен в первых же днях февральского переворота... Каждый день и каждый акт Февраля подготовлял — сознательно или безсознательно — действия Октября». В то же время автор настаивает на радикальном и принципиальном противопоставлении первых месяцев после Октября последующим, когда левые эс-эры разошлись с большевиками или — что́ вернее — большевики «освободили себе руки, порвав с нами», как писал цитируемый Штейнбергом «духовный вождь нашего движения», Мария Спиридонова.

Автор отмечает, что «между 1918 и 1920 гг. возникла система цинического террора, которая с того времени стала обыкновением, установлением, «защитным окопом» начались террористи-

ческие волны в масштабе, превосходящем всякое воображение». Но всё это, оказывается, не имеет ничего общего с предшествующим периодом того же Октября, с гуманными, радостными днями всенародного революционного воодушевления. Логика здесь явно хромает. Но неблагополучно и с историей — с действительными и общеизвестными фактами.

И. Штейнберг уверяет, что победившие в Октябре «массы» были преисполнены «дружелюбия, товарищества, солидарности и прощения прежним политическим врагам». Эти последние свидетельствуют совершенно другое. Но о другом свидетельствовали и свидетельствуют и близкие к «творцам» Октября. Только что появилось новое показание известного художника Юрия Анненкова. Поминая своего приятеля Горького, Анненков пишет: «Жестокость, сопровождавшая (октябрьский) переворот, глубоко его потрясла. Бомбардировка Кремля и пробоины Василия Блаженного взволновали не только Горького, но и Луначарского, Каменева и др.». Луначарского видели в истерике в эти дни. Он с Рыковым, Милютиным, Ногиным и другими демонстративно покинули правительство Ленина незадолго до того, как в него сочли своевременным вступить Штейнберг со своими единомышленниками. «Мы, действительно, жили в мире экзальтации», пишет Штейнберг. Естественно, что ему почудилось в Октябре «всё высокое и всё прекрасное».

Оставим, однако, психологию и восторг Штейнберга, когда других охватывало возмущение. Возьмем существо проблемы: был ли Октябрь простым продолжением Февраля — «социальной» революцией, восполнившей, по уверению автора, «национальную»? Не было бы Февраля, не было бы, конечно, и Октября, — как не было бы и Февраля, не будь предшествующего ему самодержавия. Это столь же элементарно, как и то, что *хронологическая* последовательность ничего не говорит о *политическом* смысле события. А политически Октябрь не сводим к Февралю и не выводим из него. Он находится приблизительно в таком же отношении к Февралю, в каком Февраль находился по отношению к самодержавию: они были противоположностью и во всяком случае *отрицанием* один другого.

Идеология и приемы управления Октября были *качественно* отличны от до-октябрьской идеологии и практики управления. И самые пристрастные противники Февраля не вменяют ему склонности отстаивать власть теми же средствами, к каким прибег Октябрь, — гражданской войной и террором. За отказ от подобных методов ведь и порочат Февраль его ненавистники справа и издеваются над ним слева, с Ленина начиная. В противополож-

ность Октябрю Февраль предпочел быть «гильотинированным», но не гильотинировать других. Это можно считать непростительным благодушием или даже преступлением, но фактически это неоспоримо. И как раз Штейнбергу менее всего пристало не считаться с этим *принципиальным* различием, так как он и сейчас, как и прежде, изображает лево-эсеровское участие в Октябре, как начало благое, «дантоновское» в отличие от злой, «робеспьеровской», или большевистской стихии.

Автор изображает Октябрь по образу и подобию Февраля, как движение всенародное, якобы самопроизвольно возникшее и развившееся. Это сплошная фантазия или мифология. Творцы Октября задним числом сами признали, что они *готовили* гражданскую войну, прикрываясь щитом миролюбия и обвиняя в подготовке заговора других — кадет, правых эс-эров, меньшевиков. На съезде профсоюзов Сталин 19 ноября 1924 г. рассказал об «одной оригинальной особенности тактики (октябрьской) революции... каждый, или почти каждый, шаг своего наступления революция старалась проделать под видом обороны... Революция как бы маскировала свои наступательные действия оболочкой обороны для того, чтобы тем легче втянуть в свою орбиту нерешительные, колеблющиеся элементы. Этим, должно быть, и объясняется внешне-оборонительный характер речей, статей и лозунгов этого периода» (Сочинения, Т. 6, стр. 342. Изд. 1947). Втянули (или они втянулись?) в октябрьскую революцию и левых эс-эров.

И. Штейнберг сам признает: «тайной политической целью Ленина всегда была диктатура большевистской партии и ею никогда не был объединенный фронт». Он не раз упоминает: «мы протестовали, но это не помогло»; «я не получил полномочий» (арестовать убийц Кокошкина и Шингарева) и т. п. Левые эс-эры оказались бессильны и, как правило, обречены были капитулировать перед агрессивностью большевиков. Ленин цинически называл своих союзников «дурачками». Они во всяком случае оказались простачками — просчитались в своих расчетах. Но Штейнберг по сей день отказывается это признать и валит ответственность с больной головы на чужую, здоровую. Оказывается, «враги революции и ее колеблющиеся друзья (умеренные социалисты) помогли «большивизировать» страну»: вызвав «конечный раскол в лагере трудящихся», правые эс-эры и меньшевики «облегчили в конечном счете образование большевистского правительства».

И сейчас не перевелись анти-большевики, клянущие сталинскую эпоху, но воздыхающие по героической, ленинской эре, как будто Сталин был бы возможен без того, чтобы ему предшествовал Ленин. Но различать между первыми «гуманными, вселенскими и

максималистскими» месяцами Октября и последующими, дьявольскими, — до этого додумался лишь один И. Н. Штейнберг. 35 лет тому назад он мог еще ссылаться на молодость, экзальтированность, на простое незнание. Но сейчас — умудренный годами, опытом и прямыми признаниями большевиков?!

Как и другие устные и печатные выступления И. Штейнберга, «В мастерской революции» перенасыщено морализированием и возвышенной проповедью. С удовлетворением автор ссылается на сказанное им 31 января 18 года: «своей моральной непорочностью (революция) может взять штурмом весь мир». И вместе с тем, повторяя многое, что было им сказано 30 с лишним лет назад, Штейнберг почему-то в английской книге опустил признания, которые он счел нужным сделать, обращаясь к русской аудитории.

Там можно было прочесть: «Надо сказать прямо — *мы не сделали* всего, что от нас зависело. Мы слишком часто отделывались чисто официальной критикой, не продолжая после этого внедрять в сознание масс *наших* идей о насилии и терроре. Мы слишком часто во имя политических или *обще*-революционных задач (или согласия с большевиками или престижа власти), отмалчивались, бездействовали. Софистикой «интересов революции», как тактическим плащем, мы накрывали больно задевавшие нас вопросы революционной этики и высшей целесообразности. А частью мы и в своей среде имели лиц, большевистски настроенных... Мы не реагировали на безумную травлю кадетов, всяких инакомыслящих, любых «контр-революционеров», которая густой пеной изливалась на благоговейно слушавшие массы... Мы не реагировали на систематические напутствия на гражданскую войну со стороны (совнаркомовских) верхов».

Ничего этого в новейшей книге Штейнберга нет. Тем самым иностранный читатель получает *превратное* представление не только об Октябре, но даже о том, как автор книги *сам воспринимал* участие левых эс-эров в октябрьском перевороте — на 30 лет ближе к описываемым им сейчас для иностранцев событиям.

Имеется в книге и множество менее существенных ошибок или «описок». Адмирал Колчак трижды именуется генералом. Покушение на Плеве приписывается Гершуни, который к тому времени уже 14 месяцев был в заключении в Петропавловской крепости. Покушавшуюся на Ленина Каплан звали не Дорой, а Фанни. ОГПУ переименовано было в НКВД 10 июля 1934 г. И т. п. и т. д. Но это, конечно, ничто по сравнению с общим искажением исторической и политической перспективы в изображении Октября.

М. Вишняк

Н. ВАЛЕНТИНОВ. Встречи с Лениным. Издательство имени Чехова. Нью-Йорк, 1953. Printed by Rausen Bros.

Прошло уже полных полвека с того дня, 5(18) января 1904 года, когда молодой русский социал-демократ Вольский приехал из России в Женеву и в тот же день впервые встретил тогдашнего властителя его дум — Ленина. Молодой, но уже с боевым опытом, приверженец очень заинтересовал Ленина и некоторое время пользовался у него большим расположением. Крупская однажды сказала Вольскому, что Ленин к нему «очень благоволит». В близком общении с Лениным Вольский пробыл несколько месяцев, пока в сентябре того же года их отношения не закончились резким и бесповоротным разрывом. Этому эпизоду своей жизни Вольский посвятил книгу «Встречи с Лениным», вышедшую под его старым псевдонимом «Н. Валентинов». В этой книге Вольский-Валентинов рассказывает о себе лишь столько, сколько необходимо, чтобы понять обстоятельства и атмосферу его многочисленных разговоров с Лениным. Эти разговоры дали столько материала, что автору без малейшей натяжки, удалось, пользуясь ими, написать очень содержательную и исключительно интересную книгу.

Но Н. Валентинов писал свои «Встречи с Лениным» почти пятьдесят лет после того, как эти встречи имели место. И для определения ценности книги, как исторического источника, чрезвычайно важно, насколько точно автор передал эти столь давние разговоры. Н. Валентинов понимает законность этого вопроса и останавливается на нем в своем предисловии. Он ссылается на несомненно установленный факт, что «у многих в старости параллельно росту забывчивости ближайших событий появляется... иногда удивительная по своей интенсивности памятливость о событиях давнопрошедшего времени». Н. Валентинов думает, что он может поручиться за точность своих воспоминаний. О том, в точности чего он не был уверен, он не писал. Но, пишет автор, «многие беседы с Лениным и другими лицами... так четко сидят в памяти, что точно где-то выгравированы. Потому, на нижеследующих страницах я часто смог передавать не «резюме», не смысл того, что мне говорил Ленин, а почти «стенографически» живую речь, его подлинные слова и выражения».

На это заверение автора можно положиться. И не только вследствие безусловного доверия к его добросовестности. Ошибки в суждении о своих воспоминаниях возможны и при самом добросовестном и критическом к ним отношении. Но я не думаю, чтобы в точности воспоминаний Н. Валентинова мог усомниться кто-либо, кто наблюдал Ленина приблизительно в тот же период. Лично я видел Ленина впервые несколько позже, чем Валентинов, а именно в нояб-

ре 1905 года. Но это был тот же Ленин. У меня с Лениным не было близких личных отношений, но слышал я его много раз: и на разных собраниях и в кругу 8-10 человек. И как у Валентинова, некоторые ленинские фразы так четко засели в памяти — «точно где-то выгравированы». У Ленина была своя очень характерная манера говорить. Он умел говорить так, что его слова очень запоминались. В его речи был особый навязывающий себя ритм. А его отдельные формулировки, часто примитивные и даже вульгарные, в то же время отличались большой выразительностью. Читая книгу Валентинова, я изумлялся точности воспроизведения им ленинских разговоров. Мне казалось, что я *слышу* Ленина. В передаче Валентинова говорит подлинный живой Ленин и это решает вопрос о ценности его свидетельства.

Н. Валентинов приехал в Женеву восторженно убежденным «ленинцем», и всё, что он слышал от Ленина, было для него чрезвычайно важно. Это, конечно, тоже способствовало прочному запоминанию — как и то, что потом оттолкнуло его и лично от Ленина и от «ленинизма», т. е. большевизма. Но острота разочарования не вызвала у автора тенденции изображать личность Ленина одной краской. Он не опускает и штрихов, не лишенных известной привлекательности. Это не делает фигуры Ленина в целом менее отталкивающей, но позволяет воспринимать его как живого человека.

Разрыв между Лениным и Валентиновым произошел в результате споров о философии. Это не значит, что всё сводилось к различию философских взглядов. Но в том, как Ленин смотрел на философию и как он реагировал на взгляды отличные от его, ленинских, — раскрылись невыносимые для его собеседника черты как ленинского характера, так и его политических идей. Валентинов находился под влиянием философских идей Маха и Авенариуса и очень отрицательно относился к воспринятому марксизмом материализму, в особенности как он был представлен Плехановым. Ленин сам философией до того не занимался и был в этой области совершенно слепым последователем Плеханова. Первое столкновение у Валентинова произошло с Плехановым. Оно и послужило поводом для споров с Лениным, очень подробно переданных в книге. Интерес споров и в том, что они очень ярко освещают фигуру Ленина, и в том, что они отражают очень существенную черту русского марксизма.

Правоверные — ортодоксальные — марксисты были и на Западе, в особенности в Германии. Но там политический разрыв из-за философских разногласий был бы немыслим. В то же время, когда Валентинов спорил с Лениным, в германской партии шла борьба между «ортодоксальным» большинством и ревизионистами. Но ревизионистов из партии не исключали, хотя разногласия шли дальше

философских различий и имели большое политическое значение. Среди немецких социал-демократов, как и в других западных партиях, имелись сторонники различных философских течений, а позднее и «религиозные социалисты», даже видные протестантские богословы. Только в России образовалась марксистская «церковь», исключавшая отклонявшихся от «ортодоксии» еретиков.

За ортодоксию держались не только большевики, но и меньшевики. Последние однако были гораздо более терпимыми и еретиков не исключали. Валентинов рассказывает о своем трехчасовом разговоре с Мартовым о тех же философских проблемах. Мартов слушал с большим вниманием и с желанием *понять*, чего у Ленина совершенно не было. Правда, как и Ленин, Мартов считал, что «соединение марксизма с защищаемой (Валентиновым) философией» представляет «один из видов ревизионизма». Но в отличие от Ленина он считал, что бороться с этой философией нужно «не наскоком, а серьезной критикой, основательным анализом». Этот разговор с Мартовым был в глазах Ленина преступлением и оказался той последней каплей, которая привела к окончательному разрыву.

Н. Валентинов пишет: «Расставшись с Мартовым, я думал: сильно же отличается он от Ленина! Это два разных психологических типа!». Это верно, но это еще далеко не всё. Валентинов встречал Ленина в один из решающих периодов ленинской политической жизни, когда Ленин писал свою брошюру «Шаг вперед — два назад». Для Ленина эта брошюра была «шагом вперед» от его «Что делать?». В это время окончательно формировалась его концепция партии, противоположная концепции меньшевиков. Ленин хотел иметь партию активистов, слепо повинующихся партийному руководству, то есть в конечном счете ему, Ленину. Меньшевики хотели строить широкую рабочую партию *европейского* типа, в которой не могло быть абсолютного единообразия взглядов. Поэтому меньшевики не могли не проявлять гораздо большей терпимости, которая — как это ясно показано Валентиновым — у Ленина иногда имела место, но лишь по чисто оппортунистическим соображениям.

Читая «Встречи с Лениным», я особенно живо чувствовал, до какой степени Ленин не был европейцем, сколько бы он ни жил в Западной Европе. Он не был европейцем в 1904 году и не стал им к 1917 году. Может быть, именно поэтому он настолько лучше других понял, как можно было овладеть бушевавшей в России стихией — по меньшей мере, ее наиболее бурно вздымавшимися волнами. В октябре 1917 года большевики, несомненно, далеко не имели за собой большинства народа. Но в том активном меньшинстве, которое было готово не только защищать свои идеи мирными средствами, но и

«драться» за них — в этом меньшинстве большевики завоевали очень значительное большинство. И тут вспоминается по ассоциации одно чрезвычайно яркое свидетельство Н. Валентинова. Уже при второй встрече Ленин сказал ему: «Поймите же, настал момент, когда нужно уметь драться не в фигуральном, не в политическом только смысле слова, а в прямом, самом простом, физическом смысле. Время, когда демонстранты выкидывали красное знамя, кричали 'долой самодержавие' и разбегались, прошло... Начнем демонстрации с кулаком и камнем, а, привыкнув драться, перейдем к средствам более убедительным. Нужно не резонерствовать, как это делают хлюпкие интеллигенты, а научиться по-пролетарски давать в морду, в морду! *Нужно и хотеть драться и уметь драться*».

В спорах Валентинова с Лениным до физических драк дело не дошло, но Валентинов очень хорошо показал, как Ленин и хотел и умел в переносном смысле «давать в морду» всем инакомыслящим.

Ю. Денике

ПРАВОСЛАВНАЯ МЫСЛЬ. Труды Православного Богословского Института в Париже. Вып. IX. YMCA Press. Париж. 1953. (166 стр.).

Для того кто, как пишущий эту заметку, провел одиннадцать лет в Парижском Богословском Институте и знает с какими трудностями сопряжен выпуск каждого сборника, появление девятого тома «Православной Мысли» является праздником. Ибо во всей Русской Церкви это сейчас единственное издание, целиком посвященное «чистой» богословской науке, единственный орган творческой богословской мысли. Всякий, кто хотя бы перелистывал старые академические журналы — «Богословский Вестник» (Моск. Дух. Академии), «Христианское Чтение» (СПБ Дух. Акад.) и др., знает, на какой высоте стояла русская богословская наука до революции. И тем страшнее становится угрожающее падение культурного уровня в нашем церковном обществе, равнодушие не только к богословскому творчеству, но и к простому церковному просвещению. На этом темном фоне подвиг маленькой группы русских богословов, в чрезвычайно неблагоприятных условиях продолжающих свое высокое служение, не дающих ему спуститься до уровня того религиозного «ширпотреба», которым, увы, так часто удовлетворяются даже образованные члены Церкви, приобретает почти символическое значение. Он позволяет верить в то, что лучшие традиции Русской Церкви, высокий замысел православной культуры, выношенный ею, не будут забыты, а найдут достойных продолжателей. Уже в отчетном сборнике четыре автора из девяти принадлежат к «младшему поколению», выросшему в стенах самого Института. Их труды лучше всего показывают, что работа «старших» не осталась без плода.

Три статьи посвящены Халкидонскому — Четвертому Вселенскому Собору, 1500-летний юбилей которого весь христианский мир справлял в 1951 г. (451-1951). Проф. А. В. Карташов мастерски воссоздает историческую обстановку, в которой вынашивалось величайшее из всех догматических определений христианства. Прот. В. В. Зеньковский рассматривает судьбу халкидонского догмата на востоке и на западе. Проф. С. С. Верховский в чрезвычайно сжатом, исключительно насыщенном анализе самого догмата вскрывает всё его значение для богословской мысли. Наконец, архим. Киприан в длинной рецензии разбирает труды католических богословов, посвященные Халкидонскому собору в связи с юбилеем.

Из других статей очень интересен и неожиданно «актуален» очерк прот. Н. Афанасьева «Неудавшийся церковный округ»: его следовало бы прочитать всякому, кто ищет выхода из мучительных расколов, отравляющих нашу церковную жизнь. Перечислим еще статьи Л. Зандера: «Пролегомены экзегезы», свящ. А. Князева: «Откровение о Матери Мессии» (о ветхозаветных основах почитания Божией Матери), И. Мейендорфа: «У истоков спора о Filioque» и Ф. Спасского: «К происхождению иконы и праздника Покрова». Сборник заканчивается «Краткой летописью академической жизни».

Отметим в заключение еще одну ценную черту: защиту русскими богословами чести нашей до-революционной богословской науки. В последнее десятилетие на Западе всё сильнее пробуждается интерес к православному Востоку — к его истории, к его духовным сокровищам. Но при этом почти неизвестными остаются достижения и работы старых русских ученых, которые давным давно и без рекламы, суконным «семинарским» языком сообщили многое из того, что провозглашается сегодня как сенсационные «открытия». Отмечая это прискорбное пренебрежение русскими трудами у западных ученых архим. Киприан пишет: «Русская книга до 1917 г. вписала свое славное имя в анналы науки и пренебрегать ею для тех, кто изучает восточное богословие, теперь уже невозможно».

Как всякое чисто-научное издание «Православная Мысль» не рассчитана на широкую публику. Но она будет интересна всем тем, для кого не безразличны судьбы Православия и кто в нем ищет не только утешения, но и творческой силы при решении жизненных задач.

Прот. *А. Шмеман*

ИВАН ЕЛАГИН. По дороге оттуда. Изд. им. Чехова. Н. И. 1953. (165 стр.). Printed by Rausen Bros.

Иван Елагин — один из лучших поэтов, оказавшихся волей судьбы во время войны вместо Советского Союза — на Западе. Он, Н. Моршен, О. Анстей, Д. Кленовский и некоторые другие достаточ-

но сказали в русской зарубежной литературе, чтобы быть замеченными. Книга Елагина «По дороге оттуда» — рискованная. В нее включены *все* стихи поэта, это как бы «полное собрание сочинений». Так рисковать могут немногие даже из признанных, ибо ранние стихи всякого поэта неизменно отягчены незрелостью (чужие влияния, недостаточное мастерство, путь ощупью и пр.). Тем не менее наравне с прекрасными последними стихами и ранние стихи Елагина интересны. Если даже не «как таковые», то они интересны по-иному: — о чем и как в Советской России пишет молодой поэт, если он не славословит 1-е мая, построение коммунизма, Красную Армию и Сталина? К сожалению, эта тема не для краткой рецензии. Елагин был именно таким молодым поэтом, писавшим «себе в стол», никогда нигде не печатавшимся.

Чьи влияния на ранних стихах Елагина, написанных «себе в стол»? Пастернака и Маяковского — это обычно, раннего Мандельштама — это уже менее обычно, но Марины Цветаевой — это совершенно неожиданно, а ранних стихов Елагина коснулась дуновение именно ее музы.

Очень условно я разделил бы стихи Елагина на три «географических» периода: ранние (в Сов. Союзе), германские и американские. Каждый из них и тематически (да и формально) оставил свой след. Киев, когда «залпы — перерубают воздух пополам», когда «все суставы перебиты — у городов и деревень» и «тут собирает ночь оброк — с автомобильных катастроф — с перевороченных дорог». Разгромленная Германия, когда — «загнаны в загоны — а всё-таки живем — пока, как в огонь, в вагоны — не побросали живьем!». Но тут же выростает и другая тема, дающая поэзии нужную ей музыку и легкость, освобождающую от каждодневности и быта. «Спят на фасаде даты — перед фасадом щебень — жил в этом доме когда-то — Гофман фон Фаллерслебен». И может быть удивительно, но лучший отдел книги — «Лу́ны» — написан именно здесь. Третий период — американский, когда — «Медведицу отыщем в высоте — заломленную гневно над Гудзоном». И в германском и в американском периоде мы слышим уже подлинный голос Елагина, освободившегося от всех ранних поэтических влияний. Здесь стих Елагина достигает той высокой и свободной простоты, которая — одна — отличает настоящего художника слова:

Но только б помнить этот дом живым!
Пускай он перед смертью мне приснится
Мой детский дом с моим окном кривым.

Это настоящий голос елагинского мужественного лиризма.

Роман Гуль

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА

CHEKHOV PUBLISHING HOUSE,
of the East European Fund, Inc.
New York, N. Y., U. S. A.

предлагает следующие книги:

	В долл.
Дж. Т. АДАМС — Американская эпопея. 416 стр. Перевод с английского Л. Л. Домгера	3.00
М. А. Алданов — Ульмская ночь. Философия случая. 352 стр.	2.75
М. Бок — Воспоминания о моем отце П. А. Столыпине. 352 стр.	2.75
Гайто Газданов — Ночные дороги. 256 стр.	2.00
С. Гусев-Оренбургский — Глухой приход и другие рассказы. 304 стр.	2.25
Борис Зайцев — Древо жизни. Роман. 208 стр.	1.75
Георгий Иванов — Петербургские зимы. 256 стр.	2.00
Стевен Крейн — Алый шеврон мужества. Перевод с английского Ю. Флевицкого. 224 стр.	1.75
Н. Лесков — Соборяне. Хроника. 400 стр.	2.75
Н. О. Лосский — Достсевский и его христианское миропонимание. 416 стр.	3.00
В. В. Набоков — Дар. Роман. 416 стр.	3.00
«На Западе» — Антология русской заружебной поэзии под редакцией Ю. Иваска. 400 стр.	3.00
М. Осоргин — Письма о незначительном. 416 стр.	3.00
Л. Ржевский — Между двух звезд. Роман. 416 стр.	3.00
Ю. Терапиано — Встречи. 208 стр.	1.75
Ф. И. Тютчев — Избранные стихотворения. Предисловие В. В. Тютчева. 272 стр.	2.00
Г. П. Федотов — Новый Град. Сборник очерков по истории современной культуры, философии и литературы. С предисловием Ю. Иваска. 384 стр.	2.75
Марина Цветаева — Проза. 416 стр.	3.00

Все книги Издательства имени Чехова можно получить в русских книжных магазинах.

Книготорговцам обычная скидка

В БЛИЖАЙШИХ КНИГАХ «НОВОГО ЖУРНАЛА» В ОТДЕЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЫ СРЕДИ ДРУГОГО МАТЕРИАЛА БУДУТ ПОМЕЩЕНЫ: М. АЛДАНОВ — «БРЕД» (новая повесть), Б. ЗАЙЦЕВ — «ЧЕХОВ», ПЕТР ЕРШОВ — «НИНЕЛЬ» (повесть из советской жизни), В. НАБОКОВ — главы из «ВОСПОМИНАНИЙ». СРЕДИ СТАТЕЙ: Н. ВАЛЕНТИНОВ «ЛЕНИН В СИМБИРСКЕ», Е. БРЕШКО-БРЕШКОВСКАЯ «17-й ГОД», Ф. СТЕПУН «РУССКАЯ ПРОВИНЦИЯ», М. ВИШНЯК «З. Н. ГИППИУС В ПИСЬМАХ», Г. АРОНСОН «Е. Д. КУСКОВА», П. БУРЫШКИН «ФИЛИПП — ПРЕДШЕСТВЕННИК РАСПУТИНА», Ю. ЕЛАГИН — «О МЕЙЕРХОЛЬДЕ».

КНИГА 35-я. Содержание: *ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА: Г. Газданов* — Пилигримы. *А. Величковский* — Рассказы. *Ю. Марголин* — Non omnis moriar. *И. Одоевцева* — Год жизни. *СТИХИ — Н. Клюев* — поэмы «Заозерье» и «Плач о Есенине», стихотворения *Г. Забежинского, А. Браиловского. ЛИТЕРАТУРА и ИСКУССТВО: Э. Ло Гатто* — Воспоминания о Клюеве. *М. Алданов* — О Бунине. *Г. Глинка* — На путях в небытие (о сов. литературе). *В. Вейдле* — О религиозном корне русского искусства. *М. Коряков* — Заметки об американской литературе. *ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ: Н. Бердяев* — Выдержки из писем к г-же Х. *Н. Евреинов* — О «Кривом зеркале». *В. Зензинов* — Февральские дни. *Т. Кошенова* — Будни советской женщины. *ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА: Ю. Денике* — К истории власовского движения. *Н. Тимашев* — В защиту промышленной культуры. *М. Карпович* — Комментарии. *БИБЛИОГРАФИЯ: Дм. Чижевский* — Баадер и Россия. *М. Алданов* — В. Зензинов «Пережитое». *Ю. Денике* — В. Чернов «Перед бурей». *Ю. Иваск* — С. Маковский «На пути земном». *В. Коварская* — Henry Troyat "The Mountain." В книге 320 стр.

"НОВЫЙ ЖУРНАЛ"

под редакцией М. М. КАРПОВИЧА

ТРИНАДЦАТЫЙ ГОД ИЗДАНИЯ

●

В 1954-м году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ

●

Подписная цена по 1 дол. 75 цент. за книгу,
т. е. 7 долларов за 4 книги с пересылкой.

Цена одной книги — 2 доллара

Во Франции — 400 франков, в Германии — 4 марки,
в Бразилии — 30 крузейро

●

ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ «НОВОГО ЖУРНАЛА»:

The New Review, Inc., 223 West 105th Street,
New York 25, N. Y.

Телефон редакции и конторы: MO-6-1692.

Прием по делам редакции и конторы — ежедневно, кроме праздников и суббот, от 4-х до 5-ти час. дня